



# ЮНОСТЬ

9

1974



Р. ГЕВОНДЯН (Ереван).

Лучники.

---

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР

# ЮНОСТЬ



9 [232]  
СЕНТЯБРЬ  
1974

Журнал  
основан  
в  
1955  
году

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»  
МОСКВА



Марина  
КОСТЕНЕЦКАЯ

# ЗАВТРА НА РАССВЕТЕ

РАССКАЗ



Рисунок  
Н. ВОРОБЬЕВА.

© Издательство «Правда», «Юность», 1974 г.

П

отом пурга за стеной яранги будет медленно умирать и белой поземкой уоплзет на животе за дальние сопки. Это будет сегодня вечером, и Саша уснет прямо здесь, у тлеющих углей костра. Она не станет доставать из рюкзака спальный мешок, стелить в пологе шкуры, стягивать торбаса. Она уснет сразу же, мгновенно, как только ей позволят. Сам Амрелькот сказал, что к вечеру пурга стихнет. А ведь это что-нибудь да значит, если сам Великий Молчун Амрелькот сказал.

Кочевники пили маленькими глотками горячий крепкий чай без сахара и грели руки об эмалированные кружки. Третью сутки они сидели возле чащащего, едкого костра, экономно подкладывали в огонь обмазанные жиром оленьи рога и по очереди рассказывали сказки, чтобы не уснуть. Когда под внезапными порывами ветра яранги начинала скрипеть слишком сильно, они выбегали в пургу, разыскивали в снежном вихре опоясывающие рэ́тэм<sup>1</sup> канаты из оленевых жил и повисали на них балластом рядом с тяжелыми грузовыми нартами, придавливавшими стены. Третью сутки они не смыкали глаз, потому что каждую минуту ураган мог сорвать ярангу и придавить спящих людей тяжелыми жердями каркаса.

Опасно в такую пургу спать в тундре, и поэтому они пили крепкий чай и рассказывали сказки.

И было семь человек в стойбище: пятеро пастухов, чумработница и кочевой учитель красной яранги. У них давно кончились запасы привозных продуктов. Уже давно они жили лишь на пресной оленине, похлебке из оленьей крови и крепком чае, но и остатки заварки вот-вот должны были иссякнуть. Где-то там, за скалистым хребтом перевала, знали об этом, и на складах центральной усадьбы колхоза лежали для них тяжелые ящики с галетами, сгущенным молоком, маслом. Третью неделю они ждали самолет, но сначала, видно, не было погоды в поселке, а теперь вот над квартом прибытия бушевала такая пурга, что на улице не видать было пальцев собственной вытянутой руки.

Небывалая для конца апреля пурга, когда спящее полярное солнце скрывается всего на несколько часов, а скоро начнет свой долгий путь без закатов — и так на все лето.

Небывалая для апреля пурга. В маточном стаде погибнет много новорожденных оленят, и пастухи принесут их, пущистых и заминделевых, ярангу и снимут с тушек чулком шкурку — много пыжиковых шапок получится из тех шкурок, мало молодняка будет к осени в стаде, невесело будут гудеть бубны на празднике Молодого Оленя. Совсем это плохо, если в конце апреля такая пурга.

Они пили крепкий чай у костра и рассказывали по очереди сказки. А к вечеру третьего дня пурга наконец стихла. И тогда они услышали в небе далекий гул мотора.

Надо взять себя в руки. Нельзя плакать из-за самолета, который совсем низко пролетел над стойбищем и ушел на посадку за сорок километров на северо-восток.

— Завтра вечером мы привезем твои письма, учитель Саша-кэй.

— Да, Кеулькют.

— Ты получишь сразу целую кучу писем! Все, от кого ты ждешь, обязательно написали тебе, и получилось, наверное, очень много.

<sup>1</sup> Рэ́тэм — покрывало яранги из оленевых шкур.

— Да, за эти месяцы могло скопиться порядочное!

— Ты кочуешь с нами в тундре уже четвертую луну, учитель, а теперь осталось ждать всего одну ночь и один день — завтра вечером письма будут здесь. Сегодня мы не можем ехать, две ночи пастухи не спали. Кто пойдет сейчас арканить ездовых оленей?

— Да-а...

— И никто ведь не виноват, что на этот раз самолет разгрузился в пятой бригаде! А в другой раз он сидят у нашей яранги, и их пастухи приедут к нам на оленях, за своей долей сахара и чая.

— Они приедут, и мы разморозим на костре банки, на которых нарисованы обезьяны. Я видела их на складе, они с ананасовым компотом. И перец фаршированный откроем и галет поставим в полог сразу весь ящик. У нас получится настоящий банкет! Это называется банкет, Кеулькут. И мне будут письма, много сразу.

— Ну, конечно! Только в другой раз. А теперь... теперь ведь осталось ждать совсем мало, до завтрашнего вечера. Тебе надо сегодня выспаться, иди в ярангу!

— Я скоро приду, Кеулькут. У меня болит голова. Наверное, это от дыма, и, чтобы прошло, надо немножко погулять.

Саша резко отвернулась и пошла к стоявшей поодаль кибитке. Нельзя плакать из-за самолета, который низко пролетел над стойбищем и ушел на посадку на северо-восток.

Она нашла припрятанный в снегу оленей рог и стала выбывать им меховой покров кибитки. Каждое утро они с чумработницей Тевлянны выбивают снег из рэзтама на яранге, и Саша научилась ловко орудовать рогом. Надо найти себе дело, надо что-то делать, вот тогда бы кибитку очищали от снега, и тогда скорее настанет утро. Ноочное солнце за сопками двинется на восток, потом Тевлянны раздует зарытые с вечера в золе угли на костре, и пастухи нальются крепкого чая.

Их было семь человек в стойбище. Шестеро из них от рождения были кочевниками и всю свою жизнь прожили в долинах и сопках тундры. Они никогда не получали писем, потому что писать им было некому и незачем — все близкие и дальние родственники кочевали если не с этой бригадой, то где-нибудь в соседнем стойбище, до которого не тянулись по тундре провода телеграфа, но куда можно было при желании добраться оленевой упряжкой.

Самые старые из пастухов не умели даже читать, но когда в прошлый раз каюры привезли на собаках Сашину почту, они попросили прочесть им мамино письмо вслух. Саша читала по несложной строчек, и Кеулькут долго и обстоятельно переводил. А потом она перечитывала его много раз наедине, пока не заучила наизусть. Разные бывают письма. Бывают деловые послания, бывают вежливые открытия с отчетом о погоде и здоровье. Еще бывают письма-молитвы. В трудные минуты люди повторяют про себя запомнившиеся строки из таких писем, и тогда уходит тоска, и берутся вдруг откуда-то силы, хоть и нет подчас ничего особенного в тех строках.

Саша помнила наизусть все приходившие на кочевые письма.

«Дорогая дочурка!

Вчера я отнесла в химчистку твое демисезонное пальто. Может быть, сможешь еще понести, когда вернешься, а может быть, вырастешь там, на своей

Чукотке, и рукава будут короткими? В твои годы люди ведь еще растут.

На днях к нам приходили ребята из вашего класса. После первой сессии они устраивают слет выпускников этого года. Спрашивали, куда ты поступила после школы, и очень удивились, когда узнали, что учительствующая на Чукотке... А я каждый вечер сижу у телевизора, жду сводку погоды по Союзу. Про вас все говорят, что морозы большие и пурга. Ради бога, одевайся теплее! Да, да, и не ульбайся и не маши своей лохматой головой, пожалуйста! Сшили ли тебе вторые меховые брюки, о которых ты писала? Не ленись, пиши мне почтой! И не скучай! Может быть, успею еще сегодня сдать бандероль с новыми книгами, тогда получишь все в одну почту.

Родные шлют тебе приветы, бабушки заканчивают вязать свитер в четыре нитки, будешь носить под кухлянкой.

Опять в прошлую ночь снилась ваша тундра...»

Когда Кеулькут перевел все письмо, бригадир Рольынто сказал ему:

— Ты много учился в школе, экзы<sup>1</sup>, ты умешь писать все слова. Если в мешке, где лежат твои патроны и книги, кончились бумага, волзь из моей тетради. Пошли на Большую Землю такие слова: пусть мать нашего учителя сидится в самолете, а из поселка каюры привезут ее в тундуру на собаках. Мы сделаем ей большую ярангу и подарим много оленей.

И остальные тоже сказали: пусть приедет сюда твоя мать, учитель, мы сошлем в ей легкую и теплую одежду из самых тонких шкур, и дадим мяса, и принесем в ярангу хворост и обмазанные жиром рога.

И только старый Амрелькот не сказал тогда ничего, потому что он был Великий Молчун.

...Каждое утро Саша помогала чумработнице выбивать снег из рэзтама, у нее это получалось совсем ловко, и скоро в шкурах, которыми обита кибитка, не останется ни снежинки.

А потом ночное солнце двинется на восток.

Саша ворошила и ворошила оленым рогом серый ворс, а когда села передохнуть на вынутый полуволовым высокий полог кибитки, увидела вдруг у яранги Кеулькут в белых парадных брюках. Кеулькут приложил к торбасам лыжи. Тевлянны вынесла ему яркую ситечную камлайку. Новая камлайка. Тан одеваются, когда собираются в гости.

— В тундре сейчас нет настя, и в устье реки Широкое Горло мог уже тронуться лед.

Саша вздрогнула и обернулась на голос.

Рольынто неторопливо раскуривал Большую самодельную трубку, сделал крепкую затяжку, закашлялся недолго. Потом затянулся еще раз и, выпустив из рта сразу целое облако дыма, добавил:

— Кеулькут, однако, лучший лыжник в нашей тундре. Солнце не дойдет до восточных сопок, когда он вернется.

Завтра на рассвете Кеулькут принесет под кухлянкой толстую пачку конвертов с пестрой каймой «авиа». Он устало опустится на замшевый валик подушки в пологе и сядет с ног мокрых торбасов, и Саша вывернет их наизнанку и подвесит повыше над огнем.

Пастухи положили возле костра остатки рогов и моржового жира. Всю ночь Саша будет ждать у огня ушедшего на северо-восток гонца, всю ночь будет посыпывать возле красных углей закипаю-

<sup>1</sup> Экзы — сын (чукотск.).

щий чайник, и до самого утра в глухом чукотском стойбище будет шептать наизусть строки из старых писем русская Саша-кэй, Маленькая Саша, как прозвали в тундре свою учительницу кочевники.

«Здравствуй, Саша!

Мы просто не знаем, с чего начинать письмо! Ты такая молодчина! Теперь у нас только и разговоров, что о тебе, а ведь узнали все совершенно случайно! Собирались устраивать слет выпускников этого года, стали списки проверять, тут и обнаружилось, что никто не знает, куда ты девалась после школы. Поплыла к вам домой, и твоя мама нам все рассказала. Ну что же ты сама никому не написала? До сих пор поверить не можем, что в нашем классе учился герой, самый настоящий герой!

Мы уже приготовили для тебя две ленты со студенческими песнями под гитару, вышили, как только Юрка Шибалов кончит монтировать магнитофон на багарейках. Он собирает его по какой-то собственной схеме и называется все это будет «Александра» — в честь тебя.

Не сердись, Саша, мама прочла нам твои письма. Мы все чуть не умерли от зависти! И как ты решилась? Ведь там закалка нужна зверская, выносливость, а у тебя по физкультуре тройка была...»

Это очень плохо, если в школе у человека была тройка по физкультуре. Такой человек может стать обузой на кочевье. А что может быть хуже в тундре?

Когда бригада кочевала в эту долину, упряжкам надо было пройти несколько километров по реке, с двух сторон захваченной скалистым ущельем. Кое-где поверх льда во всю ширину реки появилась уже талая вода. У Саши не было резиновых сапог, и Рольфтын велел ей вскарабкаться на скалы и следовать за аригшием — стадом — поверху. Скалы были крутыми, но в трещинах и с небольшими, по-российски ягелем выступали — опытному тундровику ничего бы не стоило подняться здесь наверх, и Саша постеснялась сказать бригадиру, что в ее родном городе на улицах нет скал что в школе она так и не научилась лазить по канату и прыгать через «козла». Она забиралась на скалу очень долго, и все время ей мешала противная дрожь в коленках, и почему-то сильно потели падоны. А когда добралась до вершины, увидела сверху извилисто белое русло реки. Далеко впереди, совсем маленькими точками, медленно полз по снегу пунктир оленевого каравана. И еще она увидела в скале широкую расщелину, которую нельзя было обойти и через которую — Саша это сразу поняла! — у нее ни за что не хватило бы духа перепрыгнуть. Надо было спускаться обратно и догонять аригши вброд по воде. Она глянула вниз, и у нее закривилась от высоты голова. Ей вдруг стало очень страшно, и она уже не могла понять, как сумела сюда залезть. И не было никакого мужества. Хотелось просто сесть на каменистый уступ и заплакать от обиды, страха и собственного бессилия.

Разве такое напишешь маме? Зря она читала ребятам письма. Человек сам о себе знает очень мало. Расскажи кто-нибудь Саше на материке про спуск со скалы, она бы просто рассмеялась — разве ей по силам такое? А в жизни вот спустилась. Только потому, что нельзя же было оставаться на скале до вечера, пока хватятся в стойбище, и совсем не так это просто — погибнуть ни за грош.

Какому мужеству тут завидовать? Просто страх и немножко самолюбия. Так она им и написала.

Саша сняла кружку с оползывающего кухлянку ремня и налила себе крепкого чая. Горький чай. От него на языке и на небе образуется неприятный налет, и Саше уже кажется, что так это и останется навсегда, на всю жизнь. Прошлой ночью она не выдергала, задремала на несколько минут, и ей приснился сахар. Большой магазин самообслуживания, в котором все полки были установлены аккуратными пакетиками с сахаром и будто бы можно было брать сколько хочешь. Кто-то легонько потяг Сашу за плечи, и сахар исчез.

А может быть, они правильно считают? Может быть, она действительно герой Чукотки? Ну, хоть немножко первооткрыватель? Глупости. Мания величия, говорят, психическое заболевание. Не мудрено заболеть, когда волков встречаешь чаще, чем людей. Как раз вообразишь, что ты есть пуп земли. Нашлась первооткрывательница в колхозной бригаде! Учитель красной яранги. И только. Таких в каждом колхозе...

Саша допила последний глоток черного чая, тихонько вздохнула и повернула рогом угла. Красное пламя испуганно метнулось, словно спросонок, и на закопченной меховой стене запрыгали светлые блики.

Еще, может быть, напишут те чудаки. Прошлый раз Саша ответила им в первую очередь и успела отправить письмо в поселок с теми же каюрами, что привезли почту в тундру.

«Саша, здравствуйте!

Письмо это вас обязательно удивит. Еще бы, совсем незнакомый человек пишет. Но нас двое, я пишу не только от своего имени, а и от имени своей подруги.

Дело в том, что Светлана Григорьевна (она была у вас в десятом классном руководителем, а теперь у нас в десятом преподает физику), так вот Светлана Григорьевна недавно целый урок рассказывала нам про вас.

Саша, мы тоже хотим приехать на Чукотку. Не думайте, что это просто сумасшедшие девчонки! Мы уже все решили окончательно, и никто нас не сможет отговорить. Светлана Григорьевна все-все рассказала, мы знаем, как там трудно, и честно говоря, даже трусим немножко. Но храбрый ведь не тот, кто не боится, а тот, кто умеет побороть страх! Напишите нам поскорее, как надо готовиться, что надо брать с собой. Мы уже начали кое-что приобретать, и книги теперь тоже читаем только о Чукотке. Напишите, как до вас добираться и как сделать, чтобы горком комсомола послал нас на Север! Мы были в горкоме два раза, но нам сказали, что комсомольские путевки будут только в сентябре и только в Ташкент, а мы хотим к вам, на Чукотку!

Держитесь, Саша! Скоро мы будем вместе!

С нетерпением ждем ответа! Доверяем вам свои мечты, порывы и свои семнадцать! Очень надеемся, что Вы сумеете нам помочь...»

А чем Саша может помочь? И ее ведь на Чукотку никто не звал, а приехала — не встречали. Книги, конечно, тоже перед тем читала, но в книгах все оказалось гораздо романтичнее, чем в жизни.

Еще в девятом классе Саша решила, что будет поступать в университет, и поэтому весной собралась с духом и вместе с десятиклассниками отправилась на «день открытых дверей». Декан рассказал гостям, что для поступления на отделение журналистики абитуриенту необходимо иметь уже печатные работы. Саша печаталась только в школьной стенгазете. Переступить порог редакции настоящей



газеты или журнала ей казалось нахальством. Ну, с чем она туда явится? Со списками неуспевающих 9 «б»? Она ведь ничего еще в жизни не видела! И вот тогда-то Саша и решила, что после окончания школы поедет куда-нибудь далеко-далеко, собирает такой материал, что бывалые журналисты только ахнут, и блестящие поступят в университет.

На билет она копила целый год, но до Владивостока хватило только бесплатацартном вагоне. Дома сказала, что всем классом идут в поход по Камчатке, сопровождая матери первый раз в жизни. А во Владивостоке пошла в крайком, попросила помочь. Деловитый второй секретарь недоверчиво переспросил: «Из самой Риги в бесплатацартном?» — и потер ладонью лоб. И сразу всю свою деловитость растерял. Помог! И пропуск на Чукотку выхлопотал и командировку по краю от молодежной газеты устроил.

Из-за шторма вместо семи дней пароход шел целых десять, и чем дальше на север, тем длиннее становился день. Наконец, как-то часа в два ночи в каюту вошла горничная, отдернула на иллюминаторах затянутую штору и весело объявила: «Чукотка! Приехали!» Пассажиры стали собираться шумно и суетливо. Саша накинула на плечи ляжки рюкзака и проворно поднялась на палубу. Пароход все еще покачивался на волнах, и когда левый борт поднимался, видно было только синее небо и белое солнце, а когда опускался — видна была Чукотка: голые сопки с редкими проплещущими снега склонами и одинаковыми, отваливающими от берега баржа. Анадырь лежал за сопками.

Кто ее надумал идти в районе проситься в учителя красной яранги? Саша уже и не помнит теперь толком. Много чего в гостинице тогда насоветовали. Почему-то она все же выбрала красную ярангу.

Инспектор отдела кадров аккуратно заполнил титульный лист трудовой книжки, написал в графе «социальное положение» слово «служащая», в на первой странице номер приказа и занимаемую должность. Так Саша стала кочевым учителем.

В тот же вечер в шумном номере гостиницы с синими железными кроватями и жестяным баком кипятка на табуретке она написала маме письмо и мужественно стала ждать телеграмму-молнию с требованием немедленно возвращаться домой.

Но вместо телеграммы через две недели пришла пятикилограммовая посылка с чесноком, сушеными плодами шиповника и гомеопатическими рецептами отваров от цинги. В письме мама умоляла об одном: чтобы Саша писала ей всю правду о жизни и работе, ничего не скрывала.

...Сколько времени могло быть сейчас? Саша приподняла рукав кухлянки — фосфоресцирующие стрелки мужских наручных часов показывали половину пятого. Если Рольфынто все правильно рассчитал и ничего не случилось в пути, Кеулькут с минуты на минуту может показаться на краю долины.

Саша поднялась с корточек, несколько раз пружинисто присела, размяла затекшие ноги и тихонько вышла из яранги.

Резко очерченный оранжевый сегмент восходящего солнца уже покосился на вершинах восточных сопок, но сами горы лежали еще в синих ночных тенях. Мороз покалывал лицо, и снег под торбасами скрипел неожиданно громко и хрустко.

Кеулькута в долине не было.

Смутное беспокойство охватило вдруг Сашу и цепко вонзилось в мозг навязчивой мыслью: что-то недобродетельное настигло пастуха в тундре. Но что? Да

все что угодно! И волки могли напасть, и бурые медведи встают сейчас с зимовки и бродят по тундре голодные. И лед в устье Широкого Горла мог тронуться. Говорил же вчера Рольфынто. Но Саша ведь не просила Кеулькута, он сам пошел! А разве еще поздно было окликнуть, когда пошел? Могла она уговорить его никуда не ходить. Ведь только из-за ее писем...

Саша дошла до кибитки, приставила козырьком к глазам ладонь. Опять вернулась к яранге, и опять к кибитке.

К тому времени, когда красный шар над сопками поднялся до половины, Саша успела перебрать в уме все случайности, какие только могут подстеречь одиночного путника в весеннеей тундре. И тогда запавшая в сознание искра вспыхнула вдруг безжалостным огнем страха. Неужели?! Ждать, так безвольно и обреченно ждать дальше было немыслимо. Она вбежала в ярангу и бросилась к вещевому мешку Рольфынто. Никогда, ни за что в жизни не решилась бы она на такое при других обстоятельствах. В пологе все еще спали, Саша на ощупь нашла в мешке большой морской бинокль и, стараясь не шуметь, выскользнула на улицу. Навела бинокль на восток, отреагировала по глазам и вдруг увидела маленькую движущуюся фигуруку — усталым, но размашистым шагом Кеулькут шел на лыжах к стойбищу.

Живой.

Саша опустила вдруг сразу ослабевшие руки с тяжелым биноклем, но тут же резко опять подняла его к глазам. И по тому, как размеренно и спокойно шел Кеулькут, как равнодушно приближался он к яранге, каким-то деятым чувством она поняла, что писем нет.

Кеулькут все шел и шел к ней, и чем ближе он подходил, тем отчетливее видела Саша в линзах бинокля усталое лицо скулакого погонщика оленей и тем остreeе ощущала — всю ночь он шел зря. Она бросила бинокль в снег у яранги и молчаливо пошла пастуху навстречу. Когда они поравнялись, Саша, крепясь из последних сил, с улыбкой сказала:

— Это ничего. Дай мне аркан, я принесу в нем хворост для костра.

Кеулькут сбросил с плеча карабин и протянул ей вместе с арканом оружие:

— Ночью в долине Китового Уса я видел свежие волчьи следы. В случае чего, стреляй в воздух. Мы в стойбище услышим. — И тихо добавил: — Это был самолет геологоразведки. Он сбрасывал в тундре бочки с продуктами для летней экспедиции. Одну бочку возле самой яранги пятой бригады оставил.

Она шла одна по бесконечной синей лыжне на восток, но кустарник в этих местах рос только за падение яранги, и хвороста на ее пути быть не могло.

Нельзя плакать из-за самолета, который совсем низко пролетел над стойбищем... Но сейчас ее никто не видел.

Когда два часа спустя она вернулась в ярангу, Амрелькот разорвал бумагу на пачке с рафинадом, которым поделились с Кеулькутом из остатков своих припасов пастухи пятой бригады, бросил в Сашину кружку сразу шесть кусков и спокойно сказал:

— Сахара у нас теперь много. Каждый может положить себе сколько хочет.

И это было так, если сам Великий Молчун Амрелькот сказал.

г. Рига.

# Кайсын Кулиев



Перевел с  
балкарского  
Н. ГРЕБНЕВ



Я себя почитаю счастливым,  
Ибо жил я, на землю прида,  
Гладил головы ланей пугливых,  
Сыпал шум ручейков говорливых,  
Шепот снега и песни дождя.  
Голос матери милой я слышал,  
Голос, слаше которого нет,  
И в Чегеме, под отчью крышей  
М закат я встречал и рассвет.  
Я красавиц любил большеоких,  
Забирался в расщелины скал,  
Ел плоды, исходившие соком,  
Лазил в горы и в море нырял.  
Понимал я, что черно, что бело,  
Был всегда не велик и не мал,  
Жизнь дарила мне то, что хотела,  
Но ведь большего я и не ждал.  
Не считал я: «Мой век безотраден».  
Так, наверное, в жизни ни дня  
Ни отец мой не думал, ни предад,  
Хоть и жили труднее меня.  
Выйдут звезды, и вспыхнет солнце,  
Или гром громыхнет далеко,  
Мли кто-то в ответ улыбнется,  
Вот и снова на сердце легко.  
Не считал я, что жил несчастливо,  
Ну, а если сейчас, как на грех,  
Жизнь летит чересчур торопливо,  
То она тороплива для всех.  
Может быть, не дождаться я чуда,  
Но я что-то совершил и сказал,  
И себя в этой жизни покуда  
Неудачником я не считал.



Снег за окнами кружится.  
Еду я, и поезд мчится  
В направлении гор, вперед,  
М за много лет впервые,  
Минится мне, что все пройдет.  
Нет тревог, нет забот,  
Словно в дни мои былье.  
Поезд мчится в пустоту,  
Он летит напролету,  
Снег не тает на лету,

Снег и мне мою былью  
Возвращает чистоту.  
Кажется, я глуп и мал,  
Как в года былье, снова  
Я ни разу не сказал  
Слова ложного или злого.  
Так устроен человек,  
Кажется, как белый снег,  
Все на свете тоже бело,  
И не совершил вовек  
Я неправедного дела.  
Словно в прошлые годы,  
Поезд мчится в никуда,  
И мечты мои не зыбки,  
Кажется, что никогда  
Я не совершал ошибки,  
Ложной не скривил улыбки  
И не испытал стыда.  
То, быть может, повторится,  
Что прошло давным-давно,  
И всему, что мне приснится,  
Будет сбыться суждено.  
Поезд мчится, снег ложится,  
Все кругом обелено.



Поэты восхваляли соловьев  
За их любовь и жажду песнопения  
И воспевали мужество орлов,  
Отвагу их и вольное паренье.  
И мне миры орел и соловей,  
И я ценил песен и свободы.  
Но, может статься, мне еще милей  
Теперь, в мои немолодые годы,  
Незнаменный, малый воробей  
За то, что он при слабости своей  
Все перенес: морозы и невзгоды.

## Женщинам, которые любили меня

Женщины, я повторяю снова,  
Я считаю, мне всегда везло:  
Доброе от вас я слышал слово  
В дни, когда бывало тяжело.  
Может, вашей доброте и силе  
Я обязан тем, что не зачах,  
И моих залущенных садах  
Все же деревя плодоносили.  
И в сознанье, что вы были где-то  
Даже в дни потерп и в дни разлук,  
В дни, когда не видел я просвета,  
Все-таки не опускал я рук.  
Этот мир мне не казался серым,  
Не казалась эта жизнь пуста.  
Потому что мне была примером  
Ваша мудрость, ваша чистота.  
Вам, которые меня любили,  
Кланяясь за то, что вы подчас  
Слишком высоко меня ценили,  
Думая, что я достоин вас.  
И хоть я героям был едва ли,  
Все же вы мне оказывали честь  
И от прочих смертных отличали,  
Чем меня порою заставляли  
Быть намного лучше, чем я есть.



Я уподоблял тебя луне,  
Со звездою сравнивал, бывало,  
Ну, а ты обед варила мне,  
Шла на рынок, огород копала.  
Ты, не разгибавшая спины,  
Моя пол или белье стирала,  
В час ночной не видела луны  
Той, с которой сравнивал тебя я.  
И теперь, уже немолодой,  
Знающий, сколь все сравненья зыбки,  
Все ж сравни, не побоясь ошибки,  
Я тебя с луной и со звездой.  
Ибо больше чем за двадцать лет,  
Тех, что ты была моей женой,  
Ты на жизнь мою бросала свет,  
На листы, исписанные мною.  
Женщина, что хлебы мне пекла,  
Суп варила и белье стирала,  
Ты мою с самого начала  
И луною и звездой была.



Юноши, не бойтесь трудных книг,  
Вы не отстраняйте их с тревогой.  
К истине идут крутой дорогой,  
Потому не бойтесь трудных книг.

Никогда не бойтесь горьких книг,  
Книг неравнодушных и неплодных,  
Горькие слова правдивей сладких,  
Потому не бойтесь горьких книг.



Камень здесь над всем и всеми,  
Камень сер и камень бел.  
Здесь, среди камней, чегемец  
Пас овец и песни пел.

Видел он в садах и в поле  
Столько камня с малых лет,  
Что ему казалось: боле  
Ничего на свете нет.

Меж камней варил он пищу,  
На камнях рубил дрова,  
Было каменным жилище,  
Мельницы и жернова.

Каменным терпенье было  
У людей моей земли,  
Словно камень, до могилы  
Боль они свою несли.

Здесь, в родных горах, веками  
Каменщик и овцепас  
Жил средь камня и на камень  
Падал в свой последний час.

Здесь белели и серели  
Камни гор, домов, могилы...  
Будто бы окаменели  
Все, кто здесь когда-то жил,  
  
Будто стало здесь камнями  
Все, что было искони:  
Наши песни, наши дни,  
Слезы, пролитые нами.

## Валентин Устинов



### Путин

Внезапный ветер свистнул в тальниках,  
вломился в борт — черпнула пену лодка.  
Сеть рыбой жестко выгнулась в руках,  
рванула пальцы, вывернулась ловко  
и в глубь реки ушла наискосок.

И тотчас все: земля, тальник, песок —  
качнулось вдаль, пропало в серой пени.  
И нам открылся страшный тучеход...  
Мы даже потерялись на мгновенье:  
такин был небывалым переходом  
от рыбы, унизавшей густо сети,  
к реке, где волны, пустота и ветер,  
где волни члены мчались на восход.

— Проспали бурю, черт ее дери! —  
Анашкин охал, цикал красной кижкой,  
совал мне весяла:

— Что ты спишь! Греби же! —  
И Ружникова классно материли.  
Тот, щерясь, над кормой дугою гнулся.  
И видел я из-за его плеча,  
как брал он шнур, как дергал,  
чтоб проснулся

мотор «Москва». Спешил. Мотор молчал.  
А за кормой давно вода пылила.  
Земля в дождях пропала без следа.  
От всей земли одни ошметки или  
десктия верст крутила и месила  
весенняя беспутная вода.

Вздувался ветер — от натяги черен.  
Рвал куртки с плеч, дождиками стегал.  
И мать-река — кормилица Печора! —  
насташа лодку била по щекам.  
Вода на борт пластилась гибкой глыбой.  
Шла через борт. Стучали черепки.  
Но все же мы не выплеснули рыбу,  
добытую сегодня из реки.

Мы помнили: там, за кормой, за далью,  
в неизбримом, тяжком далеке,  
скуластое большое Заполье  
причалами придвижнулось к реке.  
Там коротали серый день в кантоне  
рыбачки. Там в сердца стучало море.  
И поминутно кто-то шел туда,  
где с хриплым ревом, как быки на бойне,  
толкались в бони взмыленные волны,  
где все росла весенняя вода.  
Шла тетка Тоня. Грузная, как сейнер, —

не раз грозилась бросить Крайний Север:  
пусть лес корить — да лишь бы с мужем  
жить.

Шла сухонькая Ружникова Груша.  
Едва зимой не потеряла мужа:  
на промысле ульпил припайный лед.  
И восемь суток — море, снег и небо.  
И восемь суток вместо хлеба — нерпа.  
Пока не сняла с той льдины вертолет.  
А нас ломало. Киль тараном тину.  
Лоскнут земли дымился под дождем.  
Но нет — не вся весенняя пущина!  
Нас вынесло на остров. Подождем!  
И покинем! По пая — через омут,  
спасая лодку, рыбу, невода.  
Плохая суша все же ближе к дому,  
чем самая хорошая вода.  
Живи, душа!.. Но сдвинулись минуты.  
Одежда к телу липла неуютно.  
Воксю темнело. Снег вплетался в дождь.  
Промозглый холод штурмом сыпал с веста.  
Свистела галька, сорвавшая с места.  
Свистела в жилах взрывчатая дрожь.  
Потом все потонуло в красной пени.  
По жилам несся ледяной поток.  
Потом пришло как будто ступенье.  
Как будто потепление. А потом...  
— Не спать! — из черноты, из плеска, воя,  
когда руками век не разобрать,  
пробилось в подсознанье волевое,  
отчаянное, хрюкает: — Не спать!..  
— Снимай одежду! — Почему — одежду!  
Ведь не земля — ледник! песчаный смерч!  
Одежда нам — последняя надежда...  
— Снимай! В такую ночь одежда —

смерть!..

И — холдом просвистанный, отпетый —  
Анашки рвали крючки, завязки, петли,  
сдирая с тела куртки, сапоги.

— Эх, жизнь — штормяга!

То потоп, то выгода!

Одно спасенье: греться друг от друга.  
Живи, рыбак, покуда не погиб...  
Босой, моественный, дымчатый, как бог, —  
си поднял сеть, под борт подконечник бросил,  
обмыла ступню галечную россыпь  
и сел на сеть, спиной вхимаясь в борт.  
Рвались одежда и сплелись комом.  
Я, привыкая, постоял над ней.  
И, пожинно, удивился, что — нагому —  
не стало мне ни капли холодней.  
Я сел — спиной к его груди, — лопатки  
вхимаясь в грудь. И молча замемел,  
остыло наблюдая, как лампадкой  
качался синий Ружникова в тьме.  
Потом мы клали куртки и рубахи  
на головы и вдоль боков — штурмом...  
Как будто стихло... Куртки рыбой пахли...  
И вдруг — в глуби озабоча, подо льдом —  
забрезжило... Сперва совсем несложно.  
Затем, ломая ледяной оплот,  
вдруг потекло ручьем из тела в тело  
живое, настоящее тепло!  
Ночная драма замыкает веши...  
Как мне понять характер человека,  
терпение и мужество его!  
Как оценить — не праздники, а будни!  
Морозы — в тундре! В Баренцевом — бури!  
И дружество святое торжество!  
Осилим все — болезни, войны, вынужи,  
чтобы понять однажды в смертной мгле:  
одно спасенье — греться друг от друга.  
Одно спасенье людям на земле.

Минует ночь. Притихнет чертов ветер.  
Мы сложим в лодку и сигов и сети.  
Мотор раскрутит за кормой пургу.  
Придет земля. Насыпятся мужчины,  
собрав над переносицей морщины,  
высматривая жен на берегу.  
И вот уже протяжно свистну чалки.  
Взывются с криком и осядут чайки.  
Причал прогнется, как рыбакий нож.  
Пройдут мужчины, придыхая часто.  
Увидят жен: — Ну, мать, согрела чай-то?  
Пойдем — корми... Чего-то в теле дрожь...

## Окtem

### Эминов



Перевел  
с туркменского  
Ю. ГОРДИЕНКО



Пуст изготоят дутары для доброй игры  
Из одного материала... Имеющий ухо  
Сразу поймет: прикасается к струнам Чары  
Или Сохи, в мастерстве состязаясь по кругу.

Трассы отцы уступают нам — жизнь такова!  
Сменит и нас, молодых, поколение другое;  
Мельница жизни вращает свои жернова,  
Горем сменяется радость, и радостью — горе.

Знает поживший, что жизнь не напрасно дана.  
Данного дара тебе не растрать дорогое,  
Пусть прозвучит и твоя в этой жизни струна  
Словом бахши<sup>1</sup>, где одно не заменит другого.



На дорогу исканий нас вывели наши отцы,  
Школа знанья дала, снарядила  
для жизненных сшибок.  
Но отцы не ссыпешь в песках  
без паршивой овцы.

Гор — без волчьего логова,  
жизни людской — без ошибок.



Как сближаемся мы! Не измерить в шагах,  
Расстояние между знакомством  
и подлинной дружбой.  
Дружбу надо беречь и хранить,  
как фамильную честь,  
Дружба — это богатство, и крепость твоя,  
и оружье

<sup>1</sup> Бахши — исполнитель народных песен, певец.



Софья  
ШАПОШНИКОВА

# РЕМОНТ

РАССКАЗ



Рисунки  
Маринны ПИНКИСЕВИЧ

Ремонт откладывали много лет. Кухню подбеливали, а комнаты все больше старились, моршинались потолки, у дверных рам и плинтусов отставала и осыпалась штукатурка. Мать страшилась ремонта: привычная, размеренная, как часы, жизнь вдруг останавливается, чужие руки разбирают механизм, и трудно поверить, что все эти винтики, колесики, пружинки еще вернутся к тебе в собранном виде. Борис тоже привык к послушанию вещей, когда протягивал руку — и галстук ляжет в нее именно тот, который в данный момент нужен, и карандаш спешит к пальцам, и рукоились, и книга, и чистый лист бумаги. Во время ремонта вещи играют с тобой в прятки, в «холодно-горячо», а ты уже вышел из детского возраста, всякое нарушение нормального ритма воспринимаешь болезненно, мечешься, издерганный и злы, теряешь себя в хаосе, имя которому — ремонт.

Пугали не только неразбериха и грязь. Тяготила зависимость от чужих людей: являясь в дом, заставляя сдвинуться и упаковать вещи, потребуют задаток и, едва начав работу, исчезнут, чтобы еще где-то «застоптить» место. Бегай за ними, заискивай, водку ставь, а пока живи, как на вокзале.

Если бы не свадьба на третьем этаже, они, наверное, так и не решились бы на ремонт. Но над ними лихо отплясывали два дня и две ночи, с потолка посыпалась застарелая пудра, начали отваливаться куски грима, и обнажилось такое дряхлое лицо квартиры, что стало ясно: ремонта не избежать. Школьный товарищ Бориса, строитель, обещал прислать толкового мастера — сделает быстро и на совесть. Прервав работу над статьей, которую спешно нужно было закончить, Борис занялся поисками путевки для матери: ее бронхиальная астма и ремонт были несовместимы. Наконец, мать уехала. Борис напомнил другу о своей просьбе, и тот обещал утром прислать мастера. Всю ночь Борис готовился к ремонту. Отодвигая и упаковывая вещи, обнаружил столькое неведомо как скопившегося хлама — и в кладовой, и в ящиках письменного стола, и в шкафах, — что принялся перебирать его, отбрасывая на пол ненужных. Проровился ночь, а утром с удовлетворением заметил, что здорово очистился от старья.

Мастер не явился ни в этот день, ни на следующий. Борис боялся отлучиться, чтобы не пропустить его. Раздраженный, слонялся по квартире, заходил на кухню, злой поглядывая на бутылку водки, предназначенну для мастера, и ничем путным не мог заняться.

В субботу утром раздался звонок. Борис обрадовался — наконец-то!. Открыл дверь и изумленно вскинула брови: перед ним стояла Марина.

Он молча отступил на шаг, давая ей дорогу, и она прошла, коснувшись его в тесно заставленном вещами узком коридорчике, повеяла на него сладким запахом розы. Он вслед за ней вошел в комнату, еще не зная, как себя вести, но уже, как это было пять лет назад, завороженный ее властной, тревожащей красотой. Высокая, черноглазая, с персиково-бархатистой кожей, в белом, ручной вязки платье и белых лакировках на стройных ногах, она стояла у обшарпанной стены, почти касаясь высокой прической железного крюка. Пряно-терпкие глаза ее смеялись, вздрагивали ямочки на щеках. /

— Марина... боже мой! — бормотал он, озираясь и не зная, куда ее посадить. Смузенный, заговорил о разрухе, о том, что у него ремонт и он ждет мастера. Было досадно, что Марина застала его жилье в таком неприглядно обнаженном виде, он и сам

сейчас недоумевал, как мог столько лет прожить в этой грязной, ободранной комнате. Марина же, как назло, задрав голову вверх, пристально изучала изрытый трещинами потолок.

— Если квартиру не любят, она быстро старится. Как женщина.

Это были первые ее слова. Голос ее, по-южному напевный, неуловимо ироничный, стал за эти годы еще глубже, гуще, но мягкость свою утратил, в нем появился металл.



Он увидел ее в день приезда в Арионешты. Стоял на вершине холма, смотрел в долину, на речку, где чернокосая девушка стирала белье и пела. Слов не было слышно, только глубокий, грудной голос. Этот голос и повел его к ней. Начал спускаться, не ожидая, что тропинка окажется настолько крутой — вот-вот сорвешься. Пригибаясь, цепляясь руками за кустарник, чертыхался потихоньку, но спустился благополучно, когда девушка уже кончала стирать. Прежде чем ступить на мягкий песочек, скрипнул ботинком по осколку ракушечника — по всей долине разбросаны скалы. Девушка обернулась, и Борис растерялся. Смотрел на нее, точно рисованную, любовно выписанную дотошным миниатюристом прямо здесь, на природе, так, будто она была частью этой долины, и речки, и склонов, щедро покорюшись разнотравьем: круто изогнутые дуги бровей, крутой, как лук, изгиб верхней губы, крутой, выпуклый лоб и подбородок.

Он назвал свое имя, и она смело протянула крепкую загорелую руку: «Марина... Вы отдохните к нам?» Он кивнул нечаянно, не предполагая, что повлечет за собой этот необдуманный кивок. «И вы еще не были у Днестра?» Она обещала сдвинуть его туда, пусть только обождет немного. Поставила тяжелый таз на плечо и, пряменькая, точная, пошла по крутой тропинке вверх.

Он ждал ее в долине у речки. От ничего делать откупывал от куска камня крупные ракушки — местные ребяташки, купаясь, трут ими пятки. Думал, что мать все-таки правильный человек: если бы не ее непреклонность, ходил бы он сейчас по пыльному асфальту с новеньким своим дипломом, искал хоть какую-нибудь работу — языковедов в городе невпроворот, никому он там не нужен.

Место его назначения оказалось далеким — около пяти часов езды автобусом до Сорок оттуда еще больше часа. Всю дорогу сидел, уткнувшись в книгу, в окно не смотрел, пейзажи его тогда принципиально не интересовали.

В первые же часы Арионешты переменили его настроение. Может быть, потому, что село, расположенное на высоком краю холма, оказалось на редкость живописным; может быть, из-за Валя Брадуэй, речушки, сбегающей в Днестр, и питающих ее ледяных родников, а скорее всего из-за этой смуглой, стиравшей в речке белье.

Она вернулась к нему, разгоряченная бегом. Успела причесаться и перенести платье, это он сразу отметил. Принесла из дома теплые плащины. С удовольствием смотрела, как он ест.

День был жаркий, а в лесу прохладно. Старые дубы возвышались над ними, лес почти сплошь дубовый. Редкие клены терялись среди дубов, да на опушках густо разросся орешник. На крутизну забирались на удивление прямые деревья, напоми-



ная Марину, поднимающуюся по высокой тропке с бельем. Марина сказала, что весной на этом склоне полны-полно подснежников. Сейчас она поминутно нагибалась, срывая колокольчики, голубые — в тени, ярко-синие — на солнце. «На Первомай — фиолетовые. Вы видели фиолетовые колокольчики?»

Лес кончился у Днестра. Она вышла на поляну, к Изворицул Верде, роднику, выложенному зеленым камнем. «Во всем мире нет такой вкусной воды!» Марина склонилась и, придерживая косы рукой, начала пить. Борис стоял по другой стороне родника, не мог отвести взгляда от приоткрытых ее губ, особенно верхней, в центре приподнятой розовыми треугольничком. Она блеснула на него искоса озорным черным глазом, словно приглашавая: что же ты стоишь черным гостем, отведай!.. Вода оказалась ледяной и действительно несбыточно вкусной. Он перехватывал родниковую струйку чуть пониже Марини, розовый припухший треугольник ее рта и влажно блестящие ровные зубы были у самых ее глаз. Как-то нечаянно поцеловал ее сквозь струю. Она не отстранилась, и он поцеловал ее снова. Вода потекла по подбородку, проникла за ворот рубашки, оросила грудь. И у Марини платье намокло. Поплышился смех — они были здесь не одни. К роднику приходили не только арионешты, но и молодежь из соседнего украинского села Унгры. Отдыхали на густой траве вокруг родника, на большой площадке, обсаженной громадными старыми дубами. Стояли здесь и палатки туристов. Марина убежала к дальнему дубу, бросилась на траву лицом вниз. Борис сел подле нее, а потом прилег рядом. Отвел пальцы черный жесткий завиток, коснулся губами пылающей мочки ее уха. Она повернулась, взглянула на мокрую его рубашку, на свое платье, сказала: «Каждый

<sup>1</sup> Плачинта — лепешка с начинкой (молд.).

поймет», «Пока вернемся, сто раз просохнет», — успокоил он. «А пускай не просохнет! — Марина села, круглый ее подбородок с ямочкой посередине задрался вверх. — Пускай никогда не просохнет. Как Изворашул Верде. — Приблизив к нему лицо, таинственно заглянула в глаза. — Он венчан, знаете? Сколько земля стоит и стоять будет! И снова опрокинулась на траву, запылавшее лицо покрытм укрытием.

Арионешты ему пришлось покинуть: рослая Маринаоказалась девятиркаспицней, и, оставшись он здесь, ему пришлось бы преподавать ей литературу. Он перебрался жить в Унгры, но от встреч с Мариной отказалась не смог. Скоро они уже ни для кого не были тайной. Два села — один колхоз. Каждое воскресенье колхозная музыка играла у Изворашула Верде, и молодежь обоих сел собиралась здесь. И клуб был общий, в Арионештах, и самодовольство общая. Украинские девушки дружили с арионештскими парнями, вместе в лесу собирали землянику; на вершине Арионештского холма, на большой поляне, устраивали праздничные демонстрации. Колхоз богатый — в Арионештах сады от плодов ломаясь, сквекла, кукуруза, подсолнечник; в Унграх — овощи, огороды у Днестра. Молдавская река смешивалась с украинской. Смешивались украинская и молдавская кровь. Свадьбы на весь район гремели.

Поработал здесь Борис один год, укоры со всех сторон из-за Марини сносили безропотно. Уволился «по семейным обстоятельствам» — мать тогда действительно болела. Насилию, но отпустили.

Перед отъездом Марина посыпала бела дна впервые привела его в свой дом. Дом был сложен из крупных меловых кирпичей (лесу меловых скапы). Мел при нем уже не добывали — мягкий весь выпилили, остался серый, каменистый. В Маринином детстве дом стоял белый. Со временем посерел, его оштукатурили. Марина по штукатурке узоры вылепила; над верхними углами окна — виноградные листья, под окном — цветы. Красила сама. Фон серый, в белой раме, и лепка блая, над фундаментом черная полоса. Борис не знал, что она художница.

Мать Марини, совсем еще молодая, чернобровая, черноглазая, встретила его супрова. Марина стояла на крыльце, вина принесла. Мать сидела, склонив на груди смуглые руки, поджав губы, пронзительно смотрела на гостя. Она чего-то ждала от него, а он не мог выдавать ни слова, не притрагивался к еде, ругал себя за то, что согласился прийти, и седрился на Марину. Ей все было нипочем. Светилась радостью, не замечала, казалось, ни ледяного молчания матери, ни его смущения, щебетала без умолку. Хвалила свой дом: просторно, зимой тепло, летом прохладно, толщина стен не меньше полуметра. Их не пробешь, не перестроишь, мел плотный, трудно режется. Вечный дом. Борис встал из-за стола, приглянулся рассматривать развесенные по стенам рисунки и акварели. «Неужели твой?» «Хорошо, правда?» — спросила она радостно.

Когда вышли во двор, Марина сказала: «Приедешь через год, мама добрее будет. Кончи школу... Вот здесь, — она обвела рукой площадку перед домом, — столы поставим. Не в два ряда — в три! Оба села позовем. Мы с тобой вот тут сидеть будем. — Она ткнула указательным пальцем себе под ноги. — Музыку из Редю-Маре возьмем. Там большой оркестр. Да нет, — она тряхнула головой, — зачем из Редю-Маре? Из Могилев-Подольска. А еще лучше из самого Кишинева!»

У ее дома росли розы. Колючие, непроходимые заросли. Неистребимые, сказала Марина. Хоть руби кусты, хоть выкапывай — все лезут из земли молодые побеги, кустятся, колются и цветут. Угостила Бориса розовым вареньем, рассказала, что готовила

его сама: обрызгала лепестки на рассвете, в ту самую минуту, когда первый луч росу пьет; опоздать нельзя, не то варенье получится. Она рассказывала, и ему виделись смуглые руки, перетирающие розовые лепестки с сахаром. В лесу, прощааясь с нею, зарылся лицом в прохладные ее ладони, как в груду розовых лепестков. Они и пахли розами.



Марина прошлась по комнате, умудряясь не задевать вещей. Бесцеремонно заглянула в спальню, оттуда на кухню. Странно она вела себя...

— Зо-слушка... Совсем золушка, — протянула, вернувшись в комнату. — Потолки не менее четырех раз белить придется. — Посмотрела в недовольствующее лицо Бориса и рассмеялась: — Так я ж от Клименко. Ты маляра ждешь? Жде-ешь, водичку приготвил. — Она опять засмеялась. — Я и есть тот маляр. Давай уговариваться о цене, хозяин. — Глаза ее блеснули. — Только я дорогой мастер!

Он слишком долго молчал, и Марина озадачилась, каким ремонт он собирается делать. Лицо ее неуловимо переменилось, тон стал по-деловому суровым.

— Ничего не понимаю, — беспомощно проговорил Борис.

— Меня прислал Клименко, — повторила Марина, и в голосе ее уже совсем явственно зазвенел металлик. — Заказчиков много, время дорого. Если вы собираетесь ремонтировать, так давайте по делу.

Он хотел подойти к ней, взять за руки, сказать: ««Опомнись!» Но не сделал этого. Решил: «там видно будет», — а пока принял Маринин тон и заговорил о ремонте. Он не имел ни малейшего представления о том, что требуется сделать. Квартиру нужно каким-то образом обновить, больше того — возродить, но как?..

— Разделыв швы — это вам ни о чем не говорит. Сухая перетирка — тоже. Может, вы оба хотите? Или накатик — трафаретик, а? Голубые цветочки с серебром. Или розовые с золотом?

Марина пошатнулась над ним. Он хотел сказать, что, в сущности, не виноват перед ней и, если не отвечал на письма, так только для того, чтобы она, девочка, скорей его забыла. Потом встретил учителя из арионештской школы и узнал, что она вышла замуж. Она вышла замуж, а он да сих пор не женился. Какие же могут быть обиды? Но вместо всего этого сказал, что надо сделать тон или фон, как это у них, маляров, называется; краску непременно водозмульсионную, чтобы стены можно было мыть, причем цвет составит он сам.

Марина усмехнулась.

— Колер — сам?. Без меня? Ну-ну... — Неожиданно четко и ровно выговорила: — Двести рублей. Со столяркой.

Борис предупреждали, что с малярами нужно торговаться, но не торговаться же ему с Мариной! Однако как это она не постеснялась назвать такую цену?.. Борис отвел глаза — за нее стало неловко. Двести так двести...

— Сто восемьдесят, — весело сказала Марина. — Двадцатку пропом.

Глядя мимо ее лица, Борис заговорил о том, что ремонт нужно сделать быстро. Торопясь и комкая фразы, рассказал, что защитил кандидатскую, но не доцент, потому что нет публикаций, и нужно поскорее добрать статью.

Марина заинтриговалась, что за статья, увидела на подоконнике рукопись, подошла, хотела взять листок в руки, но Борис предупредил, что она не пой-

мет. Марина удивилась: по литературе — и не поймет! И, кажется, обиделась.

— По русскому языку, — сказал он.

— У меня по русскому в аттестате пятерка. — Взяла листок в руки, прочла вслух: «Степень эксплициности выражения сравнительного отношения пропорциональна степени развернутости синтаксической конструкции и зависит от того, какое количество членов логической формулы сравнения получает словесную реализацию». Положила листок на место, посмотрела на Бориса как-то странно и пошла к двери.

Он бросился за ней.

— Куда же ты? Мы ведь еще ни о чем не поговорили!

— Договорились уже, — резковато ответила она и задрала вверх подбородок.

Она поняла, что он имел в виду, но не пожелала вернуться к прежнему тону, и Борис снова подумал, что не надо ничего торопить и в друзья набиваться не надо. Там будет видно.

— Завтра в восемь, — сказала Марина. — Воскресенье ваше. На неделе — вечера.



Она пришла ровно в восемь. В том же нарядном платье и лакировках. С портфелем. Сказала, что на улице в машине цемент и альбестр, попросила привести.

Борис едва дотянул тяжеленное ведро и большой бумажный куль, вошел в квартиру, запыхавшись.

Марина пересоедалась в ванной. Приоткрыла дверь, сказала в щельку, что шаровары взяла, а кофту забыла и попросила какую-нибудь старую его рубашку, ненужную, что не жалко выбросить.

Он зашуршал уже изрядно запылившимися газетами, приподнял их, досадуя на забывчивость Марини, отогнул висевшую под газетами простоянку и наконец, смог раскрыть дверцу шкафа. Осмотрел свои рубашки и остановился на летней, с короткими рукавами, в черную и красную полоску. Просунул в ванную.

Марина появилась в заляпанных известью и красками шароварах, в его рубашке, с повязанной платком головой. Принесла в спальню таз.

Сквозь стеклянную дверь Борис наблюдал, как двигается Марина, отбивая облупившуюся штукатурку, что-то зачищает и трет энергично. Делала она все быстро, сноровисто и напевала при этом. Борис видел то ее спину в красно-черной своей рубашке, широкой в плечах, то грудь, которой рубашки этой не хватало — пуговицы расстегивались. Представилось, что Марина — его жена, надела его рубашку и заняла обычной уборкой. Если бы не рубашка, ему это не пришло бы в голову.

Марина подняла на него глаза, и он поспешил отшепел от двери. Стало неловко — этакий наблюдатель с чистыми рукачами. Заказчик. Хозяин.

Растревоженный, ходил по комнате. Услышав быстрое и звучное царапающее шарканье, вернулся к двери: Марина обеими руками напористо терла стену наруждаком. Густая белесая пыль стояла в воздухе. Марина уже не пела — покашивала коротко и часто. Острый запах известковых пыли хлынул в большую комнату. Борис ушел на кухню. Сидел пристыженный: сам укрылся, а она трет его грязные стены, дышит пылью.

В половине второго позвал ее обедать. Время выдало случайно, но когда Марина посмотрела на свои часики, оставленные на холодильнике, и сказала: «Половина второго», — он сразу вспомнил Арионишты, Валя Брадулуй и скалы, которые ровно в час

тридцать рвали динамитом. Взрывы были слышны по всей деревне и дальше — до Днестра в одну сторону и шоссе Сороки — Атаки — в другую. Они были слышны за мостом и в лесу, и дети знали: рвут скалы — значит, пора бежать домой, обед.

Марина съела две ложки бульона и отодвинула тарелку.

— Ты чего? — удивился Борис.

— Мне же работать.

— Я специально варил, — сказал он обиженно.

— Профессия такая, — пояснила Марина. — Мясо я съем.

Он вспомнил Габи. «У меня диета, — сказала она на той свадьбе, где они случайно оказались за столом рядом. — Профессия такая», Габи — балерина.

— Почему ты стала малаярой? — спросил он.

— А нравится — с вызовом ответила Марина, отодвинула тарелку и, выходя из кухни, пробурчала: «Фараон де-амяз»!

Он вспомнил эту присказку. Когда Марина-девочка бывала чем-то недовольна, она всегда ругалась так. Смысла у этой фразы не было («фараон в обеде»), Марина и сама не знала, почему говорит так. Впервые он услышал от нее «фараона», когда Марина пришла к нему на свидание, прихрамывая, с перевязанным коленом. Он спросил, что случилось. «А-а, такой мяч дали, фараон де-амяз», — сердито проговорила она, махнув рукой. — Я же вратарь! И рассказала: в их махале в одни мальчишки привыкли играть с ними. В детстве — в войну. Сколько у нее самодельных пистолетов и автоматов было! Потом и покупные появились. Теперь в футбол играет. Сидит у окна, уроки делает, глянет — мальчишки уже собирались. И бежать. Мать не пускает. «Да кто же в воротах стоять будет?»

Борис только тогда до конца понял, что Марина его — совсем дитя. И не поцеловал ее. Она надулась и, когда он сказал, что она еще маленькая, бросилась на шею: «Не маленькая, не маленькая! Хочешь, совсем твоя будешь?»

Он отшатнулся: ей, мол, как виноградникам в их краях, на севере Молдавии, не хватает всего двух недель солнца, чтобы созреть. Марина спросила сердито: «Ты подождешь меня?..»



На следующий день Борис после работы обошел все хозяйственные магазины. Домой притянул носками трехкилограммовых банок водозмульсионных белил и больше десятка тюбиков темперы. Вылил в таз, тщательно вымешивал белила с темперой, добиваясь теплого желтого оттенка. Когда Марина пришла, колер был готов. Она пересоедалась, скептически глянула в таз, сказала, что слишком ярко, и в подтверждение своих слов мазнула кистью на стену. Цвет был именно тот, которого он хотел.

— Просохнет — погнемеет, — предупредила Марина и уже без его согласия добавила в таз белил.

Он смотрел, как она красит: проводит ровную полосу вращающимися валиком с поролоновой насадкой. Было приятно наблюдать за ее работой, точной и четкой, за ее сильными и одновременно грациозными движениями, но стоять вот так, ничего не делая, когда она работала, он не мог и попросился в подмастерья. Она скосила на него глаза: «А что ты умеешь?» Он ничего не умел, но сказал, что подмастерье не мастер, что велят — сделает.

— Пиши свою статью, — сказала она и, схватив стол в охапку, перенесла его к другой стене.

— Махала — уголок села, группа соседствующих домов (м. о. д.).

Он не успел помочь. Укорил:

— Никогда не таскай сама. Надорвешься.

Марина уже была на столе. Смотрела на него сверху вниз.

— Да разве я такие вещи таскаю! Иной заказчик оставляет ключи от квартиры и уйдет на работу, в отпуск уедет или в командировку. Явлюсь, а там шкафы с книгами, серванты, гардеробы у стен стоят. Ну, и двигайся, конечно. Что же еще делать остается!

...В тот первый день в Арионештах он тоже хотел помочь ей — таз с мокрым бельем был тяжелым. Марина отказалась. Кинула на скалы: фундамент домов в селе кладут из этого камня, на руках вверх поднимают — по такой крутизне каруцу<sup>1</sup> не спустишь. «И вы поднимали!» — удивился он. Она засмеялась, блеснули мелкие ровные зубы: «Я сильная!»

Борис шагнул к столу, крепко обнял Маринину ногу в зяляпанных краской шаровиках. Она замерла, потом сказала тихонько:

— Измажешься.

— Дай мне что-нибудь делать — тоже тихо попросил он.

— Филенку отбивать позову. Иди.

Борис вышел, но за статью не взялся. Какая уж тут статья!.. Как получилось, что он сбежал из села, не дождался Марину? Впрочем, это не он не дождался — она вышла замуж.

Парня этого он знал. Богатырь. Голубоглазый, русоволосый, басовитый. На Марину заглядывался. Зимой это было, на Вала Брадулуй. Морозный, солнечный выдался день. Речка замерзла — каток. Вся молодежь на санках, на лыжах. С горы — на лед. С одной стороны кататься нельзя, крутизна смертельная, с другой, что поближе к мосту, хоть и круто и в карьер угодить можно, катаются, привыкли. А этот на самое опасное место полез. Ни деревца, ни кустика на том склоне. В теплее время трава зеленеет густо, нетронутая, сочная, а коров не понашев — сорвутся. Овцы — и те едва держатся. Свои, привычные к крутизне. Чужим не удержаться. Там и тропинки ни одной нет, человеческая нога не ступала. Как только этот великан не убрался — не постижимо. Ради Марины рисковал...

...Марина окликнула его, спросила, что он в белила клал. Темперу? Масляную? И показала измазанной краской рукой на таз:

— Заварись твое тесто. Только бублики печь. Краска скималась, скатывалась со стен, а в том месте, с которого Марина начала, взялась и лежала ровно, не проступал сквозь нее мурзовый блеск. Вся работа пошла наスマрку. Борис был рассстроен, чувствовал себя виноватым и пытался оправдаться: эмульсия — смесь воды с масляной краской, и темперы масляно-водяная, по всем правилам они должны были смешаться, и совершенно непонятно, что произошло. Марина утешала его: завтра принесет сухую краску, белила еще останется, сделает заново. Вечер был потерян. Если начать перетирку в большей комнате, Борис негда будет спать.

— Да не отчайся ты, — легко сказала Марина. — Имею же я право отдохнуть. — И чтобы поднять его настроение, сама предложила пойти в ресторан. Ей нужен был бензин, чтобы отмыться, но у Бориса его не оказалось.

— Так ведь гаражи перед домом, попроси у кого-нибудь литра два-три. Жалко им плеснуть, что ли?

Он не мог просить у чужих людей бензин, не знал, как помочь Марине, и совсем приуныл.

— А ты все такой же трусишка, — сказала она.

<sup>1</sup> Каруца — повозка (м о л д.).

Сама сбегала за бензином, долго приводила сэ-бя в порядок, а когда вышла из ванной, от нее пахло совсем не бензином, а чем-то цветочным, сладким, и Борис снова вспомнил, как пахли ее прохладные руки, когда там, в лесу, он уткнулся в них лицом.

— А я ведь так и не попробовал тогда розового варенья, — сказал он. — Порубили розы?

— Где там, — Марина махнула рукой. — Все клюются.

— И цветут?

— Цветут.

— Значит, я еще смогу когда-нибудь отведать розового варенья?..

Она посмотрела на него без улыбки и не ответила.



В ресторан шли парком. Солнце жарило, как в разгар лета, люди у озера загорали, а в тени было уже по-осеннему холодно, и ветерок северный проквачивал насквозь, хоть пальто надевай. Мальчишки, забредая по колено в воду, удили рыбную мелочь. Какой-то сорвиголова разделялся тени, весь покрытый пурпурышками, подрагивая, бросился в озеро, поплыл саженками. Обернулся, крикнул товарищу, который полез за ним и только что вынырнул, отдуваясь: «Да не ныряй ты, дурья голова, поверху-то вода прогретая, а под низом ледяная».

В зеленых еще камышах на другом берегу озера дремала красная лодочка. Спасательная. Озеро минут за пятнадцать обойти можно, но все здесь, как у большой воды: и камыши, и плачущие ивы, и рыбаки, и пляжок-пляж. И спасатели. Ветер гонит волну, бежит перед глазами, будто река, только течение ее от ветра зависит: повеет с севера, как сегодня, — на юг бежит речка, с юга повеет — бежит на север.

По дамбе перешли на другую сторону озера, свернули вправо. Марина, еще издали приметив детские качели, побежала к ним, прыгнула на доску. Резко приседая и распрямляясь рывками, раскачалась восьмью. Борис смотрел на нее и думал, что на каких-нибудь пять-шесть лет старше, а вот не стал бы качаться, никакого удовольствия бы не испытал. Марина притормозила, спрыгнула на землю, разгрячневшая, повеселевшая.

— Если бы не ты, еще бы полетела.

Он снял пиджак, набросил на ее плечи и уже не опустил руки.

— Да мне жарко. — Она отстранилась. — Это ты меранешь — работа сидячая, а мне всегда жарко. У меня один привык: давай-давай!..

Ресторан в парке новый, просторный. Народу мало. Только сели, сразу подошла рыжеволосая официантка. Борис Бегло просмотрел меню, спросил:

— Но этого всего, конечно, нет?

Она улынулась. Оказалось, все есть. Молодежный центр, как-никак! Выбор больше, чем в «Интуристе». Они заказали обед, хотя в пору было ужинать. Марина сидела, рассматривая свои руки. Руки были чистые, гладкие, только в лунки ногтей въелась краска. Борис прикрыл ее руку своей, несильно скжав пальцы. Попросил:

— Расскажи о себе, Маринка. Я ведь ничего не знаю.

Она высвободила пальцы, заговорила с неожиданной болью:

— Что тебе до моей жизни! Уехал — отрубил. Родничок наш камнями закидал, чтоб не тек он, умер. Да разве родники умирают!

— Как же ты замуж вышла?

— Ну, это не твоя боль.



Она скривила брови и сразу отдалась от него, и ему стало страшно второй раз ее потерять.

— Знала бы ты, чего мне стоило тогда мое молчание,—сказал он, снова дотрагиваясь до ее руки, чтобы вернуть ее, приблизить к себе.

— Знала,—резко проговорила она.

Полгода томилась в ожидании его писем. На зимние каникулы махнула в Кишинев. В дом не зашла — ждала на улице. Кутала лицо в пуховый платок. Борис вернулся вечером, когда она совсем окоченела. Вел под руку высокую девушку. Марина заметила большие темные ее глаза и впалые щеки. Они прошли мимо, а она все стояла, леденея, долго не могла уйти.

— Я Петра Степановича встретил,—словно опровергаясь, проговорил Борис.

— Ну и что?

— Узнал, что ты замуж вышла. Вот что.

Взгляд ее не смягчился, и складка у губ стала жесткой, как у ее матери, и ямочки на щеках исчезли.

— Большая свадьба была? — спросил Борис, чтобы еще раз вернуть ее в те дни, когда не он — она ему изменила. — Столы в три ряда?..

— В два,—сказала она.

— И музыка из Редю-Маре?..

— И музыка из Редю-Маре,—эхом отозвалась Марина. Глаза ее наполнились слезами. Слезы стояли, как озерная вода в половодье, чудом не переливавшаяся через край. Борис не знал, как ее успокоить. Она сама справилась с собой. Сказала просто: — Вышла за него, чтобы к тебе не сорваться, на шею не кинуться: не могу без тебя, сизойди, возвращими! Он-то меня любил... Думала, сложится жизнь. Ребенка хотела, надеялась: тогда\*/\* забуду.

— Не сложилось!

Сердце Бориса дрогнуло. Ему хотелось, чтобы не сложилось. Он еще ничего не решил, но как же ему хотелось услышать, что муж у Марины плохой и любит она его, Бориса.

— Разошлись.

Она заметила его радость, сказала с досадой:

— Тебе-то что!.. Девчонки у меня. Старшей два года. Это было неожиданно и неприятно скрепнуло по сердцу.

— Отчего разошлись?

— Ревновал. Он все тебя найти грозился. Морду набить. А-а, что вспоминать!..

Официантка принесла костицу<sup>1</sup>. Увидела, что закуска стоит нетронутой и бульон уже пленкой покрепнулся. Огорчила.

— Невкусно! Может, пересолено?

Борис не заметил, как она поставила перед ними все это.

— Вкусно, вкусно,—заверил он.

— Так я костицу потом принесу, чего холодную есть.

Она ушла с подносом, издали поглядывала на них. Посетителей все еще было немного.

— Как же ты в Кишинев попала? — спросил Борис.

— В селе все на глазах, а с синяками перед людьмиходить кому охота! Подались в Сороки. На стройку. О нас говорили: вот это парал! Мы же оба высокие, красивые. — Она сказала это так просто, естественно, как когда-то сказала в речки: «Я сильная! И потом, о своих акварелях: «Хорошо, правда?» Она знала, что красивая, как здоровый человек знает, что он здоров, и говорит об этом, нисколько не гордясь, совсем не придавая этому зна-

чения. — Муж на «МАЗе» работал,—продолжала Марина. — За пьяницу уволили. Стал слесарем в гараже. Мельчал на глазах. За свою же работу с водителями рублевки брал. Я ему говорю: сам шоферил, как ты можешь?.. Да он тогда уже все мог. Было б на водку...

— Как ты с таким мужем на второго ребенка решилась? — изумился Борис.

— Решила уйти от него, а как дальше жизнь сложится, разве угадаешь? Только узнала, что ребенок будет, сразу и уехала. Большая любовь — она ведь один раз бывала. Как село, где родился. Как родник, что речку зачал. А малых столько на пути встретишь, ну, как травинок на крутом склоне. Все вроде бы нетронутые, нетоптаные, ничными губами не захватанные. Поступаешь, ты для них — дождь. Поверишь — и пропала. Каждую напопыт — души не хватит. Потом уже и без души... Будто так и надо. Незаметно и сама, как трава, на выгоне стадом вытоптанная, становишься. От мужиков зависеть... — Она покрутила головой. — Нет уж, спасибо. Я сама себе мужик. Семья, девчонки растут. А зарабатаю... Ты кандидат, а я в своем деле, может, профессор.

— А он что? — Борис замялся. — И денег на детей не шлет?

— Уговор у нас: я от алиментов отказываюсь, он — от дочки. Про Аллочку он не знает. Нет, он меня теперь не тревожит, спокойно живу.

— Девочки у матери?

Подбородок ее вздернулся.

— Что я, хворая?

— Как же спрашиваешь?

— Ясли против моего дома. Круглосуточные. Каждый день забегают. Мне их день не видеть... — Она снова покрутила головой.

— Покажешь мне?..

Голос Бориса прозвучал не очень искренне, он и сам ощущал это. Марина отвернулась, поманила официантку: можно, мол, принести костицу.

Довели обед молча. Рыженькая положила перед Борисом счет, и Марина, мельком глянув в него, досчитала из кошелька деньги, половину примерно.

— Да ты что! — Ему даже краска в лицо бросилась.

— Привыкла сама за себя платить. Чужим людям не разрешаю.

— Какие же мы чужие, Марина, — укорил он, застывшая трешку в ее кошельке.

— Я с тебя деньги за ремонт беру, — сказала она, усмехаясь жестковато. — Разве со своим берут?

Она снова была язвительно колючей и привлекательной, как те дикие розы, что росли у ее дома в Арионештах.

Молча спустились по лестнице, молча свернули по узкой тропинке к боковой аллее парка. Борис смотрел под ноги. Трава была жухлая, только спорыш не потерял весенний своей насыщенности и густоты цвета, бежала вдоль тропинки, ложилась под самые подошвы, курчавилась — ей все нипочем. Тополя и клены стояли зеленые, как летом, акации — в проплещинах: то тут, то там сухие и желтые листья. Слабо тянуло мяты — у эфиромасличного завода прели темно-коричневые кучки отработанного сырья, исходили парком. Вблизи запах грубый, тяжелый — в нем уже не угадать мяты, а издали все еще свежий, тонкий.

Борис посмотрел на Марину и встретил ее вопросительный взгляд. Миновали скамью. Оба оглянулись на нее и вернулись, сели. В парке дышалось легко, от развороченной на газонах земли пахло свежко и остро.

— Сегодня совсем весна, — сказал Борис.

<sup>1</sup> Костица — свиная отбивная с ребрышком (м о л д.).

— Хлеб давно убран,— отозвалась Марина.

И снова они замолчали. Над ними шумели вершинами недвижимые в никаких ветвях тополя, и Борис сказал, что по ночам деревья шумят под окнами уже по-осеннему тревожно, мрачно. Неуточно такие ночи одиноким людям. И скны сняты странные, беспокойные. Проснешься и лежишь в тревоге, не понимая, откуда она, эта тревога, явилась, каким ветром в открытую форточку занесло.

Марина спросила, отчего он не женился. Он не ответил. Сам не понимал, что тогда произошло с ним на спектакле. Уже готов был жениться на Габи, но там, в театре, что-то переменилось, перевернулось в нем, и он понял, что они чужие. Может быть, потому, что он сидел в зале, был публикой, а она на сцене, почти обнаженная, какой он ее никогда не видел. А может быть, потому, что ее полуобнаженного тела бесцеремонно касались чужие мужские руки, и он на мгновение представил себе, что эта захватанная руками партнера женщина — его жена — возвращается после спектакля домой, ложится в одни с ним постель.

Он не ответил Марине, и она заторопилась, сказала, что ей пора. Пошли в гору, к троллейбусной остановке. Борис спросил, где она живет. Оказалась, далеко, на Новых Буюканах.

— Долго добираться,— сказал Борис.— А на работу куда?

— Нас на разные объекты бросают. Мне на далекие везет. Ну, да я привыкла. Для меня автобус, троллейбус — читальня.

Борис хотел проводить ее домой, но Марина отказалась: завтра должна вернуть журнал, в дороге закончит повесть. Догадалась, что он не поверил, достала из портфеля изрядно потрепанный журнал с закладкой, показала ему. Это был жест ребенка, которого подозревают в обмане, а он, еще не умея обидеться на недоверие, протягивает свои ладошки в ответ на взрословое: «Не мыла». Вот они — чистые, ровные, пахучие — гляди.

Борис полистал журнал. Закладка лежала на предпоследней странице повести Быкова.

— Ты что же, про войну читать любишь? — недоверчиво и чуть снисходительно спросил он.

— Я Быкова всегда в библиотеке спрашивала, у него ведь не просто про войну. Про непобедимость. В жизни все может быть: и война и холера, всякое горе, самое невообразимое. Быков таких людей показывает, которые себя сильнее. А если душа человека его самого больше... — Она не закончила фразы. Сказала с той самой умешкой, которая Борису была неприятна в ней: — Забыла, что ты кандидат.

— Чет с того?

— Смешно тебе меня слушать.

Как он ее ни убеждал, о литературе она больше не говорила и, кажется, обрадовалась припоплзшему наконец переполненному автобусу — троллейбусы не ходили.

Ночью Борис не спал. Сильно пахло краской, и он, надев пальто поверх пижамы, вышел на балкон. В доме напротив тоже кто-то не спал, голубоватым дневным светом всплывало в ночи окно. И луна была голубоватая. Вспомнилось его первое, школьное увлечение. Мартовским вечером он показал этой девочке тонкий-тонкий, еще не набравший желтизны, только что народившийся месяц. Она пошутила: «Бог ногти стриг». Месяц и впрямь был похож на остряйший полукруг ногтя, но блескенность его в тот же вечер исчезла...

Окно напротив погасло. Борис представил себе, что там, за окном, живут влюбленные, и одиночество стало еще ощущимей. Душное, душащее недо-

вольство собой поднималось в нем. Чего он испугался тогда?.. Поработал бы еще год на селе, Марина закончила бы школу, вместе уехали бы. Аспирантура от него никуда не ушла бы.

Тоска по Марине, по сильному, ладному ее телу томила Бориса. Он увидел ее в своей полосатой рубашке, которая была широка ей в плечах и тесна в груди, с расстегнутой третьей сверху пуговицей, увидел так явственно, что сердце рванулось, будто она была сейчас здесь, в его доме. Он видел ее приоткрытые губы с вы不可缺少ым розовым треугольником верхней, ее влажно блестящие зубы, и никаких сомнений больше не существовало. Никаких умствований. Казалось немыслимым прожить эту долгую ночь и еще долгий день в ожидании Марини и вечером стоять у двери, прислушиваться к шагам на лестнице, страшиться: вдруг не придет.. Вдруг с Мариной что-то случится завтра — уходит под стрелу крана, неудачно перебежит дорогу — мало ли что может статься с человеком именно тогда, когда его так мучительно ждут!. А может быть, случится с ним?.. Говорят, инфаркт помоло-дел, а двадцать семь лет уже не юность.

Как он мог не узнатъ ее адрес? Вызвать бы сейчас такси, вбежать к ней, заспанной, горячей, обнять так, чтобы косточки хрюстнули, и не разнять руку, не выпустить ее больше.

Он изо всех сил упирался лбом в шершавые от потрескавшейся краски перила балкона, словно хотел свалить их, бодал, как теленок, у которого начали прорезаться рога. Ему нужна была физическая боль, и руки его мертвой хваткой скимали ходячие железные прутья, и в каждом пальце отчетливо бился пульс — он мог его сосчитать.



До завтрашнего дня он дожил. С Мариной тоже ничего не случилось. Но все было совсем не так... Марина держалась отчужденно, работала, почти не отрываясь, и снова говорила ему «вы». Она, вероятно, сердилась на себя за вчерашнюю откровенность, в чем-то винила Бориса и нынешней своей холодностью пыталась наказать обоих. Полосатая рубашка валилась на полу в ванной, Марина принесла из дома голубую кофточку. В этой, незнакомой Борису застегнутой на все пуговицы кофточке она сейчас стояла к нему спиной, и спина эта была чужая. Дзюшка-малыш в залепленных краской шароварах и голубой кофточке. Добросовестный малый, который спешит поскорее завершить работу — и потому, что заказчик на этом просил, и потому, что у нее очреди и надо приниматься за следующую квартиру.

Спальня была закончена. Марина позвала его.

— Вот, глядите: дважды перекрашивала, а ваша температура все равно в глаза лезет.

Она вздохнула, свела брови. Неприятно ей было, не в ее правилах сдавать плохую работу.

— Во-первых, это моя вина, — сказал Борис.— А во-вторых, так даже оригинально: муаровая стена. Ни у кого нет.

Марина велела ему вытащить крюки, на которых в большой комнате висели книжные полки, и убежала на ближнюю стойку — попросить цемента.

Он справился со всеми крюками, только один никак не поддавался. Борис взмок, красная полоса, оставленная на правой руке klezchami, стала глубокой, как траншея, кожа на пальцах стерлась. Чертов крюк! Ему еще пришлось бы немало помучиться с ним, если бы не догадался вбить крюк в деревянную пробку. Схватил молоток и с одного удара вогнал крюк в стену. Придет Марина — может шпаклевать.

Марина принялась за разделку швов. Борис сидел на кухне, слушал, как отваливаются куски старой штукатурки, и думал о том, что вот была сохшаяся, покернейшая квартира, моль летала жирная, проедала полистиленовые мешочки, добиралась до шерстяных вещей, и нафтилин ей был не помеха. Она и в крупу забиралась, нагло плодилась там, пожирала даже сухие плоды шиповника. Муравьи по кухне ползали. Второй этаж — откуда только они здесь берутся, эти настырные мураши? Запустили квартиру... Но пришла в дом двадцатилетняя женщина и в какую-то неделю разрешила все неразрешимые проблемы. Спальня стала новой, без единой морщинки, как молодое девичье лицо. Проблески не мешают.

Захотелось еще раз взглянуть на возрожденную спальню. Борис крикнул: «Погоди, не руши! — и прошел туда. Комната светло-желтая, будто солнцем залита, хотя солнца здесь не бывает: окно выходит на север. Великое дело — ремонт, подумал Борис. Он изменился не только квартира, что-то произошло и в нем, Борисе, сдвинулось, очистилось, прорвилось и осветилось.

Но что это? Посреди стены, в метре над его кроватью, бугром вспучилась, взорвалась штукатурка.

— Марина! — закричал он, и она тотчас оказалась рядом. — Что это?

Он таращился на стену, а Марина выбежала в смежную комнату, крикнула оттуда:

— Эх, ты! Скорей.

Он подошел к ней.

— Я ж тебе сказала крюк вытащить, а ты его вместе с деревяшкой вбил, стену проторанил.

— Он не вытащился... — пробормотал Борис не сразу.

Марина смотрела на него с жалостью. Борис опустил голову. Она дважды перекрашивала из-за него спальню, теперь новая работа — дыру заделывать, закрашивать, подумал он.

— Я сам, — сказал поспешно. — Я сам сделаю, ты не трогай.

Она все с той же жалостливой улыбкой смотрела на него, думала, наверное, что он способен только портить, пробивать бреши; исправлять — ее забота. Неожиданно приглянула к себе его голову согнутой в локте рукой, отвернув ладонь, чтобы не испачкать, и крепко поцеловала в губы.



Ремонт длился еще три дня. Про себя Борис уже все решил, и Марина, похоже, решила — была с ним мягкой, ласковой, ни одной колючки. Эти дни она работала с азартом, напевала громче обычного. Склонив голову набок, отходила в сторонку, издали любовалась своей работой. Он наблюдал за ее движеньями и думал о том, что Марина должна стать не живописцем, а скульптором.

В этот последний день ремонта Борис рано ушел с работы. К приходу Марины у него были приготовлены шампанское, торт и душистые розы, громадный букет роз, вероятно, только срезанных, потому что, когда он покупал их, они еще не совсем раскрылись и лепестки были влажны. Борис поставил цветы в вазу, унес в спальню, а спустя час или два обнаружил, что цветы раскрылись до времени, распахнулись, насколько это возможно, и вот-вот начнут ронять лепестки.

Марина в этот вечер возилась особенно долго. Борис нервничал. И мылась она, закончив работу, особенно щадительно. Вышла к нему, как всегда, нарядная, с высокой прической, только лицо было

бледнее обычного, то ли устала очень, то ли волновалась, как он.

— Кажется, все, — неуверенно сказала она.

Она уже не оглядывала стены — смотрела в лицо Бориса строгими, немигающими глазами. Ждала от него каких-то слов, как мать ее в тот прошальный день. А Борис растерял все слова, и только одно пугливо «верно ли?» было в его мозгу. Верно ли он решил, не поторопился ли, не сгорячился..

— Ну все, — шумно вздохнув, решительно поворотила Марина и сообщила ровным, стертым голосом, что ей сейчас нужно зайти еще в одно место, тоже на Ботанике. Люди обменияли квартиру, сидят на не распакованных вещах, ждут ремонта.

— Да, да, — торопливо проговорил Борис, отводя взгляд от бледного лица Марины, и засуетился, отыскивая, куда накануне ремонта спрятал деньги. Порылся в одном ящике, в другом, метнулся от стола к шкафу, а она стояла посреди комнаты, чуть откинувшись назад головой, и натруженные ее руки были спокойно опущены, недвижны. Борис нашел деньги, протянул конверт Марине. Пальцы его дрожали. И снова засуетился, принес из спальни цветы и торт. — Это тебе.

Она смотрела на него с грустью, а больше с жалостью, как смотрят на больного человека, зная, что он обречен, видишь его в последний раз и ничем помочь не в состоянии.

— Но ведь мы еще увидимся? — спросил он.

Марина не ответила, и он поспешил за ней в коридор, удержал, заглянул в лицо тоскливыми глазами голодного пса, которому хозяин сказал: «Тубо».

— Но ведь мы еще увидимся? — повторил он жалобно.

Он слышал, как уверенно прощокали ее каблуки по лестнице. Вернулся в комнату. Оттянув ворот душившей его рубахи, посмотрел в окно. Марина пересекала улицу. В одной руке несла портфель, в другой — цветы. Держала небрежно, головками вниз, как веник.

Борис зашел в спальню. Здесь сильно пахло краской, и он подумал, что, слава Богу, осень стоит теплая, окна распахнуты и к возвращению матери никаких неприятных запахов уже не будет. Дрожащими руками откупорил шампанское. На прикроватной тумбочке стояли два заранее приготовленных бокала. Он налил оба, и пока пил из одного, второй уже не пенился, будто это и не шампанское вовсе, да еще сухое, коллекционное, криковского завода. И вдруг понял: Марина ушла навсегда.



Окна распахнуты настежь. В доме хозяиняют залетные сквозняки. Ремонт давно закончен, но запах краски держится стойко. Ненестримый запах, скорей бы от него избавиться.

Борис доволен ремонтом. Похаживает, поглядывает: новая стала квартира. Вот только дыра в простенке... Заделана аккуратно, шпаклевкой заглажена, краска подобрана в тон, а все равно заметно. Да еще эти разводы. Пригласить бы майстра, шустрого парня, в один день перекрасил бы спальню. Кому нужны эти муаровые стены, постоянное напоминание: вот-де но знал, что водозмельственные белила нельзя смешивать с масляной темперой...

г. Кишиев.

## Инна Роя



Перевела  
с латышского  
С. СОЛОЖЕНКИНА.

### Янтарь

Погляди, с каким старьем ищет человек янтарь:  
он перебирает камни, водоросли ворошит,  
вот ударил он в ладоши, рассмеялся вдруг,  
как встарь,  
только в детстве так смеются,— и поднять  
смолу спешит,  
да, смолы кусочек гладкий — вся-то радость,  
вся-то грусть,  
словно мир себе представить без него я не  
возьмусь,  
словно без кусочка солнца утро серое вовек  
к нам на пир прийти не сможет,— так  
смеется человек.

Погляди, как чаши пляшут, брошки ножками  
топочут,  
как от пуговиц янтарных отшатнулись темн  
ночи,  
погляди, как волны смыли краски чуждые  
с лица  
и с домов сорвали маски — только пляски  
без конца,  
все открыты и промыты здесь, на пляже, где  
чудак  
отыскать янтарь стремится и, гляди, нашел,  
никак!

Но зачем же он, задумчив, снова бросил  
чашу в море,  
для чего он бьет в ладоши и дает пинка  
волне!  
Неужели в янтаре лиши наше счастье, наше  
горе,  
и на пиршество природы не найдется  
места мне  
без слезы людской, янтарной, отшлифованной  
навек,  
той, что снова в море бросил странный этот  
человек!

### Свет

Нет, печь здесь ни при чем, и не камин виною,  
не ведала свеча, и знать не знал костер,  
что двое обнялись — и мир согрели двое,  
и от тепла их руки сиянье пролилось.

Свет комнату пронзил, как солнце плод  
пронзает,  
свет вплелся лесу в бороду, и вот  
в гнезде у аистов гнездо себе свиает,  
свет спит в гнезде, и утро настает...

Потух камин, и печь, как еж, в клубок  
свернулась,  
костер золою стал, доплакала свеча,  
и все людским теплом на свете обернулось,  
течет смола, и свет течет, лучом леча.

К лавине световой и аисты примкнули,  
гнездо свое ветрам внезапно подарив,  
птенец долбит яйцо — земля дрожит от гула,  
пробил, удрали от тьмы, увидел свет — он жив!

### Путешествие на велосипеде

Велосипед, зачем меня  
оплакивать среди бела дня?  
Я — что, вот колесо мертвое,  
почти молчанием его!

Смотри, как радуется мир,  
что мы с тобою живы:  
пастух готовит в чане сыр,  
а пахарь варит пиво!

Велосипед мой вороной,  
ухабы ты считал со мной,  
дубовою листвою  
я прежний путь укрою!

Уж больше ты не упадешь...  
Придет под вечер молодечь,  
получишь сыр и пиво,  
о мой скакун ретивый!

Под вечер буду я битком  
набита огоньками.  
Взорвусь, не вспомнив ни о ком,  
над темной речкой, над леском  
рассыплюсь светляками.

А ты, а ты, мой верный друг,  
велосипед мой милый,  
ката в ночи один на луг,  
не будь такой унылый!

Там, где сплетаются хвоши,  
цвет папоротника отыщи,  
на радугу вскочи — и вскачь  
лети, и молод и горяч,  
чтоб стала огненной роса,  
взял солнце вместо колеса!

## Александр Юдахин



Товарищ мой старший  
Мне новую книгу прислал.  
«Не нервничай, Саша! —  
На титуле он написал.—  
Мы в дружбе с тобою!  
А прочее все пустяки!»  
За строчкой «С любовью!»  
Полши фронтовые стихи.  
В них вечная память,  
В них верное сердце стучит.  
«Не нервничай, парень!» —  
В них каждая строчка кричит.  
Друзья твои живы,  
И дети здоровы твои!  
Исполненный силы,  
Во славу России твори!  
Тропой самолетной  
Над лесом летят журавли.  
Живи и работай!  
«Не нервничай!» — значит, живи!



Все проходит, любил — не любил.  
И, скитаясь по белому свету,  
Я и сам в суете позабыл  
Быстро глязющую девочку Свету.  
Помни только сиянье небес,  
Рисовальный альбом «для блэзеру»,  
Изумрудно-березовый лес  
И заплутую солнцем низину.  
Был я молод, нескладен, несмел,  
Одурманен невидимой мятой,  
А над нами посвистывал шмель,  
Словно маленький вентилятор.



Что Соломоново кольцо?  
Когда в Ошё, на виадуке,  
Забыв любимое лицо,  
Он ясно вспомнил день разлуки.  
Двух воробышек в январе,  
Веселых от овсяной крошки,  
И сбывателя в окошке,  
Как будто муху в янтаре.

## Осень

Возьмите билет за целковый  
Туда, где осина горит,  
Как будто бы купол церковный,  
Который давно позабыт.

Где можно на проводах лета  
Вдали от заботы мирской  
Скупую тоску человека  
Сравнить с беспредельной тоской.

## Виктор Николенко



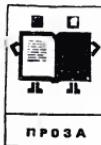
Май на половине. Вербы отцвели...  
Посвист соловийский слышится вдали.  
Песенка простая: «Я ли не любил —  
Всех, кого оставил, всех, кого забыл!...»  
Друг мой неуемный,  
Ты ли не к добру!..  
Сердце бое мое!  
Голос — подберу...



Хорошо над Угрой — высоко и спокойно...  
Облака за горой — будто белые кони.  
Будто сено везут, незаметно теряя...  
Лес и поле внизу — без конца и без края.  
Где от века — к добру обозначены тропы.  
Где поньи в бору зарастают окопы.  
Где стояла война у речоньки переправы.  
Где теперь тишина да холодные травы...  
Где от белого дня ночь светла и туманна.  
Где любила меня темноокая Анна.

## Соль

Неласковая школа артельного труда...  
Пошел в накат плашкоут: туда — сюда — туда!  
И я дивлюсь нахрапу отчаянных ребят.  
И я бегу по грязи, как пыньяны акробат!  
И я такой веселый — хохь в щепку расколи!  
Кругом рыбакской соли мне плечи минут кули.  
И я взыскию сути! [А кто ее просил!]  
К разнознанной посуде швартуется бускир.  
Последние разочки. Немыслимые пах...  
Устало пьет из бочки артельная толпа.  
Шальная моя школа, где горе не беда...  
Мотается плашкоут: туда — сюда — туда!..



ПРОЗА

# РЕМЗИК

ПОВЕСТЬ

**В** тот вечер они сидели на теплых ступеньках крыльца, и Ремзик рассказал про подвиги своего дяди, военного летчика, ночного бомбардировщика.

Дом, на крылечке которого они сидели, принадлежал директору кондитерской фабрики. Из распахнутых окон, оклеенных крест-накрест бумажными полосами, доносились звуки телефонной музыки. Девочки, подружки директорской дочки Вики, учились танцевать. Они приглашали и мальчиков, но Ремзик отказался за всех, и мальчики остались на крыльце.

Им всем было по двенадцать лет, и Ремзик считал, что им рано учиться танцевать. И вообще сейчас не время, сейчас идет война. Кроме того, на нем была обувь из расслоенных старых покрышек, которую многие теперь носили и называли «Мухус-Сочи», имея в виду, что ей нет сноса. Ноги в этих резиновых башмаках прели, и это чувствовалось в помещении, и Ремзик испытывал некоторую неловкость.

Время от времени директорская дочка высовывала голову из окна и рассеянно смотрела на крыльце, где сидели ребята, стараясь заинтересоваться рассказом Ремзика.

Несмотря на то, что на улицах и в домах не было света из-за светомаскировки, лицо девочки было хорошо видно — на небе стояла большая, яркая луна. В лунном свете лицо девочки казалось более взрослым.

Лицо ее Ремзiku было приятно, но он никогда в жизни ни ей, ни кому другому не признался бы в этом. Он считал, что ему, двенадцатилетнему мальчику, девочки вообще не должны нравиться, тем более сейчас, когда идет война.

Не сумев заинтересоваться рассказом Ремзика, девочка уходила в глубину дома, в другую комнату, где горел свет и играла музыка, постыдной сладостью обволакивавшая душу мальчика. Ремзик знал эти пластинки, потому что все они и многие другие были у тети Люси, жены дяди, которую он привез из Москвы.

Да, дядя Баграт ничего на свете не боялся. С самого начала войны он летал в тылы врага, и его ни разу не сбили. Один раз ранили в ногу осколком зенитки, но сбить ни разу не сбили. И тогда ему удалось дотащить самолет до аэродрома. Мало того, что он был замечательным летчиком, он еще был и везунок.

Он летал на «По-2» с хвостовым номером 13! Ни один летчик даже близко не хотел подходить к самолету с таким невезучим номером. А он летал, и хоть бы что! Правда, в самолет попадало множество осколков, и он был весь в латках, но мотор ни разу не был задет.

Вообще ему всегда во всем везло. Ну, хотя бы такой случай. Мальчик задумался, стоит ли рассказывать, потому что его навряд ли можно было назвать

Рисунки  
Е. ШУКАЕВА

подвигом, но случай этот полностью оправдывал прозвище «озунка».

Кстати, он уже про все подвиги дяди рассказал, а ему хотелось и про этот случай вспомнить...

Это был такой случай, когда они с фронтовым другом приехали в Москву на кратковременный отдых. У них у обоих были полные, ну, представьте, полные-преполные планшеты денег. И они на радостях там крепко выпили в ресторане, что обо всем забыли. Просто ничего не помнили. А у них были полные-преполные планшеты денег. Они в ресторане угощали не только музыкантов, но и просто кого попало, потому что денег у них было полным-полно. У них просто планшеты лопались от денег, потому что они целый год не были в отпуске, а на фронте деньги тратить негде, да к тому же дядя еще был холостой.

А утром они проснулись в гардеробной у швейцара. Оказывается, они там проспали всю ночь, подложив под голову планшеты. И никто у них не вытащил планшеты из-под головы. Они для смеха пересчитали деньги в своих планшетах, и оказалось, что никто ничего не взял, кроме того, что они потратили в ресторане—каких-нибудь (для них, конечно) две тысячи.

— Мальчики, может, вы все-таки зайдете? — сказала Вика, через некоторое время опять выглядывая в окно и бесплодно пытаясь заинтересоваться рассказом Ремзику.

— Охота была в жару в комнате сидеть, — за всех сказал Ремзик и посмотрел на нее своими большими глазищами.

Девочка снова исчезла в окне.

— А то зайдем, может, угостят? — сказал Чик и искоса посмотрел на Ремзику.

— Сейчас все на карточки живут, — рассудитель но отрезал Ремзик.

— Много ты знаешь, — возразил Чик, — у них бывают бракованные пончики и конфеты еще вкуснее, чем небракованные...

— Чик правду говорит, — сказал Лёсик.

Он жил с Чиком в одном дворе и всегда его поддерживал.

Из окон донеслась веселая музыка «Кукарачи», которую так любила жена дядя тетя Люся.

— Или взять, как он женился, — продолжал Ремзик, нежно улыбаясь чудаствам дяди, — опять приехал в Москву на три дня, уже с другим товарищем... Вдруг увидел на главной улице Москвы красивую девушку с тяжелой сумкой. И вот он говорит товарищу: «Я сейчас помогу этой девушке, и она будет моей женой...» И что же? Он донес эту девушку, помог донести сумку, и она стала его женой.

— Ух ты, — удивился Лёсик, — только из-за этой сумки согласилась??

— Может, у него опять был полный планшет денег? — с некоторым сомнением заметил Чик.

Ремзик не заметил этого сомнения, он только заметил глупость такого предположения.

— Не в этом дело, — сказал он, — в тот раз у него не было планшета с деньгами. Просто она всю жизнь мечтала встретиться с таким боевым летчиком. А ему повезло, потому что она мечтала и он именно ее заметил.

— Пашаны, — кивнул Чик на окна, — может, угостят?.. Они однажды угощали горячими конфетами... Еще морковью, чем настоящие...

— Кто тебя угостит, если все на карточки живут, — снова заметил Ремзик, — другое дело, если родственники из деревни привозят что-нибудь... Но у них нет в деревне родственников...

— Ну, тогда расскажи что-нибудь интересное, — сказал Чик, — а то «напился», «женился»... Скукота...

— Ты сначала узнай, с кем напился, а потом говори, — ответил Ремзик, обидевшись за дядю. — Он напился, — продолжал Ремзик, оживляясь оттого, что вспомнил еще один нерассказанный случай, — с тем летчиком, которому спас жизнь. Это был замечательный случай. Летчика этого подбили над брянскими лесами, и он успел передать по радио, что он пошел на вынужденную посадку, но больше о нем ничего не было известно. Два дня все летчики аэродрома его искали...

Вдруг Ремзик ощущил, что в густой тени дома, на противоположной стороне улицы стоит человек. Несознанное омерзение и страх пронзили мальчика. Так бывает во сне, когда видишь человека, добродушно разговаривающего с тобой и улыбающегося тебе, но знаешь, что он хочет тебя убить.

В первое мгновение Ремзик подумал, что это шпион какой-то, а потом понял, вернее, угадал, что это тот доктор из госпиталя, где работает тетя Люся. Он иногда к ним заходил. Он заходил даже тогда, когда дядя привел на два-три дня с попутным транспортным самолетом.

Человек почти полностью сливался с чернотой тени каменного дома, у которого он стоял. И все-таки, если приглядеться, силуэт его скелета обозначался, словно оживший и страшный кусок этой черноты. Чуть бледнеющая полотняная кепка увенчивала страшный силуэт.

Он стоял неподвижно в густой черной тени и чего-то ждал. Но что? Омерзение догадки пронзило мальчика: он ждет, когда мы разойдемся! Так, значит, мама была права!

— Ну, а потом? — донесся до него голос Чика, — Ты, что, оглох?..

— Его искали все летчики, — сказал Ремзик, напрягая волю, чтобы никто ничего не заметил, — но нашел его мой дядя. Он верил в него и потому привильно искал... Он верил...

— Да, знаем, что верил, — перебил его Чик, — но почему именно он нашел его?

— Потому что он верил, — упрямо повторил Ремзик, — он верил, что его друг так же опытный летчик, как и он сам. К тому времени ужас мало осталось опытных летчиков. На аэродроме только их двое и оставалось, и потому он верил в него. В лесах бывают тысячи всяких полян. Но дядя верил в него и потому искал его по-своему. Он снялся только над теми полянами, на которых сам мог бы приземлиться. А над другими полянами он снизился, потому что друг его был такой же опытный летчик, как и он сам... И учитите, — продолжал Ремзик, — дядя рисковал жизнью, потому что немцы могли найти самолет его друга и устроить там засаду. И потому он спешил, чтобы опередить немцев.

— Но ведь товарищ его мог бы махнуть рукой, — сказал Лёсик, — тогда было бы ясно, что там немцев нет...

— Махнуть рукой... — с горечью повторил Ремзик и украдкой глянул в тень, где продолжало стоять что-то темное, зловещее. — По-твоему, он сел в тылу врага и зажил в самолете, как в кибитке? Нет, он спрятался в лесу и только по гулу мотора догадался, что это наш самолет кружится над поляной. Он выбежал на поляну, дядя посадил его в свой самолет и вернулся на аэродром. Он был отчаянnyм храбрецем, он даже предложил командование сейчас же лететь туда с механиками, починить повреждение и забрать самолет...

— Но почему «был», Ремзик, — спросил Абу, — он ведь жив?

— Конечно, жив,— сказал Ремзик с мстительной силой и снова нащупал глазами ненавистную тень в полотняной кепке.

Он подумал: тот ждет, чтобы мы все разошлись, а потом войдет через парадную дверь и ляжет в комнате, в которой дядя жил со своей женой. Там даже нет второй кровати.

— Пацаны,тише, кажется, «мессершмитт» летит,— сказал Чик.

Ребята замерли, прислушиваясь, но в этот миг в доме заиграли пластинку под названием «Брызги шампанского», и вдруг, словно пластинка сама вдруг разлетелась, на Черниявской горе с каким-то запоздалым бешенством залаяли зенитки.

Девочки в доме завизжали и выключили телефон. Мальчики вскочили на ноги и, подняв головы, искали в небе одуванчики разрывов. Но их не было видно. Только было слышно, как высоко в небе раздаются еле различимые звуки разрывов, похожие на тот звук, который издают губы человека, когда он пускает из рта колыбель табачного дыма: пух, пух, пух.

Снова загремели зенитки. По небу засархали проекторные лучи. К зениткам на Черниявку присоединились зенитки с Маяка. Проекторные лучи то скрещивались, то разбегались, но самолетов не было видно, и только позывали оклеенные окна домов, отражая заплы зениток.

В промежутках между заплами высоко в небе продолжал зудеть «мессершмитт». Потом заплы совсем замолкли, а по небу все еще бегали проекторные лучи, словно чувствуя свою вину за то, что не смогли остановить или вовремя заметить немецкого летчика.

— Опять ушел,— сказал Чик и сердито сплюнул.

— На Черниявке девочонки-зенитчицы, кого очи могут сбить? — сказал Абу презрительно.

— Я и то раньше услышал,— сказал Чик.

— Настоящие зенитчики на фронте,— сказал Ремзик,— кто их будет держать в тылу?

Он очень боялся, что кто-нибудь из мальчиков заметит его волнение. Кажется, никто ничего не заметил.

Он снова взгляделся в тени дома на противоположной стороне тротуара, но там сейчас никого не было. Может, мне тогда показалось, подумал он. Вернее, попытался подумать. Но он знал, что ему ничего не показалось.

Человек этот стоял в тени дома, расположенного рядом с их домом. Если бы он оттуда ушел направо, ему пришлось бы проходить мимо школьного забора, где очень короткая тень и его было бы видно. Если бы он, пройдя дом Ремзика, пошел бы дальше, то его было бы видно в промежутке между их домом и домом Чика, там тоже короткая тень от забора.

Значит, он вошел в их дом через парадный вход, который открывали только, когда приезжал дядя, и раньше, когда еще был папа...

Даеняя боль пронзила Ремзика, словно новая боль сорвала кожу с старой раны. Пз, я больше никогда, никогда не сдрейфлю! Ведь я все-таки был тогда маленький! Ты же помнишь? Мне же было тогда восемь лет!

...Он подумал: наверное, когда мы выходили со двора Чика, он как раз подходил к нашему дому, и, заметив нас, остановился в тени. А мы, как назло, сели на крылечке директорского дома, и он не мог сдвинуться с места, так как боялся, что я его замечу.

Девочки в доме снова завели телефон. И снова музыка сладостной любви обволокла его душу. Эта пластинка называлась «Риорита».

— Ну, я пошел,— сказал Ремзик и встал с крыльца.

— А как же самолет? — спросил Чик.

— Какой самолет?

— Ну, тот, который сел в брянском лесу,— напомнил Чик.

— Ах, тот,— вспомнил Ремзик, чувствуя, что потерял вкус к рассказу,— им не разрешили спасти его...

— Ремзиша, ты уходишь? — спросила Вика, появившаяся в окне.

— Да,— сказал он сухо,— мне завтра рано вставать.

— Спокойной ночи, Ремзик,— сказала она, как бы растворяясь сухостью его ответа своей доброжелательностью.

— Спокойной ночи,— ответил Ремзик.

— А на море когда? — спросил Чик.

— Часиков в одиннадцать,— ответил Ремзик, не оборачиваясь,— я тебе крикну.

Он подошел к калитке, просунул руку сквозь штакетник и скинул крючок. Калитка, скрипнув, отворилась. Но почему-то его собака не кинулась на нее. Обычно она лежала у крыльца под огромным стволом магнолии, где между толстыми, уходящими в землю корнями нашла себе уютное место.

С начала войны, когда в городе с продуктами стало очень трудно, мама вместе с тремя детьми, из которых Ремзик был самым младшим, переехала в деревню Анхар, где работала в больнице и жила в доме сестры.

После того, как ее младший брат женился и привез из Москвы жену, Ремзик решили оставить в городе, чтобы тетя Люся не было страшно одной.

С тех пор они жили здесь, и Ремзик ходил на базар, получал по карточкам продукты и присматривал за садом. Вообще с тетей Люсей ему жилось хорошо. Она была добрая, щедрая, красивая, Ремзик это знал точно. На нее посыпались мухи. Один парень, живший на их улице и приехавший домой после госпиталя, однажды, увидев их вместе, крикнул Ремзiku:

— Ремзик, родственника не хочешь?

— Ты что,— ответил ему Ремзик, удивившись его несвободомысли, — тетя Люся — жена дяди Багратиана!

— Ну и везет же некоторым,— сказал этот парень и посмотрел на свою вытянутую раненую ногу.

Тетя Люся улыбнулась ему, всем своим видом показывая, что она ценит признание фронтовика.

Да, Ремзику нравилась жена дяди, ее красота казалась ему застывшим подарком для дяди. Единственное, что огорчало его,— мама явно не любила тетю Люсю. Это его сильно огорчало, но он успокаивал себя тем, что мама сама очень любит младшего брата и ревнует ее к нему. Он знал, что это с женщиными бывает.

Веранда была освещена электрической лампочкой, потому что отсюда свет не виден на улице. Стол на накрыт. На нем стоял чайник, укрытый полотенцем, хлебница с четырьмя кусками хлеба, банка с джемом и бутылка с сиропом.

Не останавливаясь на веранде, он прошел в прихожую, прошел мимо своей комнаты и в столовой увидел тетю Люсю и ее подругу Клаву. Тетя Клава, стоя на четвереньках и выпятив зад, шарила веником под кушеткой, пытаясь выгнать оттуда собаку. Но Барс в ответ только рычал. Он почему-то не хотел вылезать из-под кушетки.

Тетя Люся, держка в руке керосиновую лампу и низко склонившись над тахтой, что-то искала на ней. Ремзик понял, что она ищет клещей, которые бывали на собаке, хотя он часто купал ее в море.

Тетя Люся была очень брезглива и не любила кошек и собак. Ремзика всегда удивляла и огорчала

эта ее черта. Во всем остальном она была очень добрая. Вернее, до сегодняшнего вечера казалась такой.

Сейчас она была в ночной рубашке с большим вырезом на груди. Тяжелый пучок золотистых волос приподнята на затылке. Ладонью прикрываясь от окна свет и низко склонившись над тахтой, она внимательно осматривала каждый кусок крова, озаренный пятном света. Ладонь, прикрывавшая лампу, прокровичивала розовой кровью.

Обе женщины были так увлечены, что не заметили, как Ремзику вошел в комнату. Двери в спальню были слегка приоткрыты. И в этой приоткрытой двери он увидел заднюю ножку края кровати, простиною, свисающую с края расстеленной постели, и на одном из двух шаров, увенчивающих спинку кровати, нахлобученную полотняную кепку. Спальня была освещена светом луны, падавшим из невидимого отсюда окна.

Мальчик сделал еще один шаг так, чтобы приоткрыть дверь ничего не было видно. Сейчас он был услышан, и тетя Люся осторожно, чтобы не опрокинуть лампу, повернула к нему голову. Теперь ее нежное лицо, озаренное лампой, светилось розовой кровью, так же, как и ладонь.

— Помоги нам выгнать Барса, — сказала она, — меня мутят от его блока.

— На нем клещи бывают, — ответил Ремзику, — блокастым он никогда не бывал.

— Тем хуже, — сказала она, — нахмурившись, и отягнувшись на кушетке, — я, по-моему, видела эту мерзость... но никак не могу найти.

Ремзику показалось, что она нахмурилась из-за того, что дверь в спальню была приоткрыта, и он мог что-нибудь увидеть.

— Берс, ко мне, — сказал Ремзику, и собака, не выходя из-под кушетки, радостно застучала по полу хвостом.

Тетя Клава продолжала стоять на четвереньках, выпивав зад.

— Барс, ко мне, говорят!

И собака вылезла из-под кушетки и, виновато виляя хвостом, подошла к мальчику.

— Ужин на столе, — сказала тетя Люся, — можешь весь хлеб съесть...

Когда он вместе с собакой вышел в переднюю, то услышал из столовой голос тети Люси, вернее, угадал значение слов, произнесенных тихим раздраженным голосом: «Дверь прикрой...»

Ремзику вышел на веранду и остановился, не зная, что делать. Он посмотрел на Барса, собака тоже посмотрела на него, словно спрашивая: «Ну, что теперь будем делать?»

И эта полотняная кепка, нахлобученная на шар и уединенная в приоткрытой двери, и упорные поиски клеща на кушетке, и розовеющая кровь в свете лампы, и оттопыренный зад тети Клавы, и попытки выгнать упирающегося Барса — все это слилось в его душе в картину невыносимой гнусности.

Всех-таки он вспомнил, что с обеда голоден, и сел к столу. Он налил себе оставшегося кипятка, засыпал его сиропом и, доставая ложкой из банки мандариновый джем, мазал его на хлеб и ел, запивая теплым чаем. Джем был, как всегда, прогоркий, и третий кусок хлеба Ремзику ел без джема, хотя в банке его еще было много. Последний кусок хлеба он бросил собаке.

Выпив чаю, он продолжал сидеть за столом, не зная, что делать. По возне в столовой чувствовалось, что там продолжают искать клещей. Он подумал: они ищут клещей, а Этот притаился в спальне и ждет, когда она придет к нему и ляжет вместе с ним.

Временами с моря доносился ночной ветерок, и листья виноградных плетей, вышущихся под карнизом веранды, тихо лопотали. Гроздья недозрелой «изабеллы» темнели в зеленых гирляндах листьев. Он дотянулся рукой до ближайшей грозды и машинально отщипнул несколько ягод. Кислая мякоть скользнула в горло. Он сплюнул шкурки на пол. Барс тотчас же сплюнул их.

Ремзику подумал: оказывается, она предательница, а я ей еще магнолии развел.

Примерно в неделю раз он влезал на дерево и срывал тяжелую, пахучую чашу цветка.

— Божественно, — говорила она, окуная лицо в белоснежные лепестки.

Может, она для Этого украшала цветами магнолии свою спальню? Он подумал и честно откинулся на возможность. Она Этого еще не знала, она еще даже не работала, когда просила сорвать ей цветок магнолии. А ведь первый раз сорвал ей этот цветок дядя, когда она только что вместе приехала из Москвы!

Он с грустью вспомнил тогдашнюю радость. Сколько было праздничного народу в доме, сколько стояло на полу небрежно полураскрытых ченоанов, откуда, как ему казалось, вываливались несметные сковорища ее одежд, какой она была радостной хохотушкой, как бесконечно чмокала дядю, как с Ремзику бегала по саду, удивляясь южной пышности цветов, фруктовым деревьям и даже всяkim сорнякам, которых здесь, оказывается, вымаживают до размеров, неслыханных в Москве! Как он тогда любовался ими обоями, как он с тайной щедростью позволял ей любить его!

На следующий день после приезда дяди в доме было много гостей, все радовались его приезду и женитьбе, и все крепко выпили, а потом, когда гости вышли на веранду, тетя Люся показала на огромный цветок магнолии на вершине дерева, и дядя полез сорвать его, а гости, стоя на веранде и на лестнице, сами крепко выпившие, смеялись его чудачеству и подзадоривали дядю. И только мама, побледнев, стояла на крыльце, повторяя одно и то же:

— Баграт, ты же выпивший... Баграт, ты же выпивший...

— Чтоб ночной бомбардировщик рухнул с какой-то паршивой магнолией... — рычал он, карабкаясь с ветки на ветку, и наконец дотянулся до цветка, обломал его и стал спускаться вниз.

Ремзику навсегда запомнил, как он висел на последней ветке с огромным белым цветком, зажатым в зубах, слегка покачиваясь и косясь на землю, чтобы спрыгнуть, переложив тяжесть на здоровую ногу, неконец под смех и гром рукоплесканий спрыгнул и, не удержавшись на здоровой ноге, упал на землю, но тут же сделал вид, что он нарочно повалился, а она вместе с Барсом подбежала к нему, целяя его и подымая с земли. Гости продолжали смеяться и хлопать в ладоши, и только мама, скрывая радость, сказала:

— Людям постыдитесь...

...Громко разговаривая, по улице прошли мальчики, с которыми он сидел на ступеньках крыльца.

— Я же говорил, угодят, — сказал Чик.

— Ты всегда угадывал, — восхитился Лёсик.

— У меня инюх, — сказал Чик.

— Но ты же не знал, что будет арбуз, — заметил Абу.

— Я знал, что-то будет, — это главное, — ответил Чик.

— Пацаны, значит, завтра на море? — раздался голос Абу уже издалека, и было ясно, что Чик и Лёсик свернули к своему дому, а Абу пошел дальше, к себе, и уже оттуда крикнул.

— Да,— ответил Чик,— ко мне Ремзик зайдет, и мы тебе крикнем.

— Собак возьмет?

— Там видно будет,— важно сказал Чик, и Ремзик улыбнулся, как хлопнула капелла в соседнем доме.

Грустная зависть к их беззаботности охватила Ремзика. Неужели и я до сегодняшнего дня был такой же, как они, подумал он. Он почувствовал, что больше никогда, никогда не сможет быть таким.

Дверь прихожей отворилась, и тетя Люся вышла на веранду.

— Ты еще не спишь?— спросила она, поеживаясь от ночной прохлады, скрещивая и с любовью поглаживая свои тонкие, голые руки.— Клава остается на усадьбе.

— Знаю,— с невольной прозорливостью ответил он.

— Знаешь?— переспросила она и посмотрела ему прямо в глаза.

Он не выдержал ее взгляда и опустил свой. У него были огромные наивные глазища, из-за которых дядя шутя называл его «Птица Феникса».

— Ну да,— сама ответила она за него,— уже ведь поздно... Ложись ты...

— Мне нехорошо,— сказал он и неожиданно для себя добавил:— Я буду спать здесь...

Это было неосознанным желанием отделиться от них. Он подумал: тетя Клава остается здесь, потому что Этот остается здесь. Он подумал: так они решатся на случай, если приедет кто-нибудь из родственников или дядя.

За этот год дядя трижды привел с попутным транспортным самолетом и всегда ночью. Ремзика будили, и устраивался замечательный ужин с жареными бататами, с американской свиной тушеникой, с каким-то чудесным, белым, как снег, хлебом. Консервы и хлеб всегда привозил дядя.

Однажды он приехал с тем самым летчиком, которого спас. Они были чем-то похожи друг на друга: оба коренастые, небольшого роста, и у обоих грудь, как в панцире, в медалях и орденах. Какое счастье было прогуливаться с ними по набережной и видеть, как девушки так и стреляют в них глазами, а пакены с уважительной завистью смотрят на Ремзика.

В такие минуты Ремзик в глубине души надеялся, а иногда даже был уверен, что за ними тайно наблюдают кто-нибудь из тех людей, которые должны разобраться в деле отца с этой распроштакой ртутью. Он думал, что этот тайный наблюдатель призадумается, глядя на дядю, и скажет себе: не может быть, чтобы в одной и той же семье был и вредитель и такой бравый летчик, весь в орденах. Надо как следует изучить историю с этой ртутью, найденной в горах, может, отец Ремзика и в самом деле ни в чем не виноват...

К сожалению, дядя во время этих неожиданных прилетов бывал дома не больше двух-трех дней, а в последний раз сказал, что теперь не скроет прилетит, потому что фронт ушел вперед и аэродром перебазируется.

...Она снова вышла на веранду, держа в руках две простыни и подушку.

— Что это ты киснешь, «Птица Феникса»?— спросила она, взметнув простыню и поставив ее на топчане.— Сейчас я тебе взбью подушку...

Все это она делала и говорила, как ему сейчас казалось, с невыносимым фальшивом. Особенно фальшивым ему казалось, что она осмелилась его называть так, как называл дядя. Она и раньше иногда так называла, но сейчас это было невыносимо.

— Ложись,— сказала она.

Он не сдвинулся с места. Он подумал: она хочет,

чтобы все в доме успокоилось, и она бы спокойно ушла к Этому.

— Мне еще ноги надо вымыть,— все же добавил он, смягчая свое упрямство.

Она в это время стояла у раковины и долго чистила зубы, потом так же долго мыла лицо и руки с мылом, а потом так же невыносимо долго вытирала их полотенцем.

Она пожелала ему спокойной ночи, выключила свет и вошла в дом, закрыв изнутри дверь на цепочку. Он слушал ее шаги. Вот она вошла в столовую, что-то сказала тете Клаве, которую почему-то фальшиво называла компанионкой (раньше казалось смешно), потом вошла в спальню и прикрыла за собой дверь.

Мерзости! Мерзости! Мерзости!

Он встал со стула, снова зажег свет и, сняв свои «Мухус-Сочи», вымыл их под краном и вынес на лестницу сушить. Потом он вымыл ноги и сел на постель, дожидалась, чтобы они высохли. Ноги приятно холодило после обуви, горячая и саднящая ступни.

«Оказывается, я был дурак,— подумал он,— оказывается, мама была права». После первого отъезда дяди тетя Люся устроилась работать в бухгалтерию военного госпиталя. У нее было неполное высшее образование, и матеря Ремзика, которая сама там раньше работала, помогла ей устроиться.

В госпитале был кружок пения, которым руководил этот доктор и в котором сам он пел. Кружок посещала тетя Люся, и там они познакомились. Ремзик несколько раз провожал ее туда и слышал, как они поют. И вот что удивительно: тогда Ремзiku показалось, что тетя Люся очень плохо поет, а этот доктор ее вовсю расхваливал. Он подумал, что, наверное, он, Ремзик, ничего не понимает в этом деле, или доктор слишком добрый.

Вернее, в глубине души он был уверен, что она и в самом деле плохо поет, хотя во всем остальном прекрасна. В конце концов он решил: или доктор слишком добрый, или его кружок чесурческо плохо посещают другие сотрудники госпиталя. Он знал по школе, что такие вещи случаются. Теперь он понял, как был прав. Оказывается, доктор подхалимничал перед ней, чтобы склонить ее к предательству.



Жена Багратиони любила своего мужа так, как она могла любить и как, по ее разумению, любили другие молодые женщины в ее окружении. Она заранее не думала, что изменит своему мужу, но соблазн, существующий для всех людей, а для красивой женщины в особенности, не был отражен той силой нравственного воображения, которая задолго до реальной опасности подает сигналы тревоги и задолго до нее заставляет женщину достаточно тонкого душевного склада мучиться угрызениями совести так, как будто уже все случилось, и тем удерживает ее от соблазна.

И когда все случилось, она сначала погрустила, а потом решила, что во всем виновата война, да и он, Баграт, писавший ей, чтобы она не скучала, а развлекалась и веселилась, как могла.



«П» а,— думал Ремзик, вспоминая этот кружок пения,— я был прав, но больше всех была права мама.

Мама раз или два в месяц приезжала в город и привозила из деревни фрукты, зелень, кукурузную муку, иногда курицу.

Первая стыдка мамы с тетей Люсей произошла из-за тети Клавы. Тетя Клава работала в том же гос-

питале фельдшерницей. Она там работала еще тогда, когда госпиталь был обычной больницей и мама тоже там работала. Поэтому она ее знала.

Мама сказала про тетю Клаву, что она нечистоплотная женщина. И Ремзику тогда решил, что мама неправа, а правда тетя Люся, которая говорила, что сей скучно одной и ей нужна компания.

Ну, ладно, думал он, пусть это и глуповатое слово, но при чем же здесь нечистоплотность? Правда, тетя Клава у них часто бывала и иногда даже готовила, но никакой особой нечистоплотности он за нее не заметил. Очень даже вкусно она готовила, особенно пирожки, когда собирались гости.

Теперь он понял, что взрослые это слово могут употреблять совсем другим смыслом. Оказывается, это слово может означать предательство женщины или мужчиной женщины. Но ведь тетя Клава не замужем, подумал он, кого же она предала? Наверное, у нее был жених, решил он, и она его предала.

Он вспомнил последний приезд матери и неприятности, связанные с этим приездом.

Тетя Люся была на работе, и Ремзику оставался дома один. Мать обошла все комнаты и, вернувшись на веранду, грустно усилась на топчане. Она некоторое время молчала, а потом посмотрела на Ремзику, сидевшего напротив за столом. Он ел вареную кукурузу, привезенную матерью из деревни, называемой початок аддикой.

— Ремзику, — сказала она, — по-моему, этот доктор ухаживает за Люсей.

— Какая глупость, — ответил ей Ремзику, продолжая жевать кукурузу. — У него есть жена.

— Ты ничего не понимаешь, — вздохнула мать и с неприятной задумчивостью уставилась в какую-то точку.

Ремзику страшно не любил, когда она вот так уставится в одну точку и словно проплывала вперед. Ему всегда было жалко ее в такие минуты, но не сейчас. Это было оскорбительно, что она подозревает в предательстве жену дяди.

— Я же лучше знаю, — сказал он раздраженно, — у него есть жена и двое детей... Они живут в военном городке...

Он заметил, что она его не слушает. Уставилась в пространство и думает о своем.

— Господи, — сказала она, — какой доворчивый дурак... Жениться на девушке, встреченной на улице...

Мама заплакала, а он продолжал есть кукурузу, хотя есть ее уже не хотелось. Ему было и жалко маму и неловко, что она оскорбляет тетю Люсю, и он чувствовал раздражение за мамину какую-то несовременность. Ведь это раньше так было, что, если муж уходит на войну, жена только и делает, что нянчит детей и смотрит на дорогу. Сейчас совсем другое время, сейчас ничего плохого нет, если муж на войне, а жена иногда повеселится. Дядя сам ей в письмах писал, чтобы она не скучала.

— И что это за борщица... — продолжала мать сквозь слезы. — Такая ужасная война... Здесь не так заметно, а в деревне каждый день оплакивают кого-нибудь. А они только и знают, что крутят патефон...

Ему совсем расхотелось есть кукурузу, но жалко было выбрасывать наполовину съеденный початок. Он гуше намазал аддикой оставшуюся часть початка, чтобы легчешло.

По субботам и воскресеньям в их доме собирались молодые женщины и мужчины, среди которых всегда бывал и доктор. Ему было лет сорок, и Ремзику считал его пожилым человеком. Он даже не понимал, почему они его терпят. Но потом он обрадился, что мужчин и так всегда меньше, чем жен-

щин. К тому же доктор частенько пел и приносил из госпитала спирт, который мужчины пили, разбавляя водой, а женщины — водой с сиропом.

Ремзику любил эти вечеринки потому, что на них бывало сыто и весело. На столе стояла американская тушеница, масло, галеты и жареные бататы, которые те времена стали разводить на Кавказе. Играли патефон, и можно было есть, что хочешь, а не этот мандариновый джем, от которого у него всегда бывали изжога.

Мама посмотрела на часы и стала как-то быстро и суетливо вытирая лицом. Он подумал: скоро должна прийти тетя Люся, и мама не хочет, чтобы тетя Люся увидела ее такой. Ему стало очень жалко маму.

— Что бы ни случилось, Ремзику, — сказала она, пряча платок, — помни: Баграт ничего не должен знать... Он каждую минуту рискует жизнью...

— Глупости, — сказал Ремзику сухово, — она обо всем ему пишет... Я же лучше знаю...

— Обо всем... — вздохнула она и спросила: — Где ключ от парадной двери? Почему он не висит на месте?

В самом деле, вдруг подумал он, и что-то ёкнуло у него в груди, ключ не висит на месте. Он и раньше это заметил, но не придал значения. В следующее мгновение он вспомнил, до чего рассеянная бывает тетя Люся и как много вещей она забывает, где положила.

— Через парадную дверь никто не ходит, — сказал он твердо, — мало ли куда она могла положить ключ...

Вечно у мамы какие-то глупости в голове! Он снова почувствовал аппетит и стал грызть кукурузу.

Мама опять уставилась в одну точку. Ремзику быстро доех початок, боясь, что она новым вопросом снова испортит ему настроение.

— Во всяком случае, ты на этих сборищах не сиди, — сказала она, выходя из задумчивости, — иди к соседям или читай у себя в комнате.

— Хорошо, — сказала он, чтобы успокоить ее, и выбросил голову кочерыжку во двор.

Барс вскочил из-под магнолии, где он сидел, и, подбежав к кочерыжке, стал выкусывать из нее остатки кукурузных зерен.

— Только бы окончилась война, — сказала вдруг мама, и лицо ее приняло неприятное, жесткое выражение, — дурак ее здесь не будет...

...Потом пришла тетя Люся, и мама как ни в чем не бывало разговаривала с ней, спрашивала про работу, про письма от Баграта, и они вдвоем приготовили обед, и Ремзику показалось, что мама забыла свои подозрения, потому что они мирно втроем пообедали и она даже не вспомнила про ключ.

Мама уезжала вечерним автобусом, и Ремзику провожал ее до станции. Она села в автобус, и он стоял возле нее у открытого окна и ждал, когда тронется машина.

— Следи, — вдруг сказала ей мама из автобуса, — если этот подлец будет приходить.

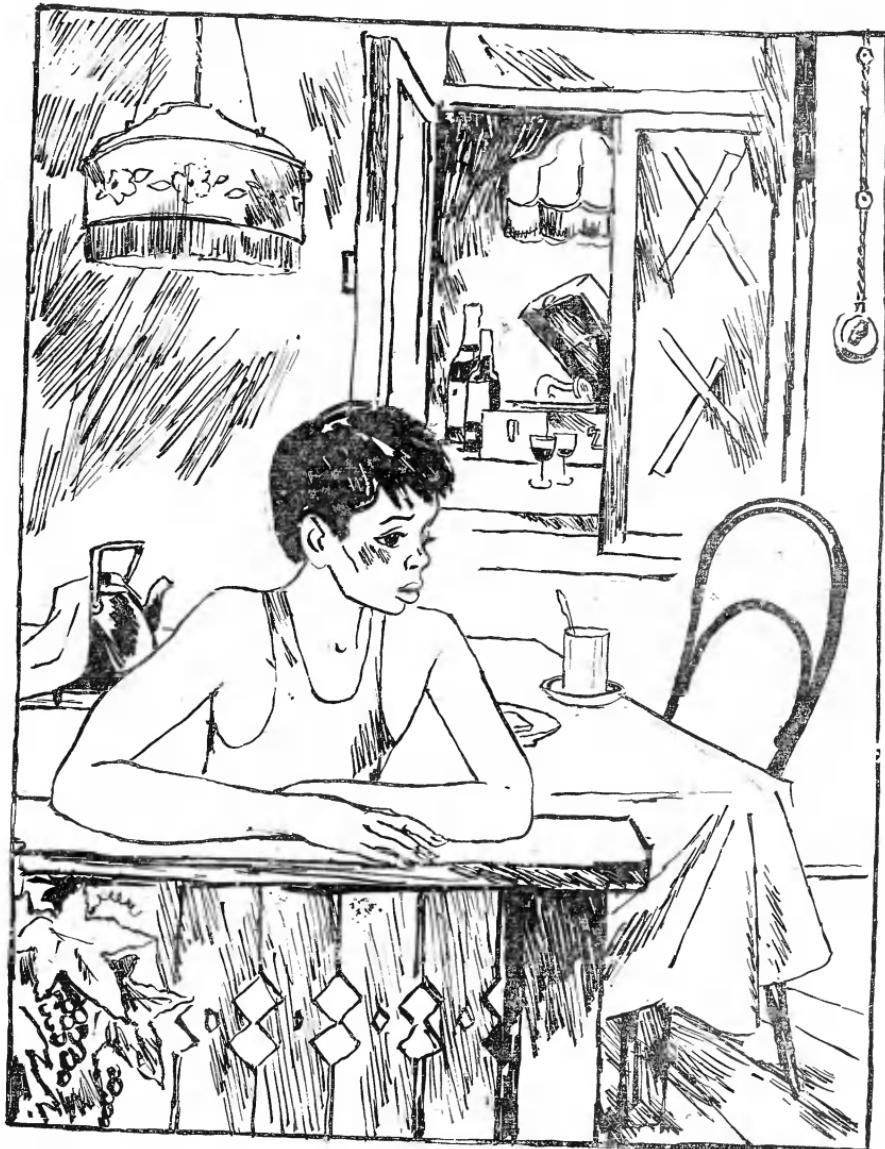
— Отстань, — сказал он раздраженно, а мать, вздохнув, печально замкнулась.

Он с нетерпением ждал, когда отойдет автобус.

Он понял тогда, что ничего не забылось, а затянулось еще глубже. Главное, мама никак не могла понять, что своими подозрениями она занимает не только тетю Люсю, но и своего любимого брата.

И вот оказалось, что все правда! Стыд и мерзость! Стыд и мерзость!

Сейчас Ремзику с особенным омерзением вспомнил, что однажды на вечеринке этот доктор, которого долго просили спеть, наконец согласился и, встав возле тети Люси, большой, как памятник, вдруг



рухнул на колени и пропел арию из «Евгения Онегина»:

Любви все возрасты покорны,  
Ее порывы благоворны...

Ремзик тогда хотел до слез! Было так смешно, что он сам нескользко раз просил его повторить этот номер, но доктор не соглашался. С какой-то режущей душу гадливостью теперь он вспомнил странную многозначительность на лицах некоторых гостей. Тогда это казалось ему особенно смешным, потому что они как бы подыгрывали ему, делая вид, что всерьез верят его признанию. Значит, они все знали, знали!

Но, главное, она! Как она сидела, попутавшись, и спустила его, а он-то думал, и она подыгрывает!

Порыв ночного ветерка задумчиво прошелестел в саду. Тени виноградных плетей, свисающих под карнизом, качнулись на веранде. В саду упала груша, прошелестела в траве. Барс, сидевший возле готической, союно зарычал.

Ремзик разделся и, оставшись в одних трусах, лег и укрылся простыней.

Она предала дядя. Это так же точно, как то, что сейчас ночь, как то, что он лежит на топчане и Барс лежит возле него на полу, а они лежат в бывшей маминой комнате.

Надо закричать, надо прогнать их из дома! Но ведь тогда дядя все узнает, а мама сказала, что ему ничего нельзя говорить, он же на фронте. Но Ремзик понимал не только это, он знал, что ему было бы стыдно сказать им что-нибудь. Он подумал: ведь если не сказать, значит, и я предатель, ведь я осталась здесь за мужчину.

Но он знал, что ему будет стыдно сказать это. Это было так гадостно, как съесть живую смею.

Он подумал: раз я это знаю и ничего не делаю, значит, я тоже предаю! Он никогда бы не поверил, что такое случается в наши дни. По книгам он знал, что такие вещи случались в далекие дореволюционные времена. Но он не знал, что такие вещи случаются и в наши дни. Тем более с женой его дяди.

Но как же он сможет любить дядя, когда дядя приедет? Ремзик с полной ясностью понял, что теперь не имеет права даже подходить к нему, а не то чтобы гордиться им. Ведь получается, что и он предает, раз знает и ничего не делает.

«Ты уже предал папу, а теперь предаешь дядя!» — пронзила его страшная догадка, и он застонал от боли.

Барс встал, и, цокая когтями, подошел к его изголовью, и ткнулся носом в подушку. Не дождавшись ответного внимания, собака улеглась рядом с ним.



Со то было еще до войны. Ни одному человеку в мире он не признался бы в этом. Ни один человек в мире, только он один знал, что это так.

Ночью он внезапно проснулся от страха. Еще ничего не знал, он уже знал, что случилось страшное. В доме горел свет, и по дому ходили чужие люди.

— Сейчас, — услышал он голос отца, открывшего дверь в комнату, где спали дети.

Это слово он услышал, уже проснувшись, и, словно откинув кусок сна, он услышал предыдущую фразу одного из этих людей, которому ответил отец.

— Мы и так задерживаемся, — сказал тот.

— Сейчас, — сказал отец и открыл дверь в комнату, где спали дети.

Отец вошел в комнату и стал над его кроватью. Один из чужих вошел в комнату за отцом и остановился в дверях.

И Ремзик сжался ужас. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Он чувствовал запах отца — смесь запаха табака и еще чего-то, связанного с невысоченными лошадьми, ночными кострами, палатками, землей. Отец был геологом, и запах отца был не только запахом отца, он был запахом семьи, семейного праздника, потому что отец надолго уезжал в экспедиции. Во время одной из них в горном селе Чегем, откуда мама была родом и где, только окончив институт, работала врачом, они познакомились и поженились.

Видно, отец не решался разбудить Ремзика. Ведь он лежал с закрытыми глазами, а свет, проникавший в комнату из открытых дверей, был достаточно сильный, чтобы разглядеть его лицо. Ремзик это чувствовал.

— Мамот, в самом деле не стоит, — тихо сказала мама, входя в комнату, — зачем пугать...

Отец постоял еще несколько мгновений над его кроватью, и они все вышли из комнаты, но запах отца продолжал стоять над ним с такой же отчливостью, как если бы отец еще был здесь.

— Обязательно сходи в управление, — услышал он голос отца уже с веранды, — я хочу, чтобы все было ясно, чтобы там разобрались как следует.

— Конечно, — ответила мама, и голос ее сорвался, — помни, сколько бы... сколько бы... я всегда...

Он почувствовал всю силу ее отчаяния, он почувствовал ее желание уверить отца в беспредельной прочности того, что остается за ним, и даже попытку в последний миг назвать отца по имени, но она так и не решилась. Хотя отец был русский, мать по абхазскому обычанию никогда не называла его по имени.

Мама все еще стояла на веранде. Ремзик лежал с закрытыми глазами, чувствуя запах отца и несознанно боясь, что этот запах исчезнет, как только он откроет глаза. Запах отца постоял немного, а потом тихо-тихо улетучился.

Да, он тогда испугался и не открыл глаза, и отец не решился разбудить его. С тех пор прошло много месяцев, и чувство вины перед отцом все реже и реже приходило, но иногда восстанавливалось с первоначальной силой.

Он знал, что отец его геолог и во время одной экспедиции нашел в горах ртуть. Но потом оказалось, что допустила какая-то ошибку.

Так говорили маме. Но Ремзик ничего не мог понять. Он никак не мог понять, почему отец один отвечает за эту ошибку. Вспоминая следующее утро после ухода отца, разбросанные книги, выдвинутые ящики комода и шкафов, он решил, что они в ту ночь искали карту, чтобы обнаружить ошибку. Он понимал, что все это глупо, но почему взрослые мужчины, которые занимаются этим делом, не видят этого, он не понимал.

От отца пришло несколько бодрых (слишком бодрых, Ремзик это почувствовал) писем из Боркуты. Отец писал, что работает в шахте, чувствует себя великодушно, но очень просил присыпать теплых веерей и чесноку.

Иногда мама говорила, что казнит себя за то, что не разрешила отцу попрощаться с детьми. И каждый раз, когда она это говорила, Ремзик чувствовал, что он он виноват в том, что отец не попрощался с детьми.

Отец его, как самого маленького, больше всех любил и потому первым делом подошел к его кро-

вати. Он столько раз об этом думал, что пришел к выводу, что именно его (неспящего!!!), как самого маленького, он не решился разбудить и потом убежать, исчерпав время, отпущенное на прощание с детьми, не стал подходить к остальным. Может, он даже решил, что если попрощается с остальными, не разбудив Ремзику, то Ремзику утром обидится на отца.

И вот теперь с дядей случилось такое. Но что же он должен сделать? Ужасная тоска охватила Ремзику. Он вытиграл руку из-под простыни и нашарил в полуутоме собачью голову. Он стал гладить собаку и почувствовал, что ему лучше. Но потом рука у него устала, и он перестал гладить собаку. Рука безвольно опустилась вниз. Барс дотянулся до его руки и стал лизать ее. Ему опять стало немножко легче.

Луна уже скрылась, и в саду было темно. Черные гирлянды виноградных плетей покачивались над веерной, то открывая, то закрывая кусок звездного неба. В саду опять упала груша.

Он подумал: надо будет завтра подобрать эти груши. Он решил больше не есть в этом доме. Надо завтра уехать к маме. А если она рассердится на его отъезд и обо всем напишет дяде? Он опять почувствовал тоску беспомощности. Но все-таки решение завтра с утра уехать немножко успокоило его, и он уснул.

Он проснулся рано, быстро оделся, вышел на крыльце и натянул на ноги свои «Мухус-Сочи». Они еще были влажные, и шершавая резина не приятно щемила ступни ног. Он знал, что это через некоторое время пройдет, обувь разносятся.

Он поел винограду, прямо с ветки отщипывая спелые ягоды, чтобы не портить всю гроздь. Виноград был прохладный и очень вкусно соскальзывал в горло. Барс Ремзин тоже бросал спелые ягоды, отщипывая их от тугих прохладных гроздей.

Он знал, что никогда сюда не вернется. Во всяком случае, не скоро, во всяком случае, винограда тогда уже не будет. И все-таки отщипывал от гроздей только спелые ягоды. Он не знал, зачем так делает, только знал, что это правильно.

На веерной он нашел огрызок карандаша, нашел в старой тетради, лежавшей в ящике стола, полстраницы чистой бумаги, на которой кончалось сочинение с отметкой «хорошо», выведенной красивым почерком Александры Ивановны, его учительницы. Это было всего несколько месяцев тому назад, а кажется, так давно, как будто в другой жизни. Он оторвал ту часть страницы, которая была чистой, так, чтобы не задеть подпись Александры Ивановны и отметку.

Он подумал, подумал и написал: «Я навсегда, навсегда уезжаю к маме. Ремзику». Он прочитал написанное и решил, что два раза повторять одно и то же не стоило. Он подумал, что это звучит так, как будто он собирается ее разжалобить. Ремзику замерал карандашом одно из двух повторенных слов.

Он положил записку под банку с джемом, чтобы ее не сдуло ветром.

Он опять открыл ящик стола, вложил туда свою тетрадь и выбросил огрызок карандаша. Закрыл ящик, стараясь не шуметь, но потом вспомнил, что поводок тоже лежит в ящике, и, стараясь не шуметь, вынул его, снова открыл и закрыл ящик.

Он надел на собаку поводок, вышел сед и подошел к подножию старой груши. Ноги его сразу промокли в густой росистой траве, но он, держа собаку на поводке, раздвигал ногой траву и искал спелые груши, которые ночью упали с дерева. Это

была груша, поспевающая осенью, но самые спелые плоды уже падали с дерева. Первую грушу он нашел сразу и положил ее в карман брюк. Вторую искал гораздо дольше, она долго не находилась, но он точно знал, что с дерева упали по крайней мере две спелые груши. Поэтому он искал. Наконец он ее нашел. Груша закатилась в заросли бурьяна, и пока он ее искал, у него по колено промокли брюки.

Держа Барса на поводке, он вышел на улицу; прокрутив руку сквозь штакетник, закрыл калитку и пошел направо от дома. Проходя мимо парадной двери своего дома, он ускорил шаги, потому что ему было стыдно, если бы Этот как раз сейчас выходит из дома.

Он решил идти не на станцию, а на Эндорскую дорогу, где бывало много попутных машин. У него совсем не было денег, но он знал, что там бывают военные машины, которые везут лес за селом Анхара, а военные шоферы не берут денег, во всяком случае, с ребят.

Он уже дошел почти до конца квартала, когда вспомнил, что обещал Чику пойти с ними на море. Он подумал, что ребята его будут дожидаться, и им не у кого будет спросить, потому что Тетя Люся уйдет на работу. Он повернулся обратно, и Барс стал упираться, но Ремзику прикрикнул на него, и собака пошла свободной. Она сначала подумала, что они идут на море, а потом решила, что Ремзику почему-то расхотел идти. Барс, в отличие от некоторых собак, например, собаки Чика, любил купаться в море.

Он опять очень быстро прошел мимо своего обещанного дома, подошел к дому Чика и, вытигнув руку, слегка постучал по открытому окну.

Никто не отозвался. Он еще раз постучал, на этот раз громче и дольше.

— Эй, кто? — отозвался сонный голос Чика.

— Это я, — сказал Ремзику.

— Чего тебе? — спросил Чик, и его взлохмаченная голова появилась между прутьями оконной решетки.

— Я уезжаю в деревню, — сказал Ремзику, — я на море с вами не пойду.

— Ты что, малахольный? — ответил Чик сердито. — Что мы без тебя дорогу не найдем, что ли?

— Я ведь обещал, — сказал Ремзику.

— А Барса зачем берешь? — спросил Чик, окончательно просыпаясь. — Оставь мне, я его вместе с Белкой поведу на море.

— Нет, — сказал Ремзику, — я должен ехать с Барсом...

— Ну, пока, — сказал Чик, и по лицу его было видно, что он раздумывает, стоит ему идти досыпать или не стоять.

— Пока, — сказал Ремзику и пошел на этот раз в противоположную от своего дома сторону. Он не хотел в третий раз рисковать встретиться с Этим.

Завернув за угол, он вынул из кармана грушу и стал ее есть. Груша была водянистая и не очень вкусная. Скороплески всегда были такими водянистыми и не очень вкусными. Он прошел весь город, перешел Красный мост и остановился в самом начале Эндорской дороги.

**В** это время подруга жены дяди вышла на веерную и обнаружила, что Ремзику нет в постели. Ей надо было узнать, где он, чтобы доктор мог незамеченным выйти из дома. Она окликнула Ремзику, думая, что он в саду, но никто не отозвался. Она открыла калитку и вышла на улицу, но улица в этот еще довольно ранний час была пустой. Она обратила внимание, что собаки тоже нет.

Она вернулась в дом, постучала в двери спальни и сказала, что мальчик с собакой куда-то ушел.

Жена Баграта сначала встревожилась, но потом вспомнила, что мальчик и прежде иногда рано утром уходил на рыбальку, всегда боязь с собой собаку. Правда, он раньше с вечера предупреждал, что уходит, хотя вчера он был какой-то рассеянный, вспомнила она, но удивительно, что забыл.

— Он ушел на рыбальку, — ответила она подруге, — будем завтракать на веранде.

— Хорошо, — ответила та и, выйдя на веранду, зажгла примус, убрала со стола, не заметив записки, которая, пока она готовила завтрак, слетела со стола под топчан, где ее через три года обнаружила мать Ремзику.

Они спокойно позавтракали на веранде, потому что веранда была хорошо защищена от улицы деревьями сада. Доктор и Клава вышли из дома вместе, а через некоторое время ушла на работу и жена Баграта, прикрыв полотенцем чайник и оставив на столе хлеб и сковородку с остатками жареных бататов.



В края дороги стоял «студебеккер». Машина была совсем пустая. Ремзику решил, что шофер зашел на базар за какими-то покупками, и стал его дожидаться.

Направо от дороги, на той стороне улицы, был расположенный базар. У входа в него сидел инвалид и показывал карточный фокус, на который часто падали крестьяне, привезшие продавать фрукты и овощи.

Инвалид вынимал из колоды валета, даму и короля, показывал их всем и, сбросив эти три карты картишками вниз на мешковину, расстеленную перед ним, передавал их местами, якобы для того, чтобы запутать партнера, а потом предлагал угадать, где валет. Но было совершенно ясно, где должен лежать валет. И вот, когда кто-нибудь из зевак не выдерживал — до того ясно было, где лежит валет, — начинали играть, оказывалось, что валет совсем в другом месте.

Ремзику, бывало, когда его посыпали на базар, долго следил за этой игрой. Иногда инвалид нарочно проигрывал некоторое время, чтобы завлечь партнера. Ремзику было жалко туговатого на расплату крестьянина, который осторожно вступал в игру, сначала немножко выигрывал, а потом подряд проигрывал все деньги, ошеловившими глазами следя за неуловимым исчезающим валетом.

Сейчас тоже возле инвалида стояла небольшая толпа зевак, в которой выделялся высокий парень с неприятным худым лицом, он почти всегда стоял в толпе и время от времени садился играть с инвалидом, часто выигрывал у него и, как подозревал Ремзику, был втайне говоре с этим инвалидом. Своими выигрышами он подзадоривал остальных. Все-таки Ремзику, сколько ни следил за этой игрой, никак не мог понять, почему валет оказывается в другом месте, а не там, где он должен быть.

...На той стороне улицы из ларька выглядывала молодая женщина. Если не было покупателей, она большим половником вытаскивала из бочки с компотом мелкие груши (Ремзику знал, что они самые вкусные в этом компоте), ела их и незаметно выбрасывала огрызки. Ремзику отвернулся.

Воздух бойцов, пролахший могучим солдатским потом, с песней прошел по улице.

Украина золотая, Белоруссия родная,  
Наше счастье моло-до-е!  
Мы стальных штыками отстоим!

Продавщица, как и Ремзику, залюбовалась бойцами, но потом очнулась и, снова достав из бочки пару мелких груш, съела их и, вдруг встретившись глазами с Ремзику, удивилась его вниманию, словно говоря: «Подумалось, большое дело...»

С базара вышло человек десять матросов, очень веселых и бодрых. Похояхывая и подтрунивая друг над другом, они перешли дорогу и стали влезать на «студебеккер». Ремзику сначала заволновался, он хотел попроситься в машину, но потом почувствовал, что от матросов сильно разит чайкой и они все здорово выпили.

— Давай, пацан, подвезем! — крикнул один из них, взглянув с кузова на Ремзику и его собаку.

— Спасибо, мне не в ту сторону, — сказал Ремзику.

Ему неохота было ехать с пьяными матросами. Он не боялся за себя, он боялся за Барса. Пьяные любят пограть с собаками и не знают меры, и мало ли что может быть.

— Все на месте? — спросил шофер, высыпнувшись из кабинки.

— Полундрай — крикнул то с кузова, и машина рванулась, хотя один из матросов только успел ухватиться за задний борт кузова.

Ремзику стало страшно за него, но матросы в кузове весело загадали, и несколько человек, вытянув руки, схватили опоздавшего товарища и с неизбежной дружественностью втащили наконец его в кузов, когда машина уже пылила далеко впереди. У Ремзику отлегло на душе. Несмотря на то, что матросы были очень пьяные, он все-таки невольно любовался ими, пока они влезали в машину, такие они все были бравые, здоровые, красивые!

Он терпеливо стоял на тротуаре и продолжал голосовать, но машины или были переполнены или не останавливались.

Было уже около десяти часов утра, и на солнце сильно пекло.

Он стоял в тени камфорового дерева, но каждый раз, когда на мосту показывалась более или менее подходящая машина, он выходил из тени и вытягивал руку.

Его брюки из чертовой кожи, промокшие утром в росе, давно высокли и как-то неприятно топорчились.

Проклятые «Мухус-Сочи» тоже сильно пересохли и давили ступни ног.

Он почувствовал голод и, вынув из кармана вторую грушу, съел ее. Несмотря на голод, груша показалась невкусной, водянистой. От этих скороспелок, подумал он, никогда толку не будет.

Он голода и от долгого ожидания Барс стал капризничать. Он перестал верить, что их может взять попутная машина, и, когда Ремзику выходил из тени, собака упиралась, и иногда приходилось выволакивать ее оттуда.

Возле ларька появилась цыганка с огромным выводком цыганят, то рассыпающихся, то сбивающихся в засыпку маминой юбки.

Цыганка, прислонившись к прилавку и как-то удобно переломившись, явно уговаривала продавщицу погадать. Та, видно, сначала отказывалась, но потом они сторговались, потому что продавщица наполнила один за другим шесть стаканов компотом, и цыганка все разом потянулась за ними, а некоторые из них были такие маленькие, что едва дотягивались рукой до прилавка.

— Стаканы не разбейте, чертятя, — услышал Ремзику голос продавщицы, и детишки наконец, разобрав стаканы, угомонились и замерли, кто где стоял, всосевшись в стаканы.

Продавщица легла грудью на прилавок и подзяла ладонь гадалке.

Стоя в жидкой тени камфорового дерева и бесполезно пытаясь обратить на себя внимание проезжающих шоферов, Ремзик вдруг вспомнил, как после дядиной свадьбы, которую справляли в деревне, они большой компанией возвращались домой и долго голосовали на дороге, но ни одна машина не останавливалась.

— Вы не так голосуете, — сказал дядя и, вынув из кармана две красные тридцатки, помахал ими перед первым же грузовиком, и тот, как зачарованный, остановился. Да, за что дядя ни брался, у него все получалось...

Наконец, проехал «студебеккер», и Ремзик довольно неуверенно поднял руку, другой рукой подтягивая поводок с Барсом. Машина проехала, но потом вдруг остановилась метрах в пятидесяти от него. Шофер выглянул и махнул рукой. Ремзик подбежал к нему, продолжая держать собаку на поводке.

— Тебе куда, малец? — спросил шофер, выглядывая из кабинки.

— Нам до Аххары, — сказал Ремзик и посмотрел на собаку, как бы извиняясь за нее.

— Влезайте, — сказал шофер и показал глазами, чтобы они обошли машину.

— В кабину? — удивился Ремзик.

— А куда же, — сказал шофер, — побыстрей.

Ремзик с собакой обежали машину, и красноармеец, сидевший рядом с шофером, открыл ему дверцу. Ремзик уселился на мягкое сиденье, стараясь как можно меньше занимать места, хотя там было достаточно свободно. Он загородил ногами собаку, чтобы боев, сидевший рядом с ним, не чувствовал опасности, хотя тому и голову не приходило, что этой маленькой двоярники надо опасаться.

Они поехали. В кабине было жарко и пахло бензином. Обычно Ремзик любил этот запах, но не сейчас, когда сказывался недосып, голод и долгое стояние на жарком, пыльном тротуаре.

Сквозь гул мотора однообразным жужжанием доносились голоса шофера и его дружка.

— А она что? — спрашивал шофер, не переставая смотреть на дорогу.

— А она ничего, — отвечал дружок.

— А ты что?

— А я свое долдоню...

— А она что?

— Она, грит, приходи завтра...

— А ты что?

— А, я, грю, что ж мне в самоволку идти...

— А она что?

— Сегодня, грит, не могу, сегодня, грит, мать не дежурит...

Ремзик задремал под гул мотора и однообразное жужжение голосов.

Машина вновь остановилась у въезда на Кодорский мост. Напротив от дороги лежал перевернутый «студебеккер», возле которого толпились зеваки и несколько милиционеров, один из которых что-то записывал, распрашивая штатского человека, стоявшего рядом с ним.

Вдруг, откуда-то из-за машины выскочил матрос в одной тельняшке, с головой, перевязанной ослепительно-белой марлей. Даже издали было видно, что у него обезумевшие глаза, и он, махая руками то на дорогу, то на машину, стоя что-то объяснять милиционеру, по-видимому, противоречащее рассказу штатского человека.

Ремзик сразу узнал этого матроса. Он был из тех, и, конечно, это их машина перевернулась. Ремзик подумал, что он мог сесть в эту машину, и удивился, что не испытывает никакой радости от того, что все-таки не сел в нее. Конечно, он не

хотел бы оказаться в той перевернутой машине, но радости никакой от этого не было.

Шофер собрался выйти из машины, чтобы узреть, что случилось с тем «студебеккером», но тут к нему подошла молодая женщина с сумкой и попросила подбросить ее до поселка, где она живет.

Шофер и его дружок стали сажать ее в кабину, а Ремзик постеснялся оставаться и сказал, что он с удовольствием пойдет кузове.

— Ничего, — сказал дружок шофера, — в тесноте, да не в обиде.

— А собака не укусит? — спросила она, осторожно усаживаясь между Ремзиком и красноармейцем. Она была в легком крепдешиновом платье, и от нее пахло духами, пудрой и тем жаром летней женщины, который, как теперь чувствовал Ремзик, распологает к предательству.

— Нет, — сказал Ремзик, — она не кусается.

— Вот кто кусается, — кивнул шофер на своего дружка, и она оба рассмеялись.

Женщина замкнулась, давая знать, что не принимает шутку.

Шофер снова сделал попытку выйти из машины и посмотреть на перевернутый «студебеккер» поближе, но тут стали раздаваться гудки затормозивших сзади машин, и один из милиционеров, стоявших внизу, выскочил на дорогу и стал показывать рукой, чтобы все ехали, а не стояли здесь. Впереди тоже было несколько машин.

— Я видел эту машину, — сказал Ремзик, — там было много пьяных матросов.

— А-а-а, — кивнул шофер и, подумав, добавил: — Не... Я за рулем ни-ни...

Когда въехали на Кодорский мост, Ремзик заметил, что по реке плывет вниз по течению белесый поток дохлой рыбы. Машина по мосту шла медленно, и, пока она шла по нему, было видно, как много дохлой рыбы идет вниз по течению.

Он подумал, что где-то в верховьях Кодора глушили рыбу или травили гем химическим средством, которым лещат чайные кусты. Скорее всего травили, догадался он, потому что от глущения так много рыбы не может погибнуть.

Ему было жалко ни в чем не повинную рыбешку и жалко матросов, хотя он не знал, побаг тут кто-нибудь из них или нет.

Он снова вспомнил матроса, выскочившего из-за машины в одной тельняшке, с белоснежной повязкой на голове и безумными глазами.

Матрос этот напомнил ему один случай, когда дядя первый раз приехал с женой.

...В тот день они втроем пошли в гастроном покупать продукты по карточкам. В гастрономе была довольно большая очередь. Одна очередь стояла в кассу, а другая — к прилавку. Дядя стал в одну очередь, тетя Люся — в другую, а в Ремзик вышел с корзиной на улицу, потому что в гастрономе было очень жарко.

На тротуаре напротив стоял известный в городе бандит Альберт. Голова его была повязана грязной марлей, один рукав пиджака задернут по локоть, а глаза блестели свинцовыми безумием. Он был очень пьян. Тротуар напротив гастронома мигом опустел, а Альберт приставал к редким прохожим, явно чтобы податься с кем-нибудь из них, но они были или слишком старыми для него, или настолько уступчивыми, что он никак не мог ни к одному из них пристрасться.

— Моя рука... — почти плача, с каким-то странным умилением говорил он, время от времени поднося к носу огромный кулак, нюхая его и как бы опьяняясь его запахом.

Ремзик сразу почувствовал, что Альберт приставил к дяде, как только тот выйдет из гастронона. Так и получилось. Как только дядя вышел из гастронона рядом с нарядной, красивой тетей Люсей, тот ринулся прямо на него.

— А-а, летун! — сказал он таким голосом, словно наконец-таки ему попался человек, с которым он давно собирался свести счеты.

Дядя сделал несколько шагов в сторону Альберта, но не потому, что хотел с ним встретиться, а потому, что им надо было идти в ту сторону. У Ремзика, стоявшего на газоне между тротуаром и улицей, родился от волнения. Он просто слова не мог выговорить. Он до этого заметил, что у Альберта из внутреннего кармана пиджака торчал большой нож.

Он не успел предупредить дядю. Через несколько секунд Альберт стоял против дяди, загораживая ему дорогу. Дядя держал в обеих руках по кульке в таком странном виде стоял против бандита.

— Ну, что, скажешь? — грозно спросил Альберт и еще ближе придинулся к дяде.

Дядя продолжал молча стоять со своими кульками, а тетя Люся слегка потянула его за рукав, чтобы обойти Альберта. Но дядя словно врос в землю, продолжал стоять, склонив в своих руках по большому кульку и не сводя взгляда с бандита.

— Моя рука, — сказала Альберт и поднес к самому лицу дяди свой огромный кулак.

Дядя молча продолжал смотреть на него, спокойно прижимая к груди свои большие кульки.

О страшной силе Альберта ходили легенды. Говорили, что он однажды сбекжал из кла, приподняв одну из десятипудовых бетонных плит потолка камеры.

— Жена? — вдруг спросил Альберт, кивнув на тетю Люсю.

Что-то неуловимое появилось в голосе Альберта, Ремзiku показалось, что он дал еле заметный задний ход. Но дядя молча продолжал смотреть на Альберта, по-прежнему прижимая к груди такие неуместные сейчас кульки. Тетя Люся слегка прижалась к дяде, давая знать бандиту, что он не ошибся, что она и в самом деле его жена.

— Тогда поцелуй ее, — вдруг сказал Альберт и кивнул на тетю Люсю.

Дядя, не двигаясь с места, молча продолжал смотреть на Альберта.

И вдруг бандит, сделав шутовской полупоклон в сторону дяди, уступил им дорогу, говоря:

— Орденосцам почет и слава...

Дядя молча прошел мимо него и, сделав несколько шагов, посмотрел по сторонам, исща глазами Ремзика. Ремзик подбежал к дяде, и тот переложил в корзину свои кульки.

Вся эта сцена с бандитом длилась, может быть, не больше минуты, но уже многие люди с безопасного расстояния восхищались дядей. Как бодро шагал тогда Ремзик рядом с ним, как он был счастлив! Ему чудилось, что кто-то из людей, занятых выяснением дела отца, обязательно узнает об этом и снова призадумается, могут ли быть в одной и той же семье такие храбрец и вредитель одновременно. Каждый раз, глядя с дядей, он тайно показывал им его: пусть призадумаются, это им пойдет только на пользу.

Дядя тогда сказал про Альберта, что тот просто трус, что они, фронтовики, за километр узнают таких трусов.

Что-что, а груском Ремзик этого Альберта никак не мог считать, о его драках рассказывали всякие чудеса. И что же? Даже в этом дядяоказался прав. Оказывается, у бандитов была своя малина, и ми-

лиция там устроила засаду, ждала, когда они все соберутся. И когда милиция ворвалась в дом, бандиты пытались бежать, а некоторые даже отстреливались, им руки подымать нельзя, оказывается, у них тоже есть свои законы чести. Альберт, подняв руки, опозорился, и через полгода один из тех, кому удалось тогда сбежать, поймал Альберта в ресторане и в наказание разбил о его голову одну из другой три бутылки с вином, а тот стоял не шелохнувшись, по стойке «смирно». Ну и голова же у этого Альберта, надо сказать!

...Вдруг Ремзик заметил, что женщина, косясь на Барса, слегка воротит нос. Учゅяла, подумал он, внутренне замирая, учゅяла запах моих ног. Ему стало ужасно неприятно.

Вообще ничего особенного в этом запахе не было. Чик даже говорил, что этот запах напоминает ему запах одного довоенного сыра, который продавали тогда в магазинах. Этот сыр назывался не то нидерландский, не то голландский. Ремзик помнил этот сыр, он был такой дырчатый и вкусный. Но не становше всем говорить, что точно так пахнул довоенный, дырчатый сыр.

Женщина время от времени непринужденно рассматривала на Барса и морщила свой нос, хотя запах был вполне терпимый, и красноармейцы его не замечали. Ремзик это чувствовал.

Все-таки Ремзiku было ужасно неприятно, когда она так морщила нос и непринужденно смотрела на него в чем не повинного Барса. Эти проклятые «Мух-Сочи», которым сноса не было, хотя он их носил уже второй год, летом страшно раскаляются.

Он старался сидеть, не шевеля ногами, но, как назло, очень хотелось пошевелить пальцами внутри обуви. Он знал, что если не шевелить ступней, и особенно пальцами, то запаха почти не бывает. Но он также знал, что из дырки на правом башмаке запах сам по себе подымается, как пар из носика чайника. Он подумал, что если заткнуть чем-нибудь эту дырку, то, пожалуй, старый запах постепенно выветрится из кабинки и женщина перестанет так нечестно морщить нос.

Ремзик по себе знал, что иногда у некоторых знакомых дома царят неприятный запах. Но сами они, хозяева дома, этого запаха не замечают. Потому что они привыкли к нему.

Ремзик все-таки решил чем-нибудь заткнуть свой резиновый башмак. Но заткнуть было нечем. Он знал, что у него в карманах ничего нет. В руке у него был только поводок, больше у него ничего не было.

Он нагнулся, прикрывшись спиной от женщины, и, делая вид, что возится с ошейником, вдавил часть поводка в дырку и снова выпрямился. Барс очень удивился, что Ремзик так странно использовал поводок, и, подняв уши, уставился на башмак так, как, бывало, уставится в подвальний люк, учуял там кошку и ожидая, что она оттуда выскочит.

Ремзик почувствовал, что лицо его краснеет от предчувствия разоблачения. Сейчас она все поймет, глупый Барс его выдаст.

— Эта собака, — вдруг сказала женщина, — очень неприятно пахнет... Вы ее не купаете?

— Почти каждый день в море купаемся, — сказал Ремзик. Он понял, что женщина ничего не заметила.

— А-по-моему, хорошая псинка, — сказал красноармеец, сидевший рядом с ней.

Молодец красноармеец! Он с ней ни в чем не соглашался. Как только она села, он попробовал с нею шутить, как взрослые шутят с молодыми женщинами, но она не захотела слушать его шутки,

намекнув, что ее муж лейтенант-пограничник. Всегда это было довольно грубо — дать знать рядовому красноармейцу, что ее муж — лейтенант. Вот он и обиделся. Могла бы потерпеть. Другие и не та-кое терпят.

Воспоминание о случившемся режущей болью отдалось во всем его теле, он больше не думал, что ему неприятно и стыдно перед этой женщиной из-за своих проклятых «Мухус-Сочи».

Он снова вспомнил то первое лето, когда дядя приехал из Москвы с женой. Он вспомнил, что в лето в их доме после долгого перерыва запахло праздником, как при пасе.

Да, все лето, пока дядя не уехал на фронт, в доме пахло праздником. Не то чтобы дядя никогда не скорился со своей юной женой, но это были очень короткие скоры, и запах праздника никуда не уходил.

Да, в то лето в их доме снова заработала парадная дверь и снова появился запах праздника! После того, как четыре года назад арестовали отца, в доме появился унылый запах, и этот запах почти не проходил до прошлогоднего лета. За эти четыре года запах праздника иногда снова приходил в их дом, но теперь он приходил в грустном облаке воспоминаний. Это было тогда, когда кто-нибудь из родственников или знакомых, а чаще всего «мама, вспомнили об отце».

— Ваш отец... — говорила она и рассказывала как-нибудь случаи из их жизни.

Об особенно Ремзику любил рассказ о том, как он был совсем маленький и заболел каким-то желудочным заболеванием, и долго-долго болел, и никто не мог его вылечить, а папа был в экспедиции.

Наконец, врач, уставший лечить его, сказал маме: «Я больше ничего не могу... Погребите смертный климат...»

Мама дала телеграмму отцу, и через два дня он был в городе. Они решили Ремзику вывезти в Чегем, в дом дедушки. По словам мамы, он был уже так слаб, что не мог поднять голову, а не то чтобы гвозди или ходить...

Они поехали в машине до села Анастасовка, и отец его все время держал на руках, а мать время от времени заглядывала ему в лицо и дула в глаза, чтобы посмотреть, жив он или уже умер.

И вот, когда они вышли из машины и дошли до Кодоря, и стали ждать парома с того берега, а папа долго не приходил, и, наконец, когда паром уперся в берег и отец с ребенком на руках вошел на паром и сел у борта, ребенок вдруг ожила. Маленький Ремзику стал тянуться к воде, что-то мычал и показывая на что-то рукой.

Сначала никто ничего не мог понять, а потом отец посмотрел на воду и увидел, что в воде, прижатый течением к борту парома, покачивается его карандаш, выпавший из кармана, когда он садился. Ремзику обращался к отцу и именно ему показывал на его потерю!

Это было, по словам мамы, первое да еще осмыслившее оживление ребенка после многих месяцев. Мама говорила, что именно в ту минуту она поверила, что Ремзику все-таки выживет!

Самое смешное заключается в том, что Ремзику кажется, будто он отчетливо помнит этот случай, хотя вроде бы он не должен был его помнить: Ремзику было тогда полтора года.

Но ему казалось, что он помнит, как они ждали парома и как промчались, пока они ждали, вниз по течению плоты с плотогонами, стоявшими с щестами на плотах, отчетливо помнит мускулистые, мокрые, в закатанных штанах икры их ног, помнит, как один из плотогонов что-то им крик-

нул, но голос его со страшной быстротой умчался вниз вместе с плотами, и, главное, помнит этот карандаш, болтавшийся на воде, и тоненькую перламутровую струйку, отходящую от его остро заточенного конца.

— Мама, — спрашивал Ремзику каждый раз, когда она об этом рассказывала, — а ты все-таки не помнишь, карандаш был химический или простой?

— Ну, откуда, Ремзику, — отвечала она ему каждый раз, — мне тогда было не до этого.

Наверное, отец мог вспомнить, какой у него был карандаш, но теперь у отца невозможно было спросить об этом. Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, Ремзику уверился бы в том, что все это он вспомнил, а не выдумал уже после того, как мама об этом рассказывала. Он много раз думал об этом и пришел к выводу, что, скорее всего, у отца был химический карандаш. Ведь отец был геологом, а геологам приходится и в горной реке мокнуть и на походах трястись, поэтому им надо свои записи делать более стойким химическим карандашом. Ремзику так думал, но не был уверен в этом.

От той поездки он еще помнит огромного орла, пойманного дядей, тогда еще юношей, и привезенного на веревке к веранде дедушкиного дома. Когда он вспоминал про орла, ему говорили, что орел и в самом деле был пойман, но был не такой большой. А некоторые вообще не помнили про орла.

Дядя про орла помнил. Но он тоже, всегда почему-то смеясь, говорил ему, что орел не был таким большим. Но Ремзику помнил, что орел был большой, просто неимоверный, особенно когда расправлял крылья!

Если бы отец подтвердил, что карандаш был химический, получалось бы, что орел был именно таким, каким его запомнил Ремзику. Взрослые часто забывают про многое... Нет, лучше не думать про некоторые вещи, о которых забывают взрослые.

У поворота с Эндуровского шоссе на село Анхара машина остановилась, и женщина стала сходить. Ремзику открыл дверцу и сам вышел вместе с собакой. Женщина вытащила из сумки кошелек, открыла его и протянула шоферу мятую пятерку. Тот посмотрел на своего дружка.

— Не будем разорять лейтенанта? — спросил красноармеец у шо夫ера. Он так сказал серьезно, но Ремзику сразу понял, что он шутит, вернее, даже дразнит эту женщину.

— Не будем, — немножко подумав, еще серьезней ответил ему шофер.

— Как хотите, — сказала женщина, но лицо у нее покраснело от возмущения.

Она взяла свою сумку и, ни на кого не глядя, вышла из машины и, перейдя улицу, пошла в сторону берега.

Ремзику снова сел в кабину вместе с Барсом. В кабине стало как-то очень просторно. Машина повернула на Анхару.

— То у нее собака не так пахнет, — подмигнул красноармеец Ремзику, — то у нее муж лейтенант...

— Некоторые люди шутят не понимают, — ответил Ремзику.

— Пацан точно сечет, — сказал красноармеец шоферу и кивнул на Ремзику.

— Пацан молоток, — ответил шофер, облезкая большую выбоину на дороге.

Они проехали армянское село и въехали в деревню Анхара. Когда слева от дороги появился сарай для хранения собранного чая, Ремзику сказал:

— Мне тут...

Шофер затормозил, и, когда Ремзику открыл двер-

цу, Барс, которому, видно, машина здорово надое-ла, с такой быстротой выскочил из нее, что Ремзик не слетел с подножки.

— Спасибо,— сказал он, смущаясь не столько от того, что у него не было денег, сколько оттого, что должен был показать готовность заплатить, если бы они у него были.

— Кушай на здоровье,— сказал шофер, и машина заплыла дальше.

Барс слегка ошалел оттого, что они, наконец, приехали. Он все время рвался с поводка, но Ремзик его придерживал, потому что собака хорошо знала дорогу и она явно прибежала бы в дом к дедушке раньше него. Почему-то Ремзик было неудобно, если бы собака пришла раньше него. Он шел по деревенской улице, как всегда смущаясь в предчувствии первой встречи со знакомыми ребятами. Но, слева бояг, был яркий польдень, и все попрятались в тени, никого не было видно.

Он подошел к воротам и со скрипом отворил их. Рыжуха, собака дедушки Шабана, прозванного Колчерумом, выскочила из-под дома и помчалась на них, но уже на полупути, узнав Ремзика, сделала вид, что она не лаяла, а просто так пошипала, чтобы напугать их. Несколько секунд Рыжуха и Барс чопорно обнюхивали друг друга, а потом Рыжуха стала прыгать возле Ремзику, стараясь лизнуть его в лицо.

Ремзик снял поводок с Барса, и тот помчался в сторону кухни, откуда вышел дедушка посмотреть, что кого лаяла собака. Сначала он узнал подбезжавшего Барса, а потом и Ремзика.

— А-а! — крикнул он по своему обыкновению. — Наш русачок прибыл, русачок! Мало того, что сам дармоед, так он еще и собаку с собой привел!

За ним из кухни выскочила жена дедушки, тетя Софичка.

— Что-нибудь случилось? — спросила тетушка издалека, глядя на Ремзика из-под руки, чтобы загородить от солнца.

— Чего там могло случиться! — заорал на нее дедушка. — Соскучился по мамалыге вот и приехал!

— Ничего не случилось,— сказал Ремзик, и, когда они подошли друг к другу, она, улыбаясь, поверглась рукой вокруг его головы, это должно было означать, что он берет на себя все его болезни и горести.

— Что с тобой должно случиться, пусть случится со мной,— сказала она, улыбаясь своим морщинистым лицом и целуя его в лоб. От нее приятно пахнуло запахом очажного дыма, уютом деревенской кухни, добротой старой женщины, которая вышла из того возраста, когда можно стать предательницей.

— А где Яшка? — спросил он про своего двоюродного брата, созиравшего.

— Он с твоим братом пошел рыбу ловить на Кодор,— ответила тетушка,— они теперь не скоро придут...

Тетушка и Ремзик взошли на кухонную веранду. Из кухни выскочила сестра.

— Ремзик,— сказала сестра и бросилась его целовать.

Он, стараясь не обидеть ее, все-таки достаточно сурово отстранился. Сестре было пятнадцать лет, и она как-то здорово изменилась за последние несколько месяцев. Она уже становилась девушки, та есть входила в тот возраст, когда можно стать предательницей.

— С чего это ты вдруг? — спросила она у него по-русски.

— Я приехал навсегда,— неожиданно сказал Ремзик и сам почувствовал: сказал что-то лишнее.

— Как навсегда? — удивилась сестра. — А как же Лисюся?

— Посмотрим,— сказал он неопределенно,— там видно будет.

У него снова испортилось настроение, а он-то думал, когда открыл ворота и входил во двор, что все осталось позади. Надо ведь как-то объяснить своей приезд. Но потом он подумал: если уж объяснять, то только маме, а маме раньше вечера домой не придет. Он не знал, как рассказать обо всем этом маме, но он решил, что мама раньше вечера все равно домой не придет, а до этого можно будет все выкинуть из головы. Он подумал: до вечера еще долго, долго... До вечера еще что-нибудь может случиться... Вдруг радио сообщит, что Гитлер сдался и война окончилась... Тогда все будет просто...

Ему стало как-то веселей и проще. Он с удовольствием оглядел большой зеленый двор с яблоневыми деревьями с одного края, с ореховым деревом и персиковым деревцем с другого края, чистый зеленый двор. Во дворе паслись два теленка и каурая лошадь, которая с какой-то странной яростью щипала траву.

С той стороны плетня, отгораживающего двор, у подножия яблонь лежало много паданцев. Во дворе тоже валялось несколько яблок, и одно из них теленок смешно катал по траве, пытаясь укусить и никак не ухватывая его зубами.

— У дедушки новая лошадь? — спросил Ремзик.

— А что ему больше делать? — ответила тетушка Софичка, сворачивая цигарку,— только и знает, что менять лошадей... Уже сбросила его раз... Думаю, в следующий она его прикончит...

— Чем болтать всяких чушей? — крикнул дедушка с веранды, где он подшивал подстругу,— ты бы лучше курицу зарезала да угостила нашего русачка... Глядиши, и нам чего-нибудь перепадет.— Все это он сказал, не подымая головы и орудия шилом и большой иглой.

— За курица дела не станет,— ответила тетушка Софичка, и они все втроем вошли в кухню.

В очаге горел огонь. В придинутом к огню котелке варились фасоль. Ремзик сел на скамью у огня. Чувствовать огонь лицом и смотреть на него было приятно.

В это время одно за другим несколько яблок шлепнулись под яблоневый во дворе и на огороде.

— Деньги падают и гниют,— крикнул дедушка с веранды,— некому подобрать.

— Чем прочитать здесь, повез бы в город и продал! — ответ ему крикнула тетушка Софичка и поставила рядом с Ремзику тарелку с вареной тыквой и ножом.— Подкрепись до обеда,— сказала она.

— Совсем выжил,— крикнул дедушка в ответ, — где же у меня время возиться с яблоками?!

Барс, который вместе с ними вошел в кухню, посмотрел на тарелку, потом на Ремзика, и как бы показал на себя. Ремзик вырезал ножом мякоть из одного куска тыквы и бросил ее Барсу. Барс понюхал тыкву, осторожно попробовал, а потом стал быстро уплетать ее, как бы вспомнив вкус полузатертой еды.

Ремзик тоже стал есть холодную вкусную тыкву. Он чувствовал, что тыква вкусная, но почему-то она плохо лезла в горло. Он не знал, что случилось с его горлом, но понимал, что это связано с тем, что он узнал вчера. Горло стало как-то плохо работать. Все же он съел две куска холодной вкусной тыквы, и, хотя горло плохо работало, он заставлял себя глотать приятную мякоть тыквы.

Еще один кусок он бросил Барсу, и Барс с удо-

вольствием съел второй кусок. Интересно, подумал он, у собаки, когда она узнает о чем-то неприятном, может горло плохо работать или нет?

— Ну, как там Люся, не скучает? — спросила сестра.

— А чего ей скучать, — ответил Ремзик, — у нее ведь компания.

— Пора бы ей хоть котенка выродить, — крикнул дедушка с террасы. Оказывается, он все слышал оттуда. — Слава Богу, больше года замужем...

— Не твоё дело! — крикнула ему тетушка Софичка и подвесила над огнем очага мамалыжный котел и засыпала туда муки для заварки. Потом она вошла в кладовку и вынесла оттуда в подоле кукурузные зерна. Пытая цыграчкой, она вышла из кухни, высокая, костистая, худая.

— Тетя Софичка еще сильнее похудела, — сказала Ремзик, глядя ей вслед.

— Еще бы! — ответила сестра, размешивая мамалыжную лопаткой заварку в котле, — она ведь два дня в неделю ничего не ест.

— Почему? — удивился Ремзик.

— Она дала обет, — сказала сестра, — на каждого из наших близких, чтобы вернулись живыми с фронта. Сегодня как раз день Благарта... В такие дни только путь и курят... Конечно, глупость...

Сестра положила мамалыжную лопатку на котел и присела рядом с Ремзиком на скамью.

Раньше Ремзик и сам считал, что такие вещи просто глупость. Но сейчас он вдруг почувствовал, что это не глупость. Он подумал: если кого-то любишь, то ты ради этой любви должен что-то трудное сделать, и тогда будет ясно, настоящая это любовь или не настоящая.

Он подумал: а что же сделал я ради любви к дяде? Мне было стыдно сказать ей, ответил он сам себе. Надо было одолеть стыд и сразу же все сказать, подумал он. Но ведь она могла пожаловаться дяде, а мама говорила, что он ничего не должен знать. Ремзик снова почувствовал тоску безвыходности. Еще прошло немногого времени, подумал он, еще есть время что-то сделать.

Снял бы свои «Мухус-Сочи», — сказала сестра.

— Ага, — сказал Ремзик и вышел во двор. Он снял свою обувь и выставил ее на солнце посреди двора. Теплая мягкая трава приятно щекотала подошвы ног. Он с удовольствием потер потные ноги о траву.

— Ремзик, согрей тебе воду, может, ноги вымойшь? — спросила сестра, появившись в дверях кухни.

— Зачем ему ноги мыть, — крикнул дедушка, — я сейчас пойду купать лошадь, там он и вымоется весь. Пойдешь со мной?

— Конечно, — обрадовался Ремзик.

За домом раздавался голос тети Софички, сзывающей кур. Куры со всего двора бежали на ее голос. Два петуха, один рыжий, а другой белый, тоже бежали на голос тети Софички, но все время делали вид, что они не слишком торопятся. Поглядывая друг на друга, они то бежали, то приостанавливались. Вдруг рыжий петух гневно заклокотал, услышав кудахтанье, как понял Ремзик, пойманной курицы. Расправив крылья, он изо всех сил побежал за дом, а белый остался, осторожно прислушиваясь к тому, что происходит за домом.

— А тебе-то какое дело, — слышался голос тети Софички, отгоняющей петуха, — чтобы тебя ястреб унес!

Через несколько минут она вышла из-за дома, неся за ножки курицу с перерезанным горлом.

— Я давно ее подозревала, — сказала она, неизвестно к кому обращаясь, — что она поворовы-

вает кукурузу в амбаре... Так оно и есть — один жир.

— Помоги мне лошадь поймать, — сказал дедушка и, гремя уздечкой, сошел с террасы.

В это время с яблони снова шлепнулось несколько яблок.

— Деньги гниют, — сказал дедушка, и они стали медленно подходить к лошади.

Лошадь вздернула голову, посмотрела на дедушку и, сердито фыркнув, побежала в глубину двора. Там остановилась и стала яростно щипать траву.

— Заходи с той стороны, а я с этой, — сказал дедушка.

Они стали приближаться к лошади. Ступать босыми ногами по мягкой, теплой траве было приятно. Когда они подошли к лошади поближе, она снова вздернула голову, посмотрела на обоих и побежала в сторону Ремзика, словно поняв, что ей незачем его бояться. В нескольких шагах от него она остановилась и стала яростно щипать траву. Когда Ремзик приблизился к ней, она, никаку не уходя, быстро повернулась к нему спиной, словно направила на него орудия задних копыт. Он попытался ее обойти, но она опять, не сходя с места и продолжая яростно щипать траву, направила на него орудия своих задних копыт. Ремзик стало немного не по себе.

В это время тетушка Софичка вынесла курицу, обдранную кипятком, и стала выщипывать из нее перья.

— Нечего ребенку к своей бешеной собаке подпускать, — сказала она ворчливо, — мог бы и сам взнудзить...

Наконец, они загнали лошадь в угол двора. Она злобно озиралась на Ремзика, который стоял сзади нее в нескольких шагах и помахивал палкой, чтобы она боялась побежать в его сторону. Ремзик не знал, боится ли она его, но то, что он ее боится, это он чувствовал. Дедушка подходил к ней сбоку, и теперь ей некуда было деться — справа забор, впереди забор, сзади Ремзик с палкой. Она сделала попытку перемахнуть через забор, но не решилась, а дедушка уже стоял рядом с ней, и, когда он поднес к ее губам удил, она вскинула гравастую голову, но он успел вложить ей в рот железо, и она сразу притихла.

— Хочешь поехать верхом? — спросил дедушка.

— Да, — сказал Ремзик отчаянно.

Ощипав и выпотрошив курицу, тетя Софичка бросила неодобрительный взгляд на Колчурского, который, окоротав уздечку, чтобы лошадь не укусил Ремзика, помогал ему возвращаться к ней.

— Чтоб я эту лошадь на улкой твоей души, — ругнула она дедушку и вошла в кухню.

Обе собаки съели выброшенные внутренности курицы и сейчас приносились к перьям.

Ремзик уже сидел на лошади, и дедушка открыл ему ворота, когда снова шлеп! шлеп! шлеп! с яблони слетело несколько яблок.

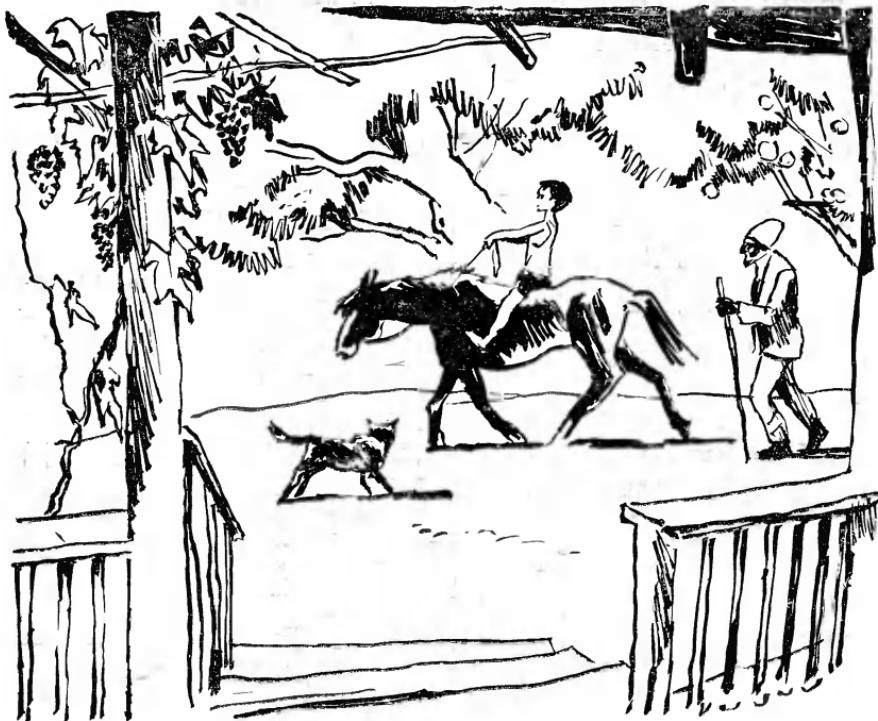
— С ума сойти, — снова пробормотал дедушка, скрипя воротами, — деньги под ногами гниют, а подобрать некому.

Ремзик чувствовал горячими ступнями горячий живот лошади и немного боялся, что она его укусит. Несколько раз она мотала головой, чтобы схватить его за ногу, но он успевал отдернуть ее.

— Да не бойся же ты, — крикнул дедушка, как бы вглядываясь в свой краин и раздражение по поводу гниющих денег, — крепче поводья держи!

— Я не боюсь, — сказал Ремзик и крепче сжал поводья.

Услышав скрип ворот, Барс поднял голову и, увидев, что Ремзик выезжает со двора, бросился



вслед. Собака выскочила на улицу первой, следом Ремзик на лошади, а сзади дедушка, захлопнув ворота, замкнул шествие.

Теперь они двигались по проселочной дороге. Лошадь все время косилась на Барса, который, чувствуя неприязнь лошади, держался на безопасном расстоянии. Лошадь все время косилась на Барса и словно забыла о Ремзике. Барс время от времени поглядывал на Ремзика, словно хотел спросить: «Что ей от меня надо? Иду себе в сторонке, а она все недовольна».

Ремзик уже привык к ней и чувствовал себя легко. Он ощущал голыми ступнями ее странно горячий живот, как будто у нее была температура.

Надо было проехать еще метров сто проселочной дороги, потом пересечь небольшую поляну и въехать в лесок, где протекал ручей, образовывавший в этом месте довольно глубокую заводь.

Ремзик знал это место. Он не раз там ловил рыбку и купался. У самого выхода проселочной дороги на поляну навстречу им показался бригадир со седней бригады. Он подозрительно покосился, как показалось Ремзiku, на него, на самом деле он оглядывал лошадь.

Дело в том, что бригадир поймал сегодня утром на колхозном кукурузном поле чью-то лошадь и

теперь искал хозяина. Он знал, что Колчераукий совсем недавно приобрел себе новую лошадь и сильно подозревал, что поймал именно ее.

— Это твоя лошадь? — кинул он на нее.

— А то чья? — спросил Колчераукий.

— Да сегодня на потраве поймал одну лошадь, волк ее задери, — сплюнул бригадир, — не могу нанять хозяина.

— А какая она с виду? — спросил Колчераукий. Они стояли в тени ореха, а Ремзик уже выехал на поляну. Он остановил лошадь, дожидался девушки. Лошадь, клацая железом удила, стала яростно щипать траву.

— Гнедая, волк ее задери, — снова сплюнул бригадир.

— У наших нет гнедой, — сказал Колчераукий, — никак армянская.

Ремзик отглядел поляну. На ней паслись коровы и свиньи, державшиеся поблизости от трех яблонь, росших посередине поляны, с которых время от времени слетали перезревшие плоды.

Бригадир и Колчераукий закурили, стоя у подножия ореха, и стали прикидывать, какому армянину могла принадлежать эта лошадь, пойманная на потраве.

— Ты езжай, она сама доведет, — сказал Колчераукий Ремзiku.



Он не мог спокойно говорить о лошадях, даже если они пойманы на потраве.

— Ноу! — крикнул Ремзик на лошадь, стараясь придать голосу мужественную грубость.

Но лошадь никак не отозвалась на его голос и продолжала яростно щипать траву. Ремзiku стало стыдно, что он не может никому ничего приказать. Он ударил ее пяткой по животу и изо всех сил потянул поводья. С трудом заставив лошадь приподнять голову, он еще раз сильно ударил ее пяткой, и она крупной рысью пошла через поляну.

Лошадь шла крупной рысью, и собака трусила поблизости, слегка поджав хвост и как бы стараясь придать своему облику непрятательную скромность и тем самым заставить лошадь забыть о ее существовании. Но лошадь ни на минуту не забывала о собаке и время от времени гневно косилась на нее.

Болтаться на спине лошади, идущей рысью, было неудобно и даже немножко больно, но все-таки Ремзик был доволен, что подчинил ее своей воле.

Тропа вошла в прохладный и сырой ольшаник. Черный дрозд выпетел из кустов ежевики и, треща, пролетел сквозь заросли дикого ореха. Лошадь перешла на шаг.

Они вышли к ручью, на глинистом берегу которого было множество следов животных, приходящих сюда на водопой.

Огромная разлапистая коряга, лежавшая поперек течения ручья, образовывала в этом месте довольно глубокую запруду. На той стороне ее шесть буйволов лежали в воде, высунув свои рогатые головы. Увидев владика, подъехавшего к ручью, буйволы перестали жевать кашаку, но, убедившись, что ничего не грозит, снова задвигали могучими, ленивыми челюстями.

Ремзик слегка разгорячился от верховой езды. Он попытался выехать в ручей с разгону, но лошадь, как ни стукал ее своими пятками, не шла. Тогда он повернул ее, выехал на небольшой откос, дотянулся до зарослей ольхового молодняка, выломал ветку, сдернул с нее листья и, спустившись с откоса, снова подъехал к запруде.

Он только взмахнул своим хлыстом, и лошадь, почувствовав, что он и в самом деле может ее ударить, вошла в воду. Он попытался было зажечь брюки, но не успел и решил, что потом выслушит их на берегу. Лошадь вошла в воду по шею и, остановившись, стала медленно и долго пить.

Она пила воду так долго, что запруда успела успокоиться, и мальчик смотрел в прозрачную воду ручья, видел волнистую песчаную поверхность dna в середине ручья с дрожащими бликами солнца, стаи мальков, мелькающие в воде, томную глыбину воды слева под откосом, где дно едва-едва

просматривалось и где на глазах его медленно и осторожно проплыла большая крапчатая форель. Она была величиной с кукурузный початок.

Буйволы возле того берега, когда всадник вошел в воду, опять выжидали перестали жевать жвачку, но, заметив, что всадник не собирается переходить на тот берег, снова зароботали могучими, ленивыми челюстями.

Голову и плечи пекло солнце, а от мокрых по колено ног подымалась прохлада. Он почувствовал какую-то легкость, какое-то прояснение, какого не чувствовал со вчерашнего дня. Он почувствовал, что он многое может.

Он подумал: «я буду жить здесь, покамест мама здесь работает, а когда окончится война, дядя обо всем узнает, и тогда взрослые сами решат, как им быть». «Но ведь это нечестно», — подумал он, — предательство будет продолжаться, и я, зная о нем и ничего не делая, буду тоже предателем».

Ему опять стало как-то не по себе. Голову и плечи пекло солнце, а от мокрых ног щекочущим озабочом подымалась прохлада, и это было теперь неприятно.

Он оглянулся на Барса, одиноко сидевшего на берегу. Ему стало жалко собаку, словно он ее тоже предал из-за лошади.

— Барсик, ко мне, — сказал Ремзик.

Собака зиявляла хвостом, обрадованная вниманием мальчика, и радостно полезла в воду. Она немножко попила воды, словно желая убедиться в свойствах среды, в которой ей придется плыть, и, убедившись, что эти свойства вполне подходящие, поплыла. Она плыла, приподняв голову и смешно выставив из воды кончик хвоста. Сейчас ей лошадь не была страшна, потому что та была наполовину погружена в воду, и собака понимала, что лошадь ее не сможет ударить копытом.

Она подплыла к Ремзику, и Ремзик, нагнувшись, несколько раз погладил ее по голове. Лошадь покосилась на собаку. Собаке это не понравилось, и она посмотрела на Ремзику, словно говоря: если у тебя нет ко мне какого-то дела, я лучше все-таки буду подальше от этой недружелюбной лошади.

Она поплыла назад, сначала прямо, а потом zig-zагами, и мальчик сначала удивился, а потом понял, что это она погналась за каким-то скользящим по воде насекомым.

Лошадь приподняла голову, по губам ее стекала вода. Ремзик оглянулся на то место, где проплыла форель, но сейчас в темной глубине ничего не было видно. Откос, обрывистым берегом высотой метра в два, уходил в глубокую заводь. В прошлое лето он с другими деревенскими ребятами прыгал отсюда в воду, а иногда и рыбу ловил. Он решил попробовать прыгнуть с обрыва на лошади.

Он вышел на берег, поднялся на откос, отъехал метров на десять и, ударив лошадь своей веткой, погнал ее к обрыву. Лошадь рысью подбежала к обрыву, но у самого края притормозила и остановилась.

Ремзик посмотрел вниз в глубокую заводь с высоты лошади. Ему стало страшновато. Когда он смотрел на обрыв из воды, он не казался ему страшным. Сейчас, с высоты, глубокая заводь была прозрачной, и он снова увидел большую крапчатую форель, которая осторожно проплыла по самому дну. Наверное, это была та же самая форель. Он подумал: чем крупнее рыба, тем она осторожней... Интересно, именно те рыбы становятся большими, которые осторожны, или рыба, став большой и понимая, что ее хорошо видно, дается осторожной?

Форель доплыла до тени головы лошади, падавшей на воду, и каким-то образом почувствовав ее там, на дне, постояла немножко и осторожно повернула и вплыла под самый берег в самую глубину заводи.

Он так и не понял, рыба становится большой от того, что она осторожна, или, сделавшись большой, становится осторожной. Он подумал: почему, интересно, я об этом подумал? Потому что я боюсь прыгать и нарочно отвлекаюсь, ответил он себе.

И вдруг вспышка рожущего стыда соединила невыносимой болью три точки его жизни: я струсила в ту ночь, когда отец подошел прощаться, я предал дядю, ничего не сделав для него, я сдрейфил прыгать и отвлекаюсь на какую-то чепуху с большой рыбой!

И больше не давая себе ни о чем думать, он хлестнул лошадь и, отъехав метров на двадцать, повернул ее и, снова хлестнув, галопом помчался к обрыву. У самого края лошадь снова притормозила, и он снова хлестнул ее своим ольховым прутом, и она, почувствовав власть всадника, сделала тяжелый прыжок в воду.

Холод воды с размывом оцепенил его тело, и, когда он выдернул из нее голову, то увидел вокруг себя еще сидящие после падения брызги, и слева от него на мгновение засветился мягкий, нежный кусок радуги.

Еще через мгновение голова лошади, вымахнувшая из воды, хлестнув его по левой щеке мокрой гривой, отдернулась назад.

Нащупав ногами дно, лошадь быстро вышла на берег и, фыркнув, отряхнулась. Он тронул рукой горячую щеку и оглянулся на запруду. Волны от их прыжка все еще расходились по воде, и буйволы, перестав жевать, приподняли головы, пропуская волны. Казалось, они мерно покачиваются в воде.

Бедный Барс, которому этот шумный прыжок совсем не понравился, отошел подальше вверх по течению и уселился на безопасном расстоянии.

Ремзик был счастлив. Весь мокрый, но не чувствуя холода, наоборот, чувствуя только бодрость и необыкновенную легкость во всем теле, он понял, что теперь ему ничего не страшно и все будет, как надо. И отец вернется и поймет, что Ремзик был слишком маленьким тогда и потому испугался, и дядя вернется с фронта, когда окончится война, и от предательницы, как говорила мама, духу не останется здесь, и никто не подумает, что он в чем-то виноват.

Ему снова захотелось прыгнуть в воду, но свой ольховый прут он выпустил из рук, когда погружался в воду. Он снасв погнал лошадь на откос и, добравшись до зарослей ольхи, выломал новую ветку, сдернув с нее листья и, отогнав лошадь, ударил ее и пустил в галоп.

У края обрыва лошадь опять затормозила, но он, едва удерживаясь и сползая на шею, снова огrel ее веткой, и она снова тяжело плюхнулась в воду.

Он снова с головой погрузился в воду, почувствовал, как перехватило дыхание, и на мгновение раньше, чем лошадь, успел высунуть голову. Лошадь тоже выметнула голову из воды, и грива ее на этот раз хлестнула его в правую щеку. По струе воздуха, ударившему его по лицу, он почувствовал, с какой силой голова лошади выметнулась из воды. И на этот раз в брызгах налево от себя он увидел нежную полоску радуги, растворившуюся в воздухе. Он никогда не думал, что можно так близко увидеть радугу. Он смутно подумал, что надо опасаться головы лошади, но тут же отогнал эту мысль, словно она его возвращала в то тоск-

ливое состояние, в котором он был со вчерашнего вечера. Нет, нет, подумал он, этого никогда не будет теперь. Второй прыжок был еще лучше, чем первый. На этот раз, горделиво подумал он, я да- же своих хлыстов не потерял.

Он снова ударили лошадь, отряхивавшуюся на берегу, и отогнал ее для третьего прыжка.

Волны, вызванные вторым падением, снова заставили буйволов перестать жевать жвачку, и они, покачивая рогатыми головами, пропускали волны, чтобы не замочить голову. Хотя прыжки всадника в воду им не нравились, они их беспокоили не настолько, чтобы покинуть уютную прохладу ручья.

Когда Ремзи отогнал лошадь и повернулся ее для третьего заведа, он увидел, что поверхность запруды почти успокоилась, и буйволы снова зарабатали чугунными челюстями, лениво жуя свою жвачку.

В это время Колчерукий с бригадиром уже сидел в тени ореха, и Колчерукий, зная всех армянских лошадников, рассказывал бригадиру, где кто живет. Если бы бригадир с Колчеруким встретился минутой позже, когда Ремзи и дед проходили бы поляну, где головы палило полуденное солнце, они не стали бы так долго разговаривать.

Из леса высокими Барс и, миновав поляну, не останавливаясь, возле сидящих в тени, побежал прямиком к дому Колчеруки. Колчерукий даже не заметил его. Добежав до ворот, он стал отчаянно скрестились, чтобы открыть их, а потом откинул голову и завыл.

— Ша! — сказала тетя Софичка, услышав вой собаки.

Она вышла на кухонную веранду, чтобы точней определить, что это собака. Судя по близости воя, это могла быть собака соседей, живущих напротив, у которых сын был на фронте.

— Кажется, это собака Датико, — сказала она грустно, — несчастная его мать! Да ведь кто его знает, может, ранило, а может, собаки вообще ничего не понимают.

Она снова вошла в кухню, где у очага сидела сестра Ремзи и жеряла на вертеле курицу, с которой то и дело капал жир, вспыхивающий голубоватыми огоньками на раскаленных углах. Лицо девушки разумянилось от сильного жара.

— Уже готова, — сказала она, стараясь отвернуться от огня.

— Снимай, — сказала тетушка Софичка, — мамалыга тоже уже высыхает... Этот мой балбеболка, наверное, с кем-то там встретился и теперь будет до самого вечера бар-бар-бар-бар...

В это время Барс снова завыл, и стало ясно, что какая-то собака воет у самых ворот. Рыжуха из-под дома виновато скользнула в ответ.

— Ша! — Старуха вышла из кухни.

На этот раз она дошла до самыи ворот и увидела Барса. Сердце ее сжалось от боли, но она заставила себя подумать, что все-таки, наверное, выпала какая-нибудь другая собака. Но Барс посмотрел ей прямо в глаза и снова завыл со страшной силой.

— Неужто с Багратом что случилось? — сказала она вслух и открыла собаке ворота. Потом она вдруг подумала: что-то могло случиться с ребятами, ушедшими на Кодор ловить рыбу.

Собака вбежала во двор и беспокойно оглянулась на старуху, словно хотела ей что-то сказать. Потом она добежала до середины двора и внезапно затормозила, увидев «Мухус-Сочи» Ремзи. Она взяла в зубы резиновый башмак мальчика, потребала его в зубах, выпустила и снова завыла со страшной силой.

В это время сестра Ремзи уже стояла на кухонной веранде. У тетушки Софички и сестры одновременно вырвался из груди вопль страшной додгади:

— Ремзи!

Собака, больше не глядя ни на кого, выбежала со двора, а тетушка Софичка так и замерла у открытых ворот.

Со страшной быстротой, клубком отчаяния собачка промчалась мимо все еще сидевших в тени ореха дедушки и бригадира.

— Эта собака, — кивнул бригадир на Барса, — что-то страшное видела, только что она промчалась туда, а теперь бежит обратно.

— Там это же нашего русачка собака, — сказал Колчерукий и встал.

— Уж не она ли только что вылез! — сказал бригадир.

— А чего ей вылезть, волк ее задери, — сказал Колчерукий и заторопился через поляну.

Он уже был на краю поляны, когда увидел свою лошадь, которая волоча поводья, мокрая, выходила из леса, яростно щипая траву.



Ремзи третий раз разогнался, и лошадь опять притормозила у обрыва, и он снова хлестнул ее, и она тяжело бульыхнулась в воздухе. У него снова перехватило дыхание, и он изо всех сил вскинул голову и схватил ртом живительный глоток воздуха. Брызги, вызванные взрывом пыдения, еще оседали в воду, и Ремзи увидел на этот раз впереди себя нежно тающий на глазах полукруг радуги и прямо из-под нее выметнувшуюся из воды и летящую на него голову лошади.

Он успел откинуть собственную голову, но голова лошади ударила его в грудь, и, уже падая в воду, в последний миг, он успел удивиться нимоверной, незаслуженной жестокости случившегося.

Лошадь вышла из воды и пошла через ольшаник, по дороге яростно щипая кучку травы, попадавшейся по сторонам от лесной тропы.

Барс, которому сразу не понравились эти прыжки, слишком шумные и слишком резкие, сначала обрадовался, что лошадь ушла, а мальчик нырнул. Собака привыкла к его ныряниям на море и терпеливо ждала. Потом она забеспокоилась и подошла к воде, быстро поворачивая голову то вверх, то вниз по течению. Она знала, что, когда они купались в море, Ремзи иногда заныкал за какую-нибудь скамью, а она беспокоилась и искала его.

Вдруг он вынырнул, но не как обычно, шумно фыркая, а как-то тихо, тихо поплыл по течению и, зацепившись за корягу запруды, остановился.

Собака слегка заскулила и поплыла к нему. Она подплыла к нему и стала лизать его лицо, чувствуя, что это его лицо, его тело, его рубашка, вздувшаяся от застывшего в ней воздуха, и в то же время, что его нет, из него ушло то, что она так любила и что было им, Ремзи.

Она подумала, что другие люди, тоже любившие его, смогут помочь, если то, что было им в его теле, еще ушло не слишком далеко, и она быстро поплыла назад и, выплыв из ручья, не отряхиваясь, из всех сил побежала к дому.

У запруды снова стало тихо. Но буйволы почему-то вылезли из воды и, отражая солнце черными, лоснящимися тушиами, медленно пошли от ручья. Они почувствовали что-то.

## Юрий Михайлик



Вот лодка у берега молча стоит.  
Вот небо далекую тучу таит.  
Вот море к ногам подступает.



Летом сорок седьмого года  
нас кормили сметаной и медом.  
Нас собирали из разных мест,  
нас одели, обули, полечили.  
Если кто-то сметану не съест,  
значит, меду вообще не получит.  
Тетя Клаша водила на речку,  
не сводила карающих глаз.  
И сидела потом на крылечке,  
горевала, глядела на нас.  
Горевала она, горевала,  
кружки доверху наливала.  
А сметану возили полуторкой —  
пять бидонов на сто огольцов.  
— Мне от этой сметаны мурорно! —  
говорил Огурец — Огурцов.  
Тетя Клаша тогда вставала  
и своей беспощадной рукой  
подзатыльник ему давала.  
— Пей! — кричала. — Изверг такой!  
Летом сорок седьмого года  
нас кормили сметаной и медом.  
Мы в деревне на Волге жили  
летом сорок седьмого года.  
Те, которые пережили  
зиму голодного года.



И небо, и море ночное,  
и гулкий прибрежный накат  
еще от полдневного зноя  
очнуться не могут никак.  
И странно поверить и трудно  
не спутать над черной водой  
огонь проходящего судна  
с падучей плавучей звездой.  
И трудно на катере этом  
заметить в созвездье ином  
бессонный глазок сигареты  
на темном обрыве ночном.  
Но кто-нибудь там, на борту,  
молчит и глядит в темноту.



Итак, создается тройная уха.  
Сначала берется шпана, чепуха,  
нахальная злая рыбешка.  
Ее поперчи, посоли, отвари  
и вылови ложкой и в кучку свали.  
И насухо вылижи ложку.  
Потом добавляй понемногу огня,  
чтоб крупная рыба, весь дух сохрани,  
сварилась, но не развалилась.  
А чтобы светилась уха изнутри,  
моркови добавь и чеснок разотри,  
смотри, чтоб негрко светилась.  
Готово! Сварилась. Но все-таки ты  
обязан быть выше голодной тщеты,  
жратвы, суеты, нетерпенья.  
Ведь дело не в том, чтобы скоро поесть,  
тройная уха — это высшая честь,  
искусство на уровне пенья.  
И нужен особый жестокий талант,  
когда уже миски стоят на столах  
и солнце стекает по склону,  
вторую уху из котла отцедить,  
огня приубавить и уголь разбить,  
и третью варить непреклонно.  
Итак, запевай, мой веселый солист!  
Последняя рыба, в охоту солись,  
варись, шевелись и усердству!

А красного перца каленый стручок  
до самого сердца тебя пропечет,  
прогреет до самого сердца.  
Вот тут создается тройная уха.  
Его ложка берется, чиста и суха.  
Вот хлеба краюха такая.

## Григорий Корин



Синевы не смрачуй,  
Облака не поколеблю.  
Дань пожизненно плачу  
Успокоянному небу.  
В жестком шлеме, молодым  
В небо поднятый войною,  
Над балтийской волною  
Я плетел в огне и дым.  
И за мною в этот ад  
Над палиющим зрачком судном  
С интервалом двухсекундным  
На смерть «Ильи» шли подряд.  
И в сожженных обшлагах  
Встал я у родного дома,

Словно ангел, в небесах  
Уцелевший от разгрома.  
Только моря я страшусь,  
Там, в необозримой бездне,  
Много англов небесных,  
На которых я молюсь.



Это явь иль сон мой краткий,  
Жеребенок на брускатке.  
Не видались сорок лет,  
Движется за мною вслед.  
Золотистый, лучезарный,  
Той же площадью базарной,  
Уцелевшей на войне,  
Вновь со мной наедине.  
Он такой же длинноногий,  
И подтянутый, и строгий,  
В светлых венчиках копыт  
Мокрым солнышком звенит.  
Тот же самый, тот же самый,  
Для которого у мамы  
Я выпрашивал мальцом  
Ожерелье с бубенцом.  
И повадка точно та же:  
Не дает слова даже  
Рядом вслух произнести,  
Тут же норовит уйти.  
Через сорок лет откуда  
Прискакало это чудо!  
Не забыло обо мне,  
Бьет копытом в тишине.  
И себе представить даже  
Я не смог бы встречи нашей.  
Ты исчез на той войне  
В первом же тревожном сне.  
Ты не трусь, мой жеребенок,  
Это в детстве я, спросонок,  
Норовил тебя обнять,  
Колокольчик твой достать.  
Ты иди, иди брускаткой,  
На меня гляди украдкой,  
И не бойся, это я,  
И не оставляй меня.

## Глеб Горбовский



Все некогда осмыслить бег времен:  
крушенье эр, эпох звездопаденье,  
мерцанье душ в коробочках имен,  
стремленье тел — за собственною тенью...

Больничным коридором узок путь.  
В конце — дыра: общение с родными.  
Так в чем же суть! В падении на грудь?  
Но кто спасет, но кто тебя примет?

Кто не прогонит с собственной груди,  
кто на тебя пролет молитву взглядя?  
Любовь людей! Иного нет пути...  
Она в тебе. И звать ее не надо.

## Перед полетом

Легчайшая, промчавшаяся пухом,  
на склоне неба выдохлась звезда.  
Душа ждала...  
Ворошал космос брюхом.  
Над головой трещали провода.  
Опомнившись, отброшенная телом,  
душа ждала...  
Дышал аэродром.  
И отлетали в свете пожелтелом  
тела людей, спокойные, как бром.  
Стотонная, как крупная надежда,  
тень лайнера покинула бетон.  
Душа ждала...  
Хлестала щеки нежность.  
В стоячих буках дергался неон.  
Бескрылые чиркали созданья  
меж водорослей гнутых фонарей.  
Душа ждала...  
И опускалась стая  
очередных стальных нетопырей.



Меня ворона вдохновляет!  
Ударил розовый мороз.  
Восток алеет.  
Поезд лает.  
В дым заводской вошел наркоз:  
окаменел, почил дымочек...  
Ворона — скок!  
И тяжело,  
как бы ключок прошедшей ночи,  
парит,  
разинув злые очи!  
Но солнце терпит это зло...



Они гнездо с любовью вили,  
вбивали нежно каждый гвоздь.  
А после жили в этой «вилле»  
вдвоем — счастливые насквозь.  
Изба возникла возле речки,  
в объятиях сосен и берез.  
По вечерам журчала речь их  
у камелька, коли мороз.  
Весной пристроили курятник,  
цветы и пару юных груш.  
И стала их судьба нарядней,  
и даже смех коснулся душ...  
Под черепичной чешуюю  
ковчег и плыл сквозь сенокос.  
И Млечный Путь над головою  
весь изогнулся, точно мост.  
Но захотелось людям в Киев.  
Заколотили дом — и в путь...  
...А что за люди, кто такие!  
Не в этом соль, не в этом суть.



Анатолий  
ГОЛУБЕВ



Рисунки  
Г. НОВОЖИЛОВА

# ЧУЖОЙ

## ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



**Н**аспех перекусив, Алексей выскочил из дома. По привычке завернулся к газетному киоску. Не раскрывая «Советский спорт», нырнул в двери метро. Только в вагоне, прижатый к задней стенке прибывающими на каждой станции пассажирами, он ухитрился развернуть газету. Его толкали в бок, в спину, но он упрямо пробегал глазами по страницам. В конце четвертой Алексей увидел маленький черный квадратик некролога. «...С прискорбием сообщают о трагической гибели заслуженного мастера спорта, выдающегося советского стрелка, обладателя олимпийской серебряной медали, девятикратного чемпиона страны Александра Васильевича Мамлеева...»

Алексея этот некролог поразил. Еще два дня назад он читал, что Мамлеев — наша самая большая надежда на предстоящих Олимпийских играх, верная золотая медаль... Что же произошло с Мамлеевым?

Алексей продолжал машинально просматривать газету, но мысли его вновь и вновь возвращались к некрологу.

«Нет, Алешина, — обратился он к самому себе, — с такими нервами, как у тебя, надо, конечно, искать более спокойную работенку. Сказать кому-нибудь — не поверят: инспектор МУРа, как сентиментальная барышня, разстроился, прочитав некролог о совершенно в общем-то ему незнакомом человеке...»

Когда он подходил к управлению, стрелки больших уличных часов показывали пять минут десятого. «Опять опоздал», — огорчился Алексей.

Он солидно, словно опоздание на работу было дозволено ему начальством, предъявил дежурному

удостоверение и прошел в свою комнату. Здесь стояло четыре больших стола, к каждому, словно для устойчивости, притулились коричневые несгораемые шкафы.

И хотя в комнате работало четверо, Алексей не помнил, чтобы за год его работы они собирались вместе больше чем на час. Командировки, задания, срочные вызовы...

Вошел старший следователь Петр Петрович Стуков, чей кабинет находился напротив.

«Интересно, — подумал Алексей, — этот Стуков хоть когда-нибудь в жизни опаздывал на работу или вот так всегда — минута в минуту на месте?...»

А Стуков, словно угадав, о чём думает Алексей, сказал ему с усмешкой:

— Начальник отдал тебя разыскивал. Уже дважды звонили из приемной...

— Он что, специально меня выселяет? Прямо особо чуть у нашего шефа от опоздания инспектор Алексея Воронова! Как задержался на минуту или вышел, тут же вызывает...

— А ты объявление над столом вывешивай: «Ушел на обед, если не вернусь, то и на ужин», — ехидно посоветовал Стуков. — Или задерживайся на час, на два. Тогда опоздание будет выглядеть не опозданием, а задержкой на объекте! Как у всех других...

Воронов хотел было ответить, но сдержался и пошел к двери. Уже на пороге обернулся и спросил Стукова миролюбиво:

— А не знаешь, зачем вызывал?

— Не знаю, товарищ Воронов, не знаю. Наверно, ответственное дело поручить хочет, — сказал Стуков и сстроил страшную рожу.

— Ну и язвы ты, Петр Петрович! — покачал головой Воронов. — Ты же прекрасно знаешь, что таким бездарностям да еще разгильдяям ответственных дел не поручают.

# ПАТРОН

— Ну, почему же? По ошибке все могут...

Начальник отдела был занят. Секретарша продержала Воронова в приемной почти полчаса.

«Это не случайно. Не иначе, как в отместку, что не явился вовремя».

Но когда открылась дверь кабинета и оттуда торопливо выскочили четверо следователей, Воронов понял, что его подозрительность насчет мести была, пожалуй, излишней. У него даже улучшилось настроение, и он, войдя в кабинет начальника отдела, лихо отрапортовал:

— Торзариц полковник, инспектор Воронов по вашему вызову...

— Садитесь, Воронов...— довольно сухо сказал начальник отдела, и Воронову вновь почудилась угроза выговора.— У меня к вам поручение. Оно касается одного дела, которое...— Он хотел, очевидно, дать свою оценку делу, но передумал и вдруг спросил:— Вы, кажется, занимались стрельбой?

— Да,— удивленный таким неожиданным вопросом, неуверенно ответил Воронов.— Уж не касается ли дело трагической гибели Мамлеева?

— О! Психально, что инспектор МУРа начинает свой рабочий день с просмотра газет, в их числе и спортивной. Если только по этой причине вы: иногда задерживаетесь с приходом на работу, то можете считать, что я вам простил все ваши опоздания. Заранее... Авансом!

Полковник Жигулов повернулся в кресле и взял с самого дальнего конца стола тощую, почти пустую папку. На ней даже не было поставлено порядкового номера.

— Произошел несчастный случай во время отборочных соревнований. У стрелка Мамлеева разорвало латунник. Штука довольно редкая. И на этот раз, к сожалению, трагическая. Обычно, вы знаете, что бывает?

— Да.— Алексей утвердительно кивнул головой.— Отбивает плечо, скрупульно набьет, если попался старый или неудачный заряд. Иногда щеку так раскрасит, будто сквелок материи. И уж тогда не до стрельбы... Если врач вообще от соревнований не отстранит...

— Вот-вот,— сказал полковник,— на этот раз последствия куда хуже: погиб человек... Въезд на место происшествия, осмотр оружия, выводы экспертизы позволяют считать произшедшее несчастным случаем. Это по крайней мере утверждают многие специалисты. Но не все...

Полковник Жигулов замолчал, словно раздумывая, надо ли сообщать Воронову, что ему еще известно о смерти Мамлеева.

— Отправитесь на стенд «Локомотив», найдете Николая Николаевича Прокофьева. Это бывший старший тренер сборной страны. Потом, кажется, начал пить и сейчас работает не то просто тренером, не то методистом. Он мне звонил...— Полковник опять задумался.— Утверждает, что история с Мамлеевым не случайность. Поскольку погиб человек, да еще есть такое предположение, следует проверить. Попробуйте присмотреться, что к чему... Только, пожалуйста, без натяжек. Если убедитесь, что несчастный случай, так запишем. Не нравится мне звонок этого Прокофьева...

Начальник отдела передал Алексею тощую папку.

— Здесь заключение федерации стрельбы и данные вскрытия. Не густо. А вы, кстати, занимались какой стрельбой — стендовой или пулевой?

— Пулевой, товарищ полковник,— как бы извиняясь, ответил Воронов.— А здесь, насколько я понимаю, речь идет о круглом стенде.

— Тогда не стесняйтесь тревожить специалистов.

Где стенд «Локомотив» находится, вы знаете? Думаю, пяти дней на исполнение хватит.

Только в коридоре до Алексея дошло, насколько бесцветным и неинтересным — даже трудно назвать «делом» — было новое поручение.

Пока Воронов шагал от кабинета начальника до своей комнаты, он мучительно думал, как сообщить о полученном задании Стукову, чтобы вновь не вызвать на его противном лице злорадную улыбку.

— Можно поздравить! — спросил Стуков, расположившись за столом Алексея.

Иронический взгляд старшего следователя заставил Воронова отвернуться. Стارаясь держаться как можно непринужденнее, Алексей повел плечами и сказал:

— Судя по всему, самое обыкновенное убийство.

— Убийство или несчастный случай? — переспросил Стуков.

И Воронов понял, что Стукову давно известна и причина вызова к начальнику отдела и суть нового задания.

— Уж не твои ли это, Петр Петрович, рук дело? — настороженно спросил Воронов.

— Монх, — удивительно просто, будто своим стяжанием он осчастливили Воронова, признался Стуков.

— Послушай, Петр Петрович, откуда ты все знаешь? — Алексей пропустил признание Стукова мимо ушей, счтя его очередной шуткой.— Так ведь нельзя жить. Неинтересно существовать, когда лишены радости познания!

— Видишь ли, дорогой Алексей, — изменения имя Воронова, Стуков явно хотел его подразнить, — суть нашей работы — знать как можно больше. Причем девяносто девять процентов знаний, сидящих вот здесь, — он постучал пальцем по своему высокому, открытым лбу, — могут никогда не понадобиться. Но следователь должен знать все. И даже больше, чем все. Знать даже то, что ему совершенно не надо знать при работе над порученным делом.

Страсти Стукова к афоризмам известны были давно. У Воронова она вызывала неприязнь. Алексею всегда казалось, что таким мудрствованием Стуков хотел подчеркнуть свое превосходство над ним, инспектором, к тому же начинаящим.

— Язвы ты, Петр Петрович! — Алексей осуждающе посмотрел на Стукова и хлопнул пустой папкой по столу.

— Да, что есть, то есть! — С показанным удовольствием Стуков ударили себя в грудь кулаком.— А ты не расстраивайся, товарищ Воронов. И ты скоро таким станешь. Наша работа тому очень способствует.

Воронов ничего не ответил и демонстративно погрузился в изучение трех листочков, лежавших в папке.

2

**В**ычурный забор стенд «Локомотив» тянулся почти на полкилометра. Его решетка утопала в желтоловатой предосенней листве тополей. От них тянуло ночной прохладой, хотя взошедшее солнце уже придало воздуху терпкий запах предстоящего жаркого дня.

Чем ближе подходил Воронов к арке главного входа, тем явственнее различал он звуки выстрелов.

Башни с метательными машинами выросли внезапно. Стреляли лишь на двух соседних площадках. На первой пожилой, полный человека с большими очками на круглом лице отдавал команды слишком громко, как это обычно делают новички. Да и стрелял он не лучше зеленого салажонка. После каждого промаха зло переламывал ружье и зачем-то загля-

дывал в стволы, словно виновник его неудачи прятался в черных вороненых трубах. На второй площадке, наоборот, царило спокойствие, хотя выстрелы звучали здесь гораздо чаще. Стреляли четверо. И по тому, как они готовились к очередному выстрелу, как произносили — не то призывали, не то просили — «Дай!», и по тому, как еще не успевало отзвучать долгое «а-а-а», в навстречу черным дикам, выпавшим из оконка то левой, то правой башни, уже вскidyвались стволы, было видно, что стреляют мастера.

Воронов подошел к ним, насколько позволяли маленький барьерчик, отделявший стрелков от зрителей. Две, почти юноши, в цветастых рубахах, с лихорадочно заброшенными на плечи переломленными «боками», выходили, в свою очередь, к номерам и стартально, методично отстреливали то одиночку, то дублет. Высокий меланхоличный мужчина, лет на двадцать старше юношей — так показалось Воронову на первый взгляд, — стреляя безуказненно. При прохождении же своих конкурентов громко произносил смешное слово «Пудель!». И тихо хихикал. Четвертый стрелок — жилистый, маленько роста, с длинным телом на коротких кривых ногах — казался абсолютно противоположностью сдержанным соперникам. Он стрелял картиною, ни одного шага, ни одного движения не сделав без заботы о том, какое впечатление произведет это на зрителей. Однако результаты показывали приличные. После каждого его выстрела даже черный дымок, вспыхивавший в воздухе от разбитой тарелочки, казалось, был замысловатой и красивой.

— Дай!

Два выстрела почти слились воедино, но одна из тарелочек, описав длинную правильную дугу, насыпала рухнула в траву невредимой. Маленький даже подпрыгнул от досады. Другие стрелки захотели. А высокий насыпывало сказал:

— Ну, Игорек, насыпши! Давно не видел у тебя такого пуделя.

— И на старуху бывает проруха... — огрызнулся маленький и крикнул: — Дай!

Двумя выстрелами он элегантно разбил обе тарелочки.

— Как на скрипке играет... — почему-то вслух произнес Воронов и вздрогнул, когда рядом с ним отклинулся хрюпловатый голос:

— Не скрипин он, а пижон старый. Никак ума-разума за столько лет набраться не может...

Воронов повернулся голову — перед ним с метлой в руке стоял старичок, точь-в-точку из детской сказки: со сморщенными кукольными лициком и маленькими глазками, скорее бесцветными, чем серыми. Единственное, что можно было назвать крупным в его облике, был толстый, расплощенный нос.

— А вы чай будете? — как-то по-деревенски спросил дед, пристально осматривая Воронова. — Спартаковские аль динамовский?

Воронов подумал, стоит ли отвечать деду вообще, но решил, что разговор с ним может быть полезен.

— Скорее, пожалуй, динамовский, чем спартаковский...

— И новенький, небось?

— И это, пожалуй...

— То-то прежде на глаза не попадался... Так вавших динамовских, сегодня никого нет. Беда у них — лучшего стрелка не уберегли. Сыншил, небось? — Дед решил, что разница в годах вполне позволяет ему перейти на «ты». — Мамлеев-то Сашка сплоховал на отборочных... На днях хоронить будут...

Дед снизу вверх посмотрел на Воронова, чтобы определить, какое впечатление произвели на новичка его слова.

— Слышал, дедуся, слышал, — ответил Воронов и понял, что это признание отнюдь не доставило удовольствия говорившему деду. Но долгий — лет в семьдесят — жизненный опыт, видно, приучил старика к разным, куда более неприятным неожиданностям, и дед со свойственным старости умением во всем найти утешение согласно закивал головой.

— Вот и хорошо, коли слышал. А то тут всякие вокруг бродят, а даже фамилии Мамлеева произнести правильно не могут. Ты, может, и знал его, пожиника, царство ему небесное! — сказал дед, но перекрестья забыл — то ли метла мешала, то ли в бока верил лишь в присказках.

— Нет, не довелось, — говорившему деда началла раздражать Воронова. Он снова повернулся к стрелкам и, не оборачиваясь, спросил: — А это кто сейчас на номере?

— Это-то? Наш, локомотивовский. Дублет пропустил який — Игорюша Мельников, несерьезный стрелок, хотя иногда и с удачей. Ниже десятки в чемпионстве страны не опускается. А рядом с ним, — голос деда стал сразу ласковым, как у матери, говорящей о любимом ребенке, — высокий котерий, с волосами зализанными, это и есть сам Вишняк... Валерий Михайлович. — Стремясь подчеркнуть свою уважительность, дед прибавил к фамилии имя и отчество. — После смерти Мамлеева во всей нашей стране лучше его стрелка нету. Жадный до побед был покойник. Никакого пути при нем Вишняку не было. И не любили они за это друг друга... Первый в нем соперника всегда чуял, а второму первого за что любить? — то ли спросил, то ли констатировал дед.

Слова деда о взаимоотношениях Вишняка и Мамлеева заинтересовали Алексея.

— Прокофьев — это тренер Вишняка? — осторожно спросил Воронов.

— Был тренер. А сейчас какой там тренер — за будлыка, и только!

— Что-то я смотрю, дедуся, у вас все люди плохие. Кроме Вишняка, вы вроде никого не любите?

— Не тебе судить, мил-человек! Я здесь почти тридцать лет работала. Всяких переведил. И кого за что любить, сам знаю!

— Неужели тридцать лет? — деланно удивился Воронов. — Ну, раз так, мне с вами, дедуся, поговорить как следует надо. Пойдемте где-нибудь присядем и потолкуем.

— Некогда толковать. — Глаза деда впервые кольчие блеснули. — Вам что — патроны пожег да и гуляй, а тут вон какую территорию убираять!

— Дедуся, я из уголовного розыска. — Алексей достал свое удостоверение и показал деду. Воронову почудилось, что старик отпрянул от него слишком испуганно. — Хотелось бы порасспросить вас о Мамлееве...

— Вот как! — Дед на минуту о чём-то задумался. — По брехне Прокофьева, небось, пришли? Наболтан сплюнью, что не беда это, а убийство!

Воронов вздрогнул. Впервые, пожалуй, слово «убийство» в связи с делом, если его можно было так назвать, Мамлеева прозвучало столь грубо в своей безжалостности.

— Почему вы думаете, что Прокофьев? — переспросил Алексей больше для того, чтобы выиграть время на размышление.

Он на всех углах об этом трезвонит. Будто сам никогда с оружием дела не имел. Знает ведь, что даже незаряженное единожды в жизни само стреляет...

<sup>1</sup> Ружье с вертикальной постановкой стволов.

Они прошли к длинному, желтого кирпича зданию базы и сели возле глухой боковой стены. Место оказалось удобным: видно было, как продолжали стрелять четверо на второй площадке. Время приближалось к полуночи, солнце начало припекать. Дед, дымясь по скамейке, забился в тень и спросил:

— Подозреваешь что аль просто? — В вопросе старика Воронову почудилась какая-то особая заинтересованность.

— Пока просто...

— Угу... — Дед мрачно согласился. — Так вот, молодой человек, поверьте моему опыту и слушайте: обычное несчастье. Бывает, от долгого лежания заряд как бомба становится. И тогда жди беды. Может, еще по какой нелепице. Но только умысли злое — здесь быть не можно. Да и что кому от Мамлеева надо?

— Ну, а, скажем, Вишняку? Ведь ему Мамлеев мешал? Может, тот пошутить хотел или еще что... А получилось...

Дед не ответил и тем самым еще больше насторожил Воронова.

— Я тебе, мил-человек, случай расскажу. Старый. Из того еще времени. Отец мой, мастер-краснодеревщик, большой охотник до ружья был. Пошел однажды по утам. И не вернулся. Нас, между прочим, в хате тринадцать ртов было — один другого младше. Только на другой день утром, нашли его — лежал, бедолага, в ста шагах от большака, по которому каждую минуту тягали ползли. А крикнуть сил не осталось. Из болота почти два километра то на четверенках, то ползком выбирался. А приключилось непонятное — разорвало замок у ружья. Оно курковое было. Курок пробил толстый кожаный козырек на батиной кепи и лоб расек. Так кровью и вышел. Помер сам, по нерадивости... Дурным патроном, попользовался...

История, рассказанная дедом, никакого отношения к делу не имела. Алексей уже собирался спросить, что думает тот от Мамлеева как о человеке, но дед опередил его.

— О покойнике не спрашивай! Я его плохо знал. Не наш он. Вон Прокофьев шагает. — Старик кинул на арку главного входа, от которой шел человек в застиранных тренировочных брюках и рубахе на выпуск. — Он когда-то Мамлеева тренировал. Лучше моего, гражданин начальник, все расскажет.

— Что, дедуся, не всегда с законом дружили?

— Ух было... По глупости своей да подлости чужой... — тихо проговорил дед, и Воронов увидел в его маленьких глазах нескрываемую неприязнь.

Не прошлось, дед встал и начал тут же махать метлой без особой на то нужды. Он исподлобья бросал редкие взгляды в сторону приближающегося Прокофьева. Но Воронов твердо решил, что к Прокофьеву подходить, не выясняя хотя бы общих раскладки сил в этихдалеко, очевидно, не простых отношениях, нет смысла. Алексей пошел к выходу со стрельбища, лишь смирив Прокофьева внимательным взглядом. Когда у ворот Воронов оглянулся, оба — и Прокофьев и дед — смотрели в его сторону.

### 3

Со стендом Алексей отправился в научно-исследовательский институт мер и весов, в котором работал Мамлеев.

Здание института висело на стрелке двух проектиров. Стекло, алюминий и окна, окна, словно весь дом держался на одних оконных переплетах.

Кроме благодарностей и похвальных отзывов в отделе кадров да портрета в траурной рамке, выстав-

ленного внизу, в холле, Воронов ничего не нашел. Понапалу показалось, что Мамлеев был человеком, лишенным даже маленьких слабостей. Чемпион, как единодушно утверждали все, с кем Алексей переговорил, не курил, не пил, увлекался только наукой и спортом. И еще — об этом упоминали лишь намеками — дружил с сослуживицей Галиной Глушко, но ее вот уже второй день на работе не было. Воронов записал фамилию и адрес на случай, если она понадобится раньше понедельника, когда должна выйти на работу.

«Галина Глушко... Галина Глушко... Кстати, Мамлеев женат. У него дочь. И «подруга» на службе... Пожалуй, женатому человеку лучше искать себе друзей среди мужчин. — Воронов усмехнулся. — Холостякам, как я, еще можно себе позволить дружить с молодой женщиной. И то язвы Стуков сразу же придал знакомству такую огласку, что в пору и в засады идти».

В понедельник утром Воронова, едва он успел сесть за стол, отдал телефонный звонок.

— Кто это? — грубовато прозвучало в трубке.

Такая манера обращения бесила Воронова еще со студенческой скамьи.

— А это кто? — Он почувствовал, что на другом конце провода смущились.

— Мне бы товарища Воронова...

— Я вас слушаю. Здравствуйте, — любезно произнес Алексей.

— Здравствуйте, — буркнуло в трубке, — Прокофьев говорит.

Последние слова были произнесены таким тоном, словно вся планета должна была знать Прокофьев и угадывать его голос сразу. Воронов не смог отказать себе в удовольствии подразнить говорившего.

— Простите, который Прокофьев?

И Алексей увидел, как вошедший Стуков насмешливо покачал головой: мол, вот и ты язвой становишься!

— Тренер Прокофьев. Из «Локомотива». Я относительно Мамлеева хотел с вами поговорить.

— Очень хорошо. Как раз сегодня собирался побывать на «Локомотиве». Давайте условимся о встрече.

— Я тут случайно оказался рядом... Может быть, лучше к вам зайти? Готов сейчас, если дел у вас нет?

Последнее замечание обидело Воронова.

— Дел у нас всегда хватает, как вы знаете. Но коль случайно оказались рядом — заходите! — И Воронов назвал номер комнаты. — Пропуск я вам замажу.

— Настойчивый товарищ. — Стуков покачал головой. — Любопытно. Я тебе мешать не буду, если по присутствию?

— Напротив. Даже интересно, какое впечатление он произведет на тебя здесь, в управлении. Говоришь, во время оперативного выезда на стенд держалася скромно и замкнуто? Потом сравни.

Алексей узнал Прокофьева сразу, хотя сегодня он был в приличном костюме, а не в старых тренировочных брюках и рубашке на выпуск, как в прошлый раз.

«Вот тебе и случайно! Вранье — плохое начало для откровенного разговора...»

Белая рубашка с ярким галстуком, повязанным крупным узлом, отглаженные брюки и начищенные ботинки — все говорило о том, что человек заранее и тщательно готовился к встрече.

— Товарищ Прокофьев, прошу! — Воронов указал на стул. И от него не укрылось промелькнувшее в глазах Прокофьева явное разочарование, что инспектор слишком молод.



Алексей с любопытством смотрел на Прокофьевца. Странно, но на его лице не видно было злых следов тех пороков, которые приписывали ему. Живое, с такими же живыми глазами. Маленькие усники смешно дергались под носом, словно он все время что-то вынохивал. Пожалуй, только землистый цвет лица говорил о ненормальном образе жизни.

Усаживаясь, Прокофьев сказал:

— Жаль, не знаю, что это вы вчера у нас были. Остановили бы, поговорили...

— У вас хорошая память на лица,— попытался сделать комплимент Воронов, но Прокофьев его не принял.

— У стрелков это профессиональное. Глаз — как оптический прибор. Иначе на стенде и делать нечего.

Прокофьев внимательно огляделся, и снова тень разочарования пробежала по его лицу, когда он понял, что Стуков не собирается уходить.

Воронов объяснил:

— Это наш товарищ. Надеюсь, он разговору не помешает?

— У меня нет особых секретов.— Прокофьев глубоко вздохнул, словно собираясь нырнуть, и спросил: — Вы когда-нибудь ружье в руках держали?

— Положим, держал,— смущенно признался Воронов.

— И ладно. Тогда знать должны, что современное ружье, да еще такое, как «Меркель», от «здравствуйте, пожалуйста» не разорвается. С патронами научить что-нибудь — не такой Мамлеев человек. Брэгглив он был до патронов. «Звездочки» только в очень хорошем настроении стрелял. Обычно родоновский патрон предпочитал. Сколько бы ни стоило.

Воронов хотел задать какой-то вопрос, но Прокофьев остановил его грубоватым жестом. Маленькие усники под носом неестественно вздулись:

— Вы меня не перебивайте. Потом, если что, спросите. Хочу изложить все, что думаю. Уж там сами рассудите! — Прокофьев помолчал, как бы вспоминая непрописченную часть заученной роли. — Я говорить о Мамлееве могу долго, потому как он на моих руках в стрелка превратился. Прокофьев — это вам все скажут — и до сборной его довел. Потом он меня, правда, обидел... Очень. За две недели до поездки на игры другого тренера потребовал. Ну, да ладно! Вам об этом дед не мог не рассказать... — Прокофьев искаса взглянул на Воронова.

«Итак, Прокофьев и дед действительно недолюбливают друг друга. Дед об этом лишь мимоходом обмолвился, а Николай Николаевич уже считает, что все косточки его перемыты».

Прокофьев достал сигареты.

— Закурить у вас можно?

— Пожалуйста.

— И вы угощаетесь.

— Спасибо, не курю...

— Это по молодости. С годами пройдет. Лучше сигареты ничего душу не отведет. Даже добрая чарка водки.

— Неужто?

— Намекаете на то, что пью? Случается. На это тоже годы нужны, чтобы понять.

Прокофьев давил на молодость собеседника, прекрасно понимая, что это должно по меньшей мере раздражать Воронова. И Алексей не мог взять в толк, зачем Прокофьев нарочито вызывает к себе антипутию. А Прокофьев вел себя именно так.

— Должен вам сказать, что Мамлеев не умел жить с людьми, не умел и не хотел быть им благодарным за что-либо... Хотя о похониках и не принял говорить плохо... Что касается спорта, то стрелял знаменито. Не раз отмечали знатоки его школу, —

не без гордости произнес Прокофьев, сделав на jaki на слово «школа». — Не было ему равных на стенде. Потому и завистников — хоть отбавляй! Странный был парень, этот Александр Мамлеев. Я его за долгие годы так толком и не смог понять. Но одно скажу: не случайно происшествие на отборочных. Умысел здесь явный. Вот только чей? Это уже скорее по вашей части. Но во имя Сашкиной памяти... — Прокофьев вдруг пустил настоящую слезу.

Воронов опешил. Никак не взялась эта сентиментальность с грубоватым обликом Прокофьева.

«Неужели играет? — подумал Воронов. — Действительно, думает, что перед собой мальчишку видит, мол, все проглотит!»

— Николай Николаевич, в а вы знаете, что «Меркель» Мамлеева был в ремонте незадолго до отборочных?

По тому, как сник Прокофьев, как опустились его плачи и нервно задергался правый ус, Воронов понял, что он не мог нанести более сильного удара. Но вот только вовремя ли?

— Да, знаю, — глухо ответил Прокофьев.

— И имя мастера назвать можете?

— Могу. — Николай Николаевич помолчал. Потом поднял глаза на Воронова. В них было тупое безразличие. — «Меркель» Мамлеева чинил я...

4

**P**азговор с Прокофьевым затянулся. Николай Николаевич злился все больше. При его словах «набрали мальчишек» Воронов едва не сорвался. Чем бы закончился этот разговор, сказать трудно, если бы в ту минуту Алексей не взглянул на Стукова. Петр Петрович едва заметно склоняюще кивал головой.

— Да, неприятный человек! — только и сказал Алексей, когда за тренером из «Локомотива» закрылась дверь.

Стуков с наслаждением откинулся от стола, словно давно ждал подходящей минуты.

— У нас профессия такая — чаще с неприятными приходится сталкиваться! А вообще, инспектор Воронов, ты молодец. Что давить на него не стал — верно поступил. Только в руках себя держать надо...

— Ну, спасибо. Пожалуй, первые добрые слова в мой адрес от тебя слышу, — расчувствовался Воронов.

— Ну и языва ты...

— Что есть, то есть, — по-стуковски ткнул себя в грудь Воронов и рассмеялся, поддерживая игру. — А теперь, Петр Петрович, серьезно. Как?

— Ничего говорить не буду. Начинаешь правильно. Мягко. Не хочу своим мнением сковывать. Одно замечу: Прокофьев однажды, когда еще сам вступал, лежал в больнице после подобного случая. Прятался пошутить! Хорошо, все обошлось. Легким сотрясением мозга отдался.

— Откуда это известно?

Стуков развел руками:

— Секрет фирмы. Ну, уж ладно, открою... Знакомый случайно рассказал. Есть такой спортивный журналист Сергей Бочаров. Года два назад я это слышал, сейчас припомнилось. Правда, обязательно проверить нужно...

— Да, память у тебя, Петр Петрович...

— Что есть, то есть. Отнесись к делу как можно серьезнее. Опыта у тебя стало больше, вкус к работе появился, а это — главное. Если дело не такое, как мне кажется, все равно урок зря не пропадет. Начальство особых претензий иметь не будет — так несчастным случаем и останется.

Воронов открыл папку и вновь принялся просматривать собранные документы. Прежде всего попала вспомогательная справка о precedентах. Подобных происшествий зарегистрировано три, и все во время охоты. «Впрочем, статистические данные не являются доказательством в судебном разбирательстве» — вспомнил Воронов слова своего любимого профессора-правоведа.

Далее шла характеристика оружия, силовые динамометрические измерения, параметры деталей. Воронов пробежал колонки цифр белым взглядом. В первую очередь его интересовал ответ на вопрос: как сказался ремонт «Меркеля» на безопасности оружия? Вывод экспертизы разочаровывал: никак. Во время ремонта была произведена только регулировка бойка. Сборка ружья выполнена профессионально и очень тщательно.

Но следующая фраза в акте насторожила:

«Разрыв произошел по старому исходу медного винта, удаленного, судя по следам, незадолго до происшествия. Предполагаем, что винт держал у ложа какой-то специальный предмет прямоугольной формы. Возможно, пластины с дверственной надписью».

Неопределенность основного вывода экспертизы огорчила еще больше:

«Как показало обследование, в самом оружии следы одного или нескольких дефектов, которые бы могли послужить причиной, приведшей к разрыву, не обнаружены. Хотя невозможность восстановления первоначальной формы патронника и замковой части не исключает наличия конструктивного дефекта — заводского или внесенного позднее, — приведшего к летальному исходу».

Воронов отложил заключение, которое практически ничего не давало. Правда, если поразмыслить, оно в какой-то мере реабилитировало Прокофьеву, и появился «некто», державший оружие в руках позже тренера из «Локомотива». Этот «некто» (по словам Прокофьева, Глушко) даже удалял с оружия пластины.

Воронов накидал несколько вопросов, ответы на которые следовало найти как у Прокофьева, так и у специалистов по стендовой стрельбе. Он решил позовинуть в федеральную стрельбу.

— Пойдем-ка лучше пообедаем, — предложил Стуков, заглядывая в комнату. — Так и до голодного обморока доработаться можно.

— Что-то есть не хочется. Посижу. Авось, что на думают.

— Может случиться и такое. А я пойду. У меня от голода головные боли...

Когда Петр Петрович ушел, Воронов еще несколько минут посидел в раздумье. «Что дал смотр мesta происшествия и оружия? Гючи ничего. Да и кто мог предположить, что Мамлеев погибнет! А оружие...»

Черные вороненые стволы вертикальной посадки выглядели так, словно лишь вчера вышли из цехов завода. Только на месте патронника зияло рваное рыкоее вздущие. Ложе хранило также бурые пятна крови. Их не удаляли, поскольку они помогали сориентировать положение оружия в момент разрыва. Причиной смерти Мамлеева был продолговатый осколок. Он попал в глаз и прошел в мозговую полость. Именно поэтому все попытки спасти Мамлеева ни к чему не привели. Две долгие операции подряд делал главный хирург городской больницы Андрей Семенович Савельев...

Алексей вспомнил прошлогоднюю охоту в одном из подмосковных охотохозяйств, когда ему довелось впервые взять в руки «Меркель». Ружье «сидело», словно влитое. Воронов, несмотря на непреложное

правило не играть с оружием в помещении, даже сделал несколько вскидок.

Это воспоминание о «Меркеле» заставило Воронова подозрительно уверовать, что дело не в оружии. Предубеждение всегда плохо. Воронов понимал это, но ничего с собой поделать не мог.

Алексей терпеливо дождался конца тренировки Вишняка. Приняв душ, тот вышел разгоряченный, в приподнятом настроении, но совсем растерялся, когда Воронов представился ему.

— Скажите, товарищ Воронов, я еще не арестован? — спросил он, шуткой стараясь скрыть смущение.

— Пока нет, иначе вам пришлось бы называть меня «гражданином Воронов»...

— Отлично. Не сможете ли вы меня тогда уважить? Давайте поедем ко мне домой, там обо всем спокойно и поговорим. Жена должна быть сегодня дома — может, что-нибудь соорудит на сковороду руку.

Когда они вдвоем выходили со стрельбища, им навстречу попался Прокофьев. Воронов переватил настороженный взгляд Вишняка — как инспектор прореагирует на встречу с Прокофьевым? Эта деталь показалась Воронову интересной, но он не подал вида, и Вишняк как-то успокоенно засягал дальше. Они подошли к зеленой «Волге».

— Старенькая уже: двести тысяч скоро накатаю. Сыплется помаленьку. Надо бы новую, да пороху не хватает, — поплакался Вишняк, открывая дверцы.

— Стрелять меньше надо, вот порох и останется, — сопричеслился Воронов.

— В нашем деле как раз наоборот, — отпарировал Вишняк.

Пока они ехали, Воронов наблюдал за Вишняком. Тот вел машину спокойно и решительно. Чувствовалась не только водительский опыт, но и точный профессиональный глаз. Вишняк почти не пользовался тормозами. Находя лазейки в потоке машин, он проскальзывал по инерции к перекрестку именно в тот момент, когда давали зеленый свет.

Жены дома не оказалось. И по тому, как недовольно передернулось лицо Вишняка, Алексей сделал вывод, что в этом доме далеко не мирная супружеская жизнь. Вишняк нервно ходил по комнате, не зная, за что взяться, чем-то долго гремел на кухне и наконец появился с открытой бутылкой сухого вина и двумя стаканами.

— Предлагаю смыть разговор. Или, согласно... — Он хотел, видно, что-то сказать о службе Воронова, но Алексей перебил его:

— Ради первого знакомства даже нужно. Если есть опасение, что «сухой» разговор получится. Алексей испытывающее посмотрел на хозяина, но тот спокойно выдержал взгляд и миролюбиво сказал:

— Опасений никаких нет.

Он не успел наполнить стаканы, как входная дверь с шумом хлопнула, и в комнату вошла маленькая, хрупкая женщина с большими, казалось, во все лицо, влажными карими глазами. Они недобро вскинулись на Воронова, но слова были обращены как к нему, так и к мужу.

— Пейте! Прямо с утра?

Вишняк смущенно потер руки. И не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Выпьешь с нами, Светлана? Это, познакомься, — спохватился он и закончил какой-то странной, неук-

люжей фразой: — Следователь по истории с Александром...

Слово «следователь» произвело на Светлану впечатление какой-то нависающей опасности. Она даже шарахнулась к мужу.

— Солнышко, сооруди что-нибудь из закуски. — Вишняк назвал Светлану ласковым, очевидно, принятым в этом доме прозвищем, по мнению Воронова, плохо взависившимся с отношениями супругов.

Светлана, извинившись, ушла на кухню и через минуту принесла две тарелки с крупно нарезанным сыром и колбасой, которые она, очевидно, только что принесла из магазина. Сочная миссия гостеприимной хозяйки выполненной, она с ногами забралась на диван.

Приступление жены Вишняка при разговоре совершенно не устраивало Воронова, но он счел нетактичным дать это понять, хотя весь смысл призыва домой для откровенного, доверительного разговора сразу терялся.

— Что вы думаете обо всем этом? — Вишняк упречно не хотел произносить слово «смерть».

Воронов неопределенно покалал плечами.

— Не знаю. Я мало знаком с сопутствующими обстоятельствами, если такие имеются и связаны с делом...

— А уже есть «дело» или это только ваша терминология? — опять первым спросил Вишняк.

— Если все время будете спрашивать вы, — засмеялся Воронов, — то я так ничего нового и не узнаю.

Вишняк смущенно пробормотал:

— Да, да, конечно. Извините. Я готов ответить на все ваши вопросы.

— А вот первый... Что вы лично думаете обо всем этом? — Воронов воспользовался формулировкой Вишняка.

— Откровенно говоря, — Вишняк поднял свой стакан, но снова поставил на столик, — я тоже не могу ничего понять. С одной стороны, спортсмен такого класса, как Мамлеев, не может сделать глупости. Тем более Александр был огорожен до подозрительности. Стрелял он из «Меркеля», хорошо знакомого и обстрелянного. Думаю, сама фирма — достаточная гарантия, что брак в производстве сушки исключен. Да почему именно в этот раз? — несколько наивно спросил самого себя Вишняк. — Может быть, чужой патрон? — Вишняк испытующе взглянул на Воронова.

Алексей как бы мимоходом спросил:

— А вы хорошо знаете мамлеевское ружье?

— Я знаю эту систему. У меня у самого два «бака». Он хотел встать, очевидно, затем, чтобы принести оружие, но Воронов остановил его.

— Вам никогда не приходилось держать в руках мамлеевский «Меркель»?

Вишняк обменялся с женой быстрым испуганным взглядом, и, слегка покраснев, поспешно ответил:

— Нет, нет... Мы с ним были не в лучших отношениях. Хотя когда-то...

Светлана мягко перебила мужа:

— Ну, это, наверно, к делу не относится.

Вишняк потупился. Воронов с огорчением подумал, что жена еще не раз испортит разговор.

— Остается одно: чужой патрон, — повторил Вишняк. — Но Мамлеев ни с кем практически не дружил. И как я уже говорил, был человеком осторожным, подозревающим, что все ему страшно завидуют и только думают, как бы насолить. Он никого не подпускал к зарядам и никому не давал своих патронов. Даже в долг. А патроны, которыми он стрелял, первейшего качества и свежие...

— Откуда вы знаете? — быстро спросил Воронов.

Вишняк смущился.

— Дело в том, что мы оба стреляли патронами одной и той же фирмы «Родони»...

Воронов посмотрел на Вишняка.

«Он же не может не понимать, что такое признание делает его человеком, на которого в первую очередь должно лежать подозрение. Или это опять-таки стремление увести разговор от оружия? Рисканный способ отвлечения...»

Вишняк как бы угадал мысли Воронова.

— Я понимаю, мне придется теперь многое объяснять. Но я был уверен, что рано или поздно вы узнаете об этом. И тогда будет хуже...

— А что может быть хуже?

Вишняк неопределенно покалал плечами.

Его жена протянула руку и взяла с маленького столика пачку сигарет. Никому не предлагая, она резким щелчком ловко выбила сигарету из пачки и торопливо закурила.

— У вас случайно не осталось патронов из той серии? — спросил Воронов.

— Сегодня я дострелял последние... Все, кроме одного. Не знаю, почему, но один оставил.

Он полез в задний карман брюк и достал сверкающий зеленый цилиндр. Воронов взял патрон, а Вишняк как-то облегченно вздохнул.

Это была красавица штучка с высоким ярко-медным цоколем и сверкающей пластиковой рабашкой. По ней шли цветные кольца олимпийской эмблемы и витиеватая, но разборчивая надпись «Родони». Воронову никогда не приходилось видеть подобные патроны. Несколько раз он брал на охоту нашу стендовую «звездочку», которую ему доставали приятели, и помнил, какое получал удовольствие от стрельбы стендовым патроном. «Звездочка» была сильнее, суще, чем охротчики патроны обычной закатки.

— Откуда вы берете боеприпасы? — Воронов поставил патрон на стол, слегка подвинул его, как шахматную фигуру, в сторону Вишняка.

— Когда как... В основном снабжает общество. Это чаще всего наша «звездочка». На сбоях патроны дают Спортомките. Нередко зарубежные фирмы присыпают большие рекламные партии боеприпасов. Вот как эти. Родони — хитрый, деловой человек. Он знает: тот, кто стреляет его патронами, привыкает к ним и другим стрелять уже не может. У него очень сухой патрон со специальным пластмассовым пыжом. Странно, что в этот раз он прислал патроны с гляхими гильзами. Обычно приходили с прозрачными. Любопытно смотреть, сколько чего набито в гильзу.

— А какой путь проходят патроны, прежде чем попадают в ваши руки?

— Обычный. Комитет получает письмо и посылку. Иногда привозят некто Каради, дальний родственник и поверенный Родони. В письме указаны фамилии наших известных стрелков. Моя и Мамлеева, как правило, всегда в списке. Родони — первоклассный стрелок, номер один в Италии. На прошлой олимпиаде Родони был третьим. За американцем и Мамлеевым. Американец перестал выступать, а Александри... — Вишняк запнулся. — Так что по старой раскладке Родони уже выиграл олимпийские игры. Хотя еще посмотрим... — Вишняк упрямо поджал губы. — Он хорошо знает, на сколько хватает такой партии, и редко опаздывает с очередной. Как-то он признался, что мечтает о времени, когда на играх будут стрелять только его патронами. И он этого добьется.

— Кто же теперь поедет в нашей сборной? — спросил Воронов, прекрасно понимая, каков будет ответ.

Вишняк покосился на него; вопрос показался по меньшей мере наивным.

— Точно пока только я. Кто номером вторым и в запасе, федерация решит. В первенстве страны практически отстрелял Мельников, но на отборочных выступил плохо. Подумали, что болен. Жалко Александра — он и в этом году был бы выше всех.

— Скажите, Валерий Михайлович, а можно практические перезаездить патрон, чтобы внимательный стрелок, скажем, каким был Мамлеев, не заметил?

— Никогда не пробовал... — Вишняк опять смущился. — Но думаю, что опытный стрелок всегда отличит заводскую закатку от ручной. Мы чувствуем патрон нервами. Кажется, ощущаем на твердость. Обычно перед стрельбой патроны так внимательно осматриваешь, что... Нет, пожалуй, исключиено. Впрочем, ведь когда-то, говорят, подобную шутку сыграли с Прокофьевым. Тот даже лежал в больнице. Можете спросить у всех, кто выступил с Прокофьевым в одной команде. Шумное было дело. С своих сняли звание мастеров спорта. Потом, правда, когда все обошлось, простили.

— А что произошло между Мамлеевым и Прокофьевым?

— Мамлеев перед самыми играми потребовал себе нового тренера. Когда уже было ясно, что он и, естественно, его тренер едут на игры. Это по-человечески нечестоплотно. Но, если рассуждать по-деловому, поступил Александр правильно. Прокофьев перестал работать, только похвасывая да пил. И пил запойно. Мамлеев — фанатик, человек кругой и аскетичный. Ему надобно терпеть...

Пока они говорили, по лицу Светланы было видно, что мыслиами она сейчас далека. Воронову очень хотелось узнать, о чем она думает.

— Вы исключаете участие самого Мамлеева в подготовке инцидента? Не самоубийство, потому как форма, прямо скажем, довольно странная, а желание сговориться что-то — не получилось и закончилось вот так трагически?

Вишняк задумался.

— Не представляю себе, зачем ему могли бы понадобиться какие-то шуточки. Он не был охоч до развлечений. Да и отборочные соревнования — не подходящее время.

— Ну, а кто мог пошутить так же, как когда-то с Прокофьевым?

— Сложный вопрос. Ответ слишком дорого стоит. Так ведь невинного человека под монастырь подвести можно.

— Зачем же невинного? Затем и разбираемся, чтобы наказать виноватого.

— Не представляю. Одно знаю твердо — не я!

— Твердо? — попытался пошутить Воронов.

Вишняк насупился.

— Твердо. Тверже некуда.

— Не обижайтесь, Валерий Михайлович, я пошутил...

— В вашем положении шутить легче...

Алексей уже покалел, что сорвался на никемную шутку, и, чтобы хоть как-то загладить неловкость, спросил:

— Кто еще стрелял в тот день такими патронами?

Прежде чем ответить, Вишняк потянулся к жене, взял у нее изо рта сигарету и, затянувшись, сказал:

— Только он и я. Во всяком случае, патроны были переданы мне и Мамлееву лично.

— Кем?

— Иосиком. Есть у нас на «Локомотиве» такой жучок, «Интеллигентом» его еще кличут. Фамилии, по правде говоря, не знаю. А увидеть его можно часто. Он патронами промышляет.

— Как промышляет?

— Обыкновенно. У кого-нибудь купит, или выпросит пачку, или еще что. — Вишняк опять смущился.

Потом любителям, чаще всего именитым охотникам, продаёт втихомодо. У таких деньги есть, почему бы и не заплатить?!

Воронов записал имя и кличку Иосика.

— Как бы с ним встретиться?

— На «Локомотив» приедете, могу познакомить...

— Да, пожалуйста. Кстати, а как патроны попали к Иосику?

— Он знаком с Карди. И тот просил его передать. За комиссию, конечно, по пачке он с нас взял. А может, что и присвоил. Проверить негде.

— Значит, такие патроны могли оказаться еще только у Иосика?

— Да. Но он человек от стрельбы далекий. Коммерсант! Не думайте, чтобы имел какое-то касательство. К тому же он с Мамлеевым был в добрых отношениях.

Светлана встала.

— Вы меня простите, но мне надо в училище. Валерий, я возьму машину!

— Ключи в прихожей на серванте...

Воронов вдруг встал и начал прощаться.

— Пожалуй, и я пойду. Спасибо за вино и беседу

Думала, мы еще поговорим.

— Очевидно, — без всякого энтузиазма согласился Вишняк. — Может, Светлана вас подбросит? Солнышко, у тебя найдется свободная минутка?

Светлана передвигалась в соседней комнате и отвела не сразу:

— А куда надо?

Воронов назвал улицу.

— Конечно, это рядом с моим училищем.

Попроцавшись с Вишняком, Алексей договорился встретиться на «Локомотиве». Вишняк обещал позвонить сразу, как только появится Иосик, и свести его с Вороновым как с новым клиентом.

6

Светлана вела машину более нервно, чем муж. Если кто-то из водителей других машин, по ее мнению, ехал недостаточно быстро, она ворчала: «У, участник проклятый! Насажали за руль черепах!»

Она неожиданно затормозила у большой стоянки возле универмага и, поставив машину на свободное место, на недоуменный вопрос Воронова: «Приехали?» — ответила:

— В каком-то смысле, да. Вы меня простите, но я решила поговорить с вами без Валерия. Мне показалось, что у вас сложилось несколько превратное мнение о нашей семье. Мне бы этого не хотелось. — Последние слова она произнесла механически, словно для проформы.

— Вы же опаздываете в училище?

— Не совсем. Первый урок у меня свободен — просто нужен был повод выйти из дома.

Она достала сигареты и закурила.

Только сейчас Алексей рассмотрел ее как следует. Дома присутствие Светланы настолько раздражало Воронова, что он старался не обращать на нее внимания, чтобы не отвлекаться от разговора с Вишняком. А теперь он увидел красивую женщину лет тридцати с правильными чертами лица и с огромными карими глазами, придававшими лицу необыкновенную прелест. Одета она была в дорогой модный костюм, который носила с подчеркнутой небрежностью.

— Мы же — уже восемь лет, — сказала Светлана. — Пусть вас не удивляет, что я начала так изда-

лека. Тому своя причина. Еще в институте Валерий и Александр считались друзьями. Разлад в их дружбе начался с меня. — Она взглянула на Воронова, как бы проверяя, достаточно ли внимательно он ее слушает и какое впечатление произвело столь сенсационное сообщение. — Сложился, увы, пресловутый треугольник. Сами понимаете, мне выбрать оказалось нелегко. Да я, честно говоря, и сейчас не знаю, почему я с Валерием. Знаю только одно — это не было ошибкой. Жить с Валерием трудно, но с Мамлеевым, по-моему, было бы еще хуже. А что касается нашего сегодняшнего положения в семье, так это на другой почве. Может быть, я просто устала... Вы музыкой интересуетесь? — вдруг спросила Светлана.

— Как сказать? Постольку-поскольку. Ходил иногда в филармонию... Но меломаном не был никогда.

— Имя Светланы. Бездомной вам чичего не говори?

— Кажется, скрипачка была такая. Но как-то быстро сгорела...

— Вот именно. И это сгорела я. Потому как Бездомная — моя девичья фамилия. Говорили, у меня талант. Я действительно выиграла два международных конкурса. Но потом замужество... Все вокруг твердили, что тамтаки в нашей семье только Валерий, что место жены... В общем, все то, что бывает, когда в семье находится хотя бы один незаурядный мужчина! — Светлана махнула рукой.

Ни в жесте ни в слогах Алексей не почувствовал горечи или боли. Было ясно, что и горечь и боль ушли в прошлое. Светлана глубоко затянулась сигаретой.

— Я рассказываю это, чтобы вы не придумали бог весть что, так бегло познакомившись с нашей семьей. Валерий — глубоко порядочный человек. В самые трудные минуты наших взаимоотношений он не допустил ни малейшей подлости. А у меня, знаете, выпадают минуты, когда я готова такое сделать... — Она посмотрела на Алексея и виновато улынулась, как бы прося прощения за столь откровенное и неприятное признание.

— Понимаю, — Алексей сидел неподвижно, хотя затекла спина, лишь изредка кивал головой, — боялся помешать желанию Светланы излиять душу.

— Его отношение к Александру было сложным. Валерий ненавидел Мамлеева и любил одновременно. Вы скажете — баскская мистика? Нет. Он любил Александра из чисто эгоистических соображений. Мамлеев служил для него катализатором; в бесконечном состязании с ним Валерий рос и сам.

— Но ведь в конце концов когда-то захочется и утвердиться в своем росте! — вопреки собственно му желанию молчали спросил Алексей. — И, как вы говорите, бывают минуты, когда хороши все средства...

Глаза Светланы испуганно сузились, но она сдержалась и надменно сказала:

— Мамлеев для мужа — как опий. Понимаете? Известно, что вредно, но силы отделяться от дурной привычки нет! Однако мое мнение для вас совершенно не обязательно. Хотелось, чтобы вы не терзали Валерия напрасными подозрениями...

— Я его не подозреваю, — попытался смягчить обстановку Алексей.

Но ничего не вышло. Ниточка, на которой держалось взаимопонимание, оборвалась. Светлана почти враждебно взглянула на Воронова:

— Так будете подозревать!

Резко повернувшись на сиденье, она включила стартер, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Воронову ничего не осталось, как попрощаться. Машина сорвалась с места и исчезла в переулке.

Боронов обычно не ходил на похороны. Особое отношение к этой процедуре выработалось у него еще с детства, с того самого дня, когда хоронили отца. Хотя мальчишка тогда еще не мог, наверное, осмыслять всю горечь похоронных дел. Позднее, сотни раз мысленно переживая те тяжелые дни — подробности в памяти, разумеется, стерлись, — он видел лишь, как в тумане, мужиков с лопатами, торговавшихся с матерью: «Пятерку из рук выпустить боишься?! Аль каждый день муж зашибается!» Помнил скандал, возникший уже возле могилы, куда никак не хотели входить гроб, ибо пьяные могильщики выкопали могилу не по размеру — короче. И опять слова того же мужика: «Да ты, баба, не беспокойся, мы сейчас с одной стороны подрем и бочком запихнем твой ящик-то».

Алексей решил на мамлеевские похороны не ходить. Не неожиданно Стуков, с которым он поделился своими планами, не поддержал.

— Зря. — Петр Петрович потер свой лбице и убедленно повторил: — Зря. Абстрактное мышление хорошо, но еще лучше, если оно опирается на конкретные впечатления. Пока для тебя Мамлеев нечто среднее арифметическое, и это не облегчает работу.

— Не могу, Петр Петрович. — Алексей начал было рассказывать о похоронах отца.

Но Стуков перебил:

— Брось. Не к девчонке ведь идешь на свидание. Наша работа слишком часто требует оставлять свои эмоции при себе. Впрочем, как знаешь, но мой тебе совет — сходи... Хочешь, пойдем вместе.

Воронов понимал справедливость доводов Стукова, но не хотелось так сразу сдаваться, и он ухватился за последнюю фразу:

Вдвоем — другое дело.

Наутро они подошли к зданию клуба «Динамо», когда гражданская панихида уже началась; у входа толпились люди, вносили и выносили венки, шли женщины в черном.

От дверей по длинным холлам рядами стояли мягкие кресла, образуя траурные коридоры. Черные муаровые ленты перегораживали боковые галереи. Коридор обрывался в малом борцовском зале. Протяжка входа на невысоком постаменте возвышалась гроб с телом Мамлеева. Остальное пространство — во всяком случае, у Воронова сложилось такое впечатление — было занято цветами. В ногах покойного на бархатных подушках сверкали спортивные награды всех рангов и достоинств.

Стуков наклонился к Алексею и тихо сказал:

— Вот, пожалуй, тот самый случай, когда невозможно установить, насколько в действительности был популярен человек, но определить на похоронах число друзей, по-моему, еще сложнее.

Воронов кивнул в глубину зала.

— Посмотри, кто становится в почетный караул...

Это ведь Кофрофеев...

— А я знаю второго справа. Это Сергей Бочаров.

Журналист, о котором тебе рассказывал...

Только сейчас они обратили внимание на небольшую скамейку, поставленную на возвышении в боковой нише. На ней сидела женщина в черном. Сидела молча, неподвижно. Изредка, когда кто-либо из вновь пришедших подходил к букетом цветов и наклонялся сказать женщине несколько слов, женщина в ответ лишь вдохнула губами.

За ее спиной — Воронов сразу даже не разобрал — стоял Мельников.

Вишняк остался внизу.

Размеренно и скучно текла процедура прощания.

— Да,— протянул Стуков,— иногда только после смерти человека обнаруживается, как много людей его любят. Всюю Прохорову. Так стоять можно лишь у гроба очень дорогого человека...

— Я ему не верю. Играет. И играет здорово.

— Верши не веришь, а впечатление производят правдоподобное.

— Я хочу взглянуть на лицо Мамлеева,— вдруг сказал Алексей.— Как-то по фотографиям очень плохо себе представляю его в жизни...

Он подошел к гробу.

Прохоров, сменившийся в карауле, исчез из зала через боковую дверь. Правда, кивнув Воронову на-последок.

Алексей долго стоял, всматриваясь в лицо Мамлеева. Его нельзя было назвать даже симпатичным. Невысокий угловатый лоб. Остренький нос, вызывающе задиристый, смотрел вверх, выступая над тяжелыми, костистыми скулами.

Воронов вернулся к Стукову с каким-то смешанным чувством разочарования и смутной тревоги.

— Ох, не нравится мне вся эта игра Прохорова! Уж больно он трагичен у гроба. Не верю, что хочешь говори, не верю я ему...

## 8

**Н**а следующий день вечером Воронов отправился к Мамлеевым. Дверь открыла аккуратно причесанная женщина опрятном, накрашенном переднике. Белоокурные волосы были уложены небольшим пучком высоко на затылке, что делало ее старше своих лет. Воронов без труда узнал женшину, сидевшую вчера в черном платье на скамейке в нише.

Юлия Борисовна держалась просто и спокойно, словно беда, обрушившаяся на ее семью, давно отшумела и даже не осталось воспоминаний о ней. Хозяйка пригласила Воронова в комнату. Они сели друг против друга за круглый стол. Разговор не клеился. Юлия Борисовна начала заметно нервничать. Впрочем, ее можно было понять: в доме такое несчастье.

— Что вас интересует? — наконец, спросила она.— Или вы хотите, чтобы рассказывала я? Но о чём? Было так много всяких! Не знаешь, что было важным, а что мимолетным, сиюминутным...

— Зачем же рассказывать все? Хотя, не скрою, мне бы хотелось знать как можно больше не из простого любопытства. Признаюсь честно, моя работа находится на таком этапе, что любая деталь может стать важной. Но кто определит ее ценность сейчас?

— Да, это верно. Мы немало лет прожили с Александром, но, пожалуй, лишь сейчас, после его смерти, я начала понимать многое. Отнюдь не закрываю глаза на сложности, что были в нашей жизни. Их, как во всякой семье, хватало. За последние годы у нас было так много ссор и так мало взаимопонимания, что мы стали почти чужими людьми. Мы не скрывали, что живем под одной крышей только ради Аленки.

Она продолжала говорить, внимательно вслушиваясь в слова. Воронов представил, как трудно жили эти два человека, умев, наверное, слушать лишь себя.

— Думаю, земля мало видела фанатиков, подобных Александру. Он знал лишь работу. И не признавал ничего иного. В его понятие «работа» входила не только кандидатская, ставшая в нашем даме сущим проклятием, но и стрельба... Для меня муж-

чина, занимающийся подобной ерундой,— умом не выше мальчишки, стреляющего из рогатки по воробьям. Попытала: с годами пройдет. Да вот не случилось...

— Вы были когда-нибудь на стенде? — Воронов попытала хотя бы косвенно защитить Мамлеева.

— Нет. И теперь, к счастью, никогда не пойду.

— Напрасно. Я сам до того, как начал заниматься стрельбой...

Но Юлия Борисовна не дала Воронову закончить мысль:

— Была у вас лучшего мнения. Но хватит о стрельбе! Для меня, наконец, законился кошмар с этим идиотским времяпрепровождением...

Воронов обратил внимание, что Юлия Борисовна никак не хочет назвать стрельбу спортом.

— Надеюсь, вы меня поймете. Это проклятое занятие не только разрушило нашу семью, но и лишило теперь Аленку отца.

— Мне кажется, Юлия Борисовна, что вы сейчас не совсем спротивились...

— Не беспокойтесь. Я не намерена оскорблять память Александра. Себя уже давно похоронила заново. А мне так хотелось жить. Я устала...

— Странно... Воронов грустно улыбнулся.— Сосвем недавно жена еще одного видного стрелка говорила мне нечто подобное...

— Знаю. Великая скрипачка! Непризнанный гений! Ко мне ее трагедийные вопли не относятся. Я не гений и не чувствую себя ущемленной непризнанием. Просто я обыкновенная, примитивная баба и хотела жить нормально, по-человечески, с театрами и гостями, со спокойствием в доме и достатком. Взамен получила вечное одиночество, постоянные тревоги за мужа. И, как видите, не напрасные! Это было предчувствие, если хотите. Не знала когда, не знала как, но знала: кончится все плохо... Этот Мельников, или—как они его все называют—Моцарт, и ему подобные, вечная спешка, постоянный страх перед возможным промахом, от которого Александра еще за неделю до соревнований тряслась так, будто вместе с промахом наступит конец света...— Несмотря на резкость слов, которые произносила Юлия Борисовна, она говорила без злобы, устало и вполголоса.— Потом деньги... Дочь оставалась без осенних сапог, а он уносил из дома последнюю десятку, скучая какие-то, по его мнению, фантастические сухие патроны. Ежедневные звонки с предложением обменять то боеприпасы на оружие, то наоборот. Полупьяные ружейные мастера, конфликты с тренерами... Александр напоминал скорый поезд, в котором — увы! — не было ни одного места, отведенного для меня... И в день несчастья он с утра куда-то носился и с кем-то о чём-то договаривался.

Воронов насторожился.

— Юлия Борисовна, а не помните, с кем и о чём?

— Мне уже давно надоели прислушиваться к его телефонным переговорам.

Воронов понял, что с Юлией Борисовной, пока она в таком состоянии, говорить не только бесполезно, но и опасно. О чём ни зайдет речь, заканчиваться она будет упреками в адрес Александра. Такая предвзятость информации — весьма и весьма неожиданная для Воронова — его совершенно не устраивала. Но упоминание об утреннем звонке и встрече с кем-то заставило Алексея остаться.

— Хоть какие-то детали того утреннего разговора вы не смогли бы вспомнить?

— Нет.— Юлия Борисовна даже не задумалась.— Помню одно: он с кем-то договаривался встретиться...

— Ну, а когда и на сколько он ушел?

— Вот это помню точно. У меня подгорали котлы и пришлось дважды разогревать картошку. Его не было с девяти утра до десяти... Как раз закончилась передача для женщин, и он вошел...

— Александр был в хорошем настроении?

— Уже из недели до съезжаний он ходил чертом, и ни о каком хорошем настроении говорить не приходится.

«Похоже, что это у нее маниакальное. Или со временем пройдет, или останется навсегда. Впрочем, будь она как-то причастна к смерти мужа, вряд ли вела бы себя так агрессивно. Скорее прикинулась бы любящей супругой».

От Юлии Борисовны Воронов уходил с чувством неудовлетворенности и горьким осадком. Уже в дверях он остановился и спросил:

— Скажите, Юлия Борисовна, как вы узнали, что с Александром произошло несчастье?

— Мне позвонил со стрельбища Моцарт. Он бормотал что-то упсокаивающее, но, верите, я сразу поняла, что случилось непоправимое.

— Что сказал Мельников?

— Моцарт был испуган. Сказал: произошла не- приятность с оружием, и Александра отправили в больницу. Я не успела спросить, в какую, нас разъединили. Он позвонил вновь через полчаса, которые показались мне вечностью. Когда я приехала по указанному адресу в больницу, Моцарт был уже там. С ним мы прошли в зал операционной до того самого момента, когда вышел профессор и сказал...

## 9

Вернувшись от Юлии Борисовны, Воронов долго не мог сосредоточиться и осмыслять все то, что узнал в квартире Мамлеева. Стукова на месте не оказалось, и посоветоваться было не с кем.

Осталось только одно — последовать совету Стукова и взяться за перо. Тот часто любил повторять, что следователь, который не умеет писать и тем самым дисциплинировать свою мысль, не следователь. И добавлял: инспекторов это касается также.

Закрывшись в свободном кабинете и отключив дежурный телефон, он за два часа набросал приблизительную картину того, как начался для Мамлеева роковой день.

Вот что получилось:

«В то утро Александр встал как никогда рано...

Привыкнув работать над книгами далеко за полночь, он обычно просыпался тяжело. Пользуясь благосклонным отношением руководства института, Мамлеев нередко прихватывал утренние часы для сна под видом очередной тренировки. Работать продуктивно с утра он не мог, хотя и сознавал всю повторность ночных бедений. Следовательно, из постели в день происшествия его подняли какие-то особые обстоятельства. То ли нервное возбуждение перед съезжаниями, то ли иные причины.

Итак, Мамлеев встал раньше жены. Судя по словам Юлии Борисовны, она застала мужа уже в кухне. На столе дымился кофе и лежала свежевычищенная пара смешных столовых к «Меркелью». Александр сидел, зажав руки между колен и уставившись в пол, не ответил жене на утреннее приветствие, встал и ушел в комнату. Через полумгнувшую дверь Юлия Борисовна видела, как муж лег на диван и закрыл глаза. Она даже спросила Александра, когда он будет завтракать, чтобы проверить, не спит ли он. Муж пробормотал в ответ что-то незвездное. И обозленная Юлия Борисовна с грохотом поставила на плиту алюминиевую сковородку.

Александр медленно, будто нехотя, принялся собирать большую белую сумку «адидас». Сложил туда все, что обычно брал с собой на соревнования. (Эта сумка стоит у меня под столом. Разобравшись в сумке и ознакомившись с вещами Мамлеева, я, может быть, найду кое-что интересное. По крайней мере смогу определить время, которое потребовалось Мамлееву, чтобы нагрузить сумку.) Когда Юлия Борисовна вошла в комнату, чтобы пригласить мужа к завтраку, Александр разговаривал по телефону. Сумка стояла открытой, он, очевидно, не успел ее собрать до конца. Помешал телефонный звонок.

Быстро одевшись, он вышел. Было около девяти часов утра. Далее, до десяти часов, в хронологии утренних событий у меня самое большое и самое перспективное с точки зрения хода расследования белое пятно. Вернулся Мамлеев с окончанием передачи для женщин. Юлия Борисовна не видела, как он прошел комнату, но слышала, как захлопнула «молния» сумки. Или он что-то туда еще положил, или просто закрыл. Пройдя на кухню, молча сел на перекарренную картошку. К мясу не притронулся. Часы показывали четверть одиннадцатого или около того. Мамлеев отправился на стенд, чтобы оттуда уже не вернуться домой никогда...

Итак, выводы.

Линия оружия. Малоперспективная. Пока рассматривается в ней только Прокофьев. Где-то за его спиной маячит Галина Глушко.

Линия патронов. Возможен опять-таки Прокофьев. И некто Иосик.

И вот теперь: что делал Мамлеев с девяти до десяти утра в день соревнований? Может быть, здесь и выявится главное направление?

Дважды прочитав написанное, Воронов поставил на стол большую белую сумку «адидас» и сел в кресло. Ему хотелось угадать, что мог взять в тот последний день Александр Мамлеев, отправляясь на стенд. И вдруг Воронов подумал, что игра кощунственна и бессмыслизна: воображение рисовало какой-то нелепый наряд — смесь вечерней пары и рабочего комбинезона.

Воронов встал, рывком открыл «молнию» и начал энергично раскладывать вещи на столе. Первое, на что он обратил внимание, — не было ни одного патрона. Но ведь Мамлеев не дострелял даже первую серию?

Воронов поднял куртку и, как при обыске, прошелся ладонью по бортам. В маленьком боковом кармане обнаружил небольшой кусок картона с номе-ром. Это был мамлеевский стартовый номер. Темно-синяя «семерка» на голубом фоне. «На Руси семерка обычно считалась счастливым числом...»

В карманах брюк оказались две тщательно скоженные бумажки. Воронов отодвинул их, не раскрывая. Только сейчас он заметил пятна на правом плече куртки. Они шли по воротнику и лацкану. На темно-зеленой ткани пятна простирались нечетко, словно их пытались стереть. Серая рубашка с круглым высоким воротником, которую, похоже, Мамлеев надевал только на стендне под куртку, была вся изукрашена потеками. Они засохли, и на одном из пятен прилип маленький кусочек ореховой древесины — осколок разбитого ложа. Брюки, лежавшие в сумке комом, смялись, и Воронов с трудом представил, как выглядели они на цголоватом и педантичном Мамлееве. Небольшая финская шапочка с длинным полукруглым козырьком была совершенно чиста. Носки настяно сунуты в высокие охотничьи ботинки на рифленой подошве.

Воронов снова заглянул в сумку и только тут обратил внимание на боковой карман, из которого



торчал уголок ярко-зеленого картона. Оказалось, четыре сплющенные коробки из-под патронов. Алексей узнал витиеватую надпись «Родония», какую видел на патроне Вишняка.

«Итак, у Мамлеева было с собой по меньшей мере четыре новых пачки «Родония». Допустим, распечатывал он их уже на стенде. Иначе как понять, куда делись другие коробки: ведь стендовик берет с собой не менее двадцати пятидесяти патронов — две серии по сто и, возможно, придется производить дополнительную перестрелку. Итого у Александра, как минимум, должно быть восемь пачек «Родония». Но это означает, что в сумке до того, как ее изъяла оперативная группа, побывали чьи-то руки».

Воронов позвонил в больницу. Долго и безнадежно пытался выяснить, кто из врачей и сестер принимал Мамлеева, как и откуда появились у них вещи пострадавшего. Но по всем хозяйственным вопросам Воронова неизменно отсыпало к какой-то старой и добряй нянечке, которая никак не могла взять в толк, что от нее хотят. Пришлось ехать в больницу.

В приемном покое старшая сестра, пожилая и спокойная женщина, ответила на его вопрос:

— Здесь записано, что вещи сдал больницу товарищ Мельников. Вот и его подпись под актом о принятии.

«А что это, собственно, дает? — думал Воронов, возвращаясь к себе. — Ведь Мельников, он же Моцарт, даже по мнению Юлии Борисовны, был добрым другом Александра. Впрочем, Прокофьев настаивает, что у Мамлеева не было друзей. Но, очевидно, у каждого свои понятия о дружбе. Моцарт вел себя достойно: позвонил жене со стенда, приехал в больницу, собрал и сдал вещи. А почему же он не отвез их прямо домой? Не было времени или...»

## 10

**М**ельникова Воронов нашел на стенде «Локомотива» в тот же день. Был обеденный час. Не слышалось выстрелов. Не видно было людей. Стенд напоминал покинутую игровую площадку детского сада.

Мельников сидел в тренерской один. Вблизи он мало напоминал того вертлявого человечка, которого Воронов видел в свой первый приход на стенд. Он был спокойен, насторожен и сдержан. Воронову почудилось, что дается это Мельникову нелегко. Впрочем, Алексей много раз пытался поставить себя на место людей, с которыми он, инспектор уголовного розыска, говорит, и каждый раз признавал, что чувствовал себя не в своей тарелке.

Они сели у окна, выходящего на просторный зеленый луг.

— Скажите, пожалуйста, каковы были ваши отношения с Мамлеевым?

— Каждая собака в Москве знает, что мы были друзьями, — улыбнулся Мельников. — Нам нечего было делить, а объединяло многое. Хотя, признаюсь, компанейским парнем называть Александра было трудно. — Мельников говорил теперь, тщательно взвешивая слова.

— Часто бывали у Мамлеева?

— Как сказать... Иногда семь раз в неделю. Иногда не встречались месяцами. У Александра начинались творческие запои, и вытащить его из библиотеки было делом мудреным. Ну, тренировки... Я ведь часто входил в состав сборной, и мы вместе тренировались. Правда, потом обычно Мамлеев

уезжал за границу на соревнования, а я отправлялся домой, но такова уж судьба второго эшелона. Хотя из десятка лучших я не выпадал уже много лет.

Последняя фраза показалась Воронову уже знакомой. Он начал лихорадочно вспоминать, при каких обстоятельствах и где ее слышал. Нет, вспомнить не мог...

Мельников тем временем продолжал:

— Мне трудно говорить об Александре. Он мне исключительно дорог. И смерть его для меня — жестокий удар. Когда я уже входил в десятку лучших стрелков страны, Александр еще не знал, с какого конца заряжается ружье...

Каждое упоминание Мельникова о десятке лучших стрелков заставляло Воронова еще мучительнее вспоминать, где он слышал эти же слова. Алексей был почти уверен, что где-то раньше видел и это лицо, покрытое бронзовым загаром. Тонкие губы нервно подергивались. И когда он говорил долго, то языком облизывал губы. Движение это придавало его лицу сходство с мордочкой свищущего полевого зверька. Курчавые волосы лежали тугой шапкой. Светлые, как бы водянистые глаза свелись печалью, а руки, сухие, покрытые морщинистой, не по годам, кожей, Мельников держал ладошками друг к другу. Словно молился...

«Напоминает тушканчика».

Воронов как бы включился в старую детскую игру «горячо — холодно», и сравнение с тушканчиком резко приблизило Алексея к «огню». Осталось немного, и он разыщет в своей памяти ту встречу...

— Об Александре вам наговорят разное. Думаю, больше плохого, чем хорошего. Сделают это по причине дурного мамлеевского характера. Мамлеев невольно обижал многих людей. Прокофьев и после смерти, наверное, не простит ему обиды. Знаете, о чем идет речь?

Воронов кивнул.

— «Опять Прокофьев... Боюсь, что Стуков окажется неправ. Поведение на похоронах не больше, как личный спектакль».

Воронов всматривался в лицо Мельникова, стараясь уловить хоть какие-то скрытые эмоциональные перекиивания, когда Игорь Александрович называл имена знакомых людей. Но Мельников нервничал удивительно однообразно, о чем бы ни шла речь. Воронов даже не заметил, как волнение у него вдруг перешло в светлость. Мельников встал и принялся расхаживать по комнате. Двигался он странной походкой, бочком, весь собравшись, ставя на выворот свои кривые ноги. Долгополый вельветовый пиджак яично-желтого цвета еще больше подчеркивал кривизну ног. Длинный, с широкими крыльями ноздрей нос на маленьком лице как бы служил противовесом, не давая Мельникову опрокинуться назад из-за гордо вскинутой головы.

— Ваше мнение, как это все могло случиться? — Алексей прервал монолог Мельникова.

Игорь Александрович ответил быстро, как человек, который давно ждал подобного вопроса и внутренне к нему приготовился:

— Не знаю. Недели за две до соревнований он что-то жаловался на свой «Меркель» и отдавал его в ремонт...

— Кому?

— Прокофьеву. Надо сказать, что Николай Николаевич, когда трезв, — приличный специалист. Лучше него вряд ли кто разбирается в иностранных ружейных системах.

Воронову понравилось, что Мельников не ответил однозначно на его вопрос, ограничившись толь-

ко фамилией мастера. К тому же дал Прокофьеву хорошую характеристику.

— Вы предполагаете, что ремонт не мог привести к печальному результату?

— Трудно сказать. Я не видел оружия после разрыва. Его сразу же забрали ваши товарищи...

— Кто прикасался к «Меркеля» после разрыва и до того, как оно попало в наши руки, могли бы сказать?

— Мог бы.. Но, мне кажется, это не играет никакой роли...

— Позвольте, Игорь Александрович, я уже сам буду определять значение того или другого факта. Так кто же?

— Прокофьев... Он и передал остатки «Меркеля» вашим товарищам.

— А вещи взяли вы?

— Да. Я помог отнести Мамлеева в комнату.

— Кстати, почему вы не отнесли вещи Мамлеева домой сами, а сдали их в камеру хранения больницы?

— Мне их некуда было деть. С Юлией мы до вечера просидели в холле больницы, ожидая результатов операции. Мне и в голову не приходило тогда, что это имеет какое-то значение...

— А кто собирали вещи в сумку?

— Я.. — Мельников поклонил плечами: дескать, сам собой разумеется.

Воронов удовлетворенно кивнул головой.

— Скажите, пожалуйста, а когда последний раз вы звонили Мамлееву домой?

— Вечером.. — Мельников на мгновение задумался.. — Да, вечером, накануне дня соревнований.

— А утром следующего дня?

— Нет.. Я увидел его уже на стенде, возле раздевалки.. — Мельников лихорадочно облизнул губы, и в это мгновение Алексей вспомнил, наконец, где его видел...

## II

**О**хота складывалась неудачно с самого начала. Когда Воронов подъехал к старой переправе, крутой стылый ветер гнал по протоке такую белохребтную волну, что о поездке на перегруженном баркасе — собралось человек восемь — не могло быть и речи. Егеря в ответ на ежеминутные вопросы: «Когда же отправимся?» — нудно повторяли каждому лекцию по технике безопасности на водах:

— Разве оно можно по такой кипяти?! Она, лайба, хоть и остойчивка, а заливиста. Так за два часа нахлебается — по пояс в воде будем. Никак нельязь, — заключал он и смотрел, словно чего-то выжидал.

— Не нюхав же на дороге?! Утренняя зорька к тому же пропадает!

— А если рыб кормить придется?..

Воронов и двое офицеров-отставников — база в Лексатихе принадлежала Военно-охотничьюму обществу — пришли к соглашению, что пятнадцать километров можно преодолеть двумя способами: две трети на машине, а потом, оставив транспорт в деревне, пешком по болоту. Так и порешили. Целое будешь, да и утренняя зорька спасена!

Когда утром расходились по засидкам, оставшихся ждать переправы все еще не было. Но ветер стихал. И Алексей услышал стук лодочного мотора.

Зорька оказалась славной. Три селезя-пикона, синяя оперением, повисли на крюке в дощатой стене домика. Шумная компания вчерашних спутников,

громко ругая лодочника-перестраховщика, как это обычно делают люди, счастливо избежавшие неминуемой опасности, располагалась по койкам. Громче всех ругался малорослый, в летней кожаной куртке парень. Он чувствовал себя в доме хозяина, человеком бывальным.

Парень, гсворя, смешно облизывал губы, и Воронов сразу окрестил его Тушканчиком.

Как водится, прибывших пригласили к столу.

— До вечерней зорьки делать нечего, сидайте с нами.

Первым к столу устремился Тушканчик. Остальные должно начали выкладывать на стол съестное и робко ставить бутылки, а Тушканчик уселился так, словно его кормление входило в число заветных желаний всех собравшихся. Он болтал без умолки, судорожно обвиваясь с аппломбом мэтра. Вот тогда-то он и произнес свою знаменитую фразу: «Я вхожу в десятку лучших стрелков страны...». Он начал рассказывать о поездке на Олимпиаду, о своей дружбе с чемпионами страны, по конец добил всех показом своего «Меркеля», и, надо отдать ему должное, оружие он, конечно, знал.

На любой охоте, да еще когда собираются малоизвестные люди, обычная похвальба неизбежна. Несколько долго затягивается она и как будет шумна, зависит от опыта охотников и наличия интересных ружей. Тушканчик без конца сыпал называниями иностранных фирм, которые были известны и Воронову: «Джеймс Пердэй», «Лебон», «Голландоланд».. И добавлял к ним такие астрономические цифры стоимости, что глаза окружающих вспыхивали недоверием.

Воронов подумал: «Как куражится! Ведь лучше всех знает, что стендовник на охоте отнюдь не всегда добчильный охотник! Промахов у него выпадает не меньше, чем у новичка. Хотел бы я посторяться с тобой не перелететь!»

За два дня охоты Тушканчик-Мельников ни разу не взял в руки ружья и не вышел на зорю. Он пил и спал.

«Гаризит! Сколько людей не смогли попасть в Лексатику, количество коеч по пальцам пересчитать можно, а это нажираться приехали, будто дома, в Москве, не может. Как собака на сене — ни себя, ни людям!»

Когда к вечеру в воскресенье Воронов стал собираться домой, Тушканчика нигде не было. Выяснилось, что он, переметнувшись к другой компании, отбыл восвояси.

## 12

**А**лексей начал вновь внимательно слушать Мельникова, вспомнив, где видел сидящего перед ним человека. Случайная встреча на охоте имела продолжение. Чувство неприязни, ожившее при воспоминании об охоте в Лексатихе, заставило Воронова иначе взглянуть сейчас на Мельникова, который явно хотел покончить с собеседником.

— А куда делись багроты Мамлеева? — спросил Алексей. — Если мне не изменяет память, он не отстрелялся и первой серии!

Лицо Игоря Александровича на мгновение залилось краской, но он быстро взял себя в руки и, подойдя к шкафу, выдвинул нижний, закрывающийся на два замка ящик.

— Петроны лежали вот здесь. Немного — штук тридцать пять. Остальные Мамлеев хранил в своем шкафчике. Вы знаете, у него ведь здесь свой шкафчик...

— Где же остальные патроны?

Мельников вспыхнул снова.

— У меня их вызвал один молодой человек, собирающий коллекцию...

— Уж не Иосик ли?

— Он...

— Вы сможете забрать патроны обратно и передать мне?

— Конечно. Если он их еще не пустил в дело.

— Что значит «в дело»?

— Ну... не передарил или не перепродал кому-нибудь из своих постоянных клиентов.

— Хорош коллекционер! Мне уже рассказывали о нем. Но никак не удается его встретить...

Мельников как-то облегченно вздохнул и показал кивком:

Воронов встал и подошел к окну. Внизу на скамейке сидели молодые люди. Стоя перед ними и отчаянно жестикулируя, что-то рассказывали долговязые, вызывающие ярко одетый паренек. Черные усыки, стрелками разбегавшиеся из-под носа, придавали ему вид клуона.

Это проще простого: «Интеллигент» сидит с ребятами на лавке возле нашего дома.

— «Интеллигент» — тот, с усиками?

— Он самий.

— Вы сами отдали Иосику патроны Мамлеева?

— Да, — неохотно ответил Мельников. — Не бросать же их в мусорное ведро? Самому стрелять как-то не с руки показалось. Тем более, что патроны эти Александру доставил Иосик!

— Вы совершенно в этом уверены?

— Еще бы! — обиженно фыркнул Мельников. — Кардина звонил и мне, но я был занят, и тогда он сказал, что передаст патроны через Иосика, который был в ту минуту у него в номере «Националь».

— Вы покажете мне шкафчик Мамлеева?

— Конечно. Он в соседней комнате.

Они вышли в полутемный коридор и свернули за угол. Мельников прошел вперед, открывая двери больших пустых комнат с лавками и шкафчиками вдоль стены, пока они, наконец, не прошли в маленькую ютую разделку, рассчитанную явно на избранных, — мягкие кресла с гнутыми никелированными ручками стояли в хаотическом беспорядке.

— Шкафчик Мамлеева последний. — Мельников показал в глубь комнаты. — Но без ключа мы туда не заберемся.

Воронов подошел к шкафчику и потянул за ручку. Дверца легко поддалась, а замок с громким стуком упал на деревянную решетку под ногами. Шкафчик был взломан. Кроме старого, довольно грязного полотенца, в нем не оказалось ничего...

Воронов увидел, как побледнел Мельников.

— Странно. Еще вчера все было в порядке. Можно спросить деда: ключи от этой комнаты есть только у него и Прокофьева.

Воронов внимательно осмотрел шкаф. Работа была грязной. Ударом долота замок осадили на зад и сильным рывком откнули планку. Прежде чем Воронов успел что-то сообразить, Мельников, стоявший рядом, обеими руками поднял замок и передал его Алексею. Если на замке и могли оставаться следы злоумышленника, теперь они уже за-терты пальцами Мельникова.

— Спасибо за информацию, Игорь Александрович. Сейчас мне бы хотелось встретиться с Иосиком. Меня, пожалуйста, представьте как одного из новых клиентов.

Из окна раздевалки, откуда Воронов наблюдал за «Интеллигентом», Мельников, высунувшись по пояс, крикнул:

— Иосик, зайди!

Алексей не слышал, что ответили снизу, но по тому, как успокоенно Мельников сел ждать Иосика, понял, что тот отклинулся охотно. «Интеллигент» вошел в комнату с протянутой рукой, в которой красовалась десятирублевка.

— Игорюша, можешь не волноваться: за мной не пропадет!

Мельников растерянно закинул руки за спину. Иосик, осмотревшись, наконец, увидел постороннего. Несколько не смутившись, он подошел и сунул червонец в карман Мельникова.

— Товарищ насчет патронов, — вполголоса проговорил Игорь Александрович.

— Это можно. — «Интеллигент» развязно усился на стол. — Товарищу, наверно, «звездочка» нужна: Калибр? — Его деловитость в вопросах коммерции так не вязалась с расхлябанностью внешнего вида, что Воронов не выдержал и решил отменить комедию.

— И «звездочка» и все остальное! Я из уголовного розыска.

Еще не веря, Иосик дважды зыркнул глазами в сторону Мельникова, но тот демонстративно отвернулся.

— Я хотел бы знать, куда девались патроны Мамлеева? — спросил Алексей.

От наглости Иосика не осталось и следа. Он еще раз зыркнул в сторону Мельникова и начал отвечать, растягивая слова и тем самым стараясь выиграть время.

«Ого, — подумал Алексей. — Судя по всему, на бизнесе у них довольно крепкая стайка! Как бы не пережать. Самое время выправодить Мельникова!»

Он остановил «Интеллигента» на словах «это смотря, о чём идет речь...» и сказал:

— Игорь Александрович, спасибо большое, вы мне не нужны.

Пока Мельников выходил из комнаты, Иосик привождал его неотрывным взглядом, пытаясь уловить хоть какой-то намек на то, как ему себя вести. Мельников вышел, не дав Воронову ни малейшего повода для упрека. Иосик заговорил твердо и решительно:

— Довольно смешной фарс. Вы хотя бы договорились с этим... — Иосик кивнул головой в сторону двери, за которой скрылся Мельников, — а то сначала насчет патронов, потом про Мамлеева...

— Боюсь, что если не сможете отхватить дельно и четко на несколько вопросов, будет не до смеха!

— Пугаете? — «Интеллигент» достал сигарету и закурил, выпустив в сторону Воронова клуб дыма.

И Воронов подумал, что, наверно, недооценил Иосику.

Он пропустил вопрос «Интеллигента» мимо ушей и с интересом смотрел, как маска наглости возвращается на его лицо. Такое Воронову приходилось видеть впервые.

— Итак, я хочу знать, куда запропали патроны Мамлеева, которые передал... Кстати, кто?

— Сами знаете. Мельников. Все веда уже доложил.

— Разве в его информации кроется нечто почтное?

— Болтун он... — неопределенно протянул Иосик.

— Где же патроны?

— Не знаю. Кто-то попросил, пришлось уступить...

— Деловой человек!

— Деловой тот, кто строит дом из кирпичей,

которые ему таскают другие. А я сам,— он постучал себя по шее,— свои кирпичики добываю!

— Иногда приходится делиться кирпичиками и с приятелями? — Воронов тоже кивнул в сторону двери.

— Силу надо уважать...

— Хорошее замечание. Дельное. Так вот, уважая силу, попытайтесь вспомнить, куда ушли все до одного патроны!

— А если мне не удастся?

— В данном случае дурная память может привести на скамью подсудимых.

Иосик испуганно взглянул на Воронова.

— За какое преступление?

— Считаете, что с Мамлеевым произошел несчастный случай?

— Что же еще? Хотя непонятно, как все случилось!

Иосик произнес это довольно искренне.

— Почему вы, приятель Мамлеева, не пришли на похороны?

— А вы что, всех переписали, кто был на похоронах?

— Так почему не были?

— Недосуг...

— Продавали патроны Мамлеева?

— А если так — это что, преступление? Патроны его можете получить: пачка лежит дома. Две пачки уступил одному врачу...

— Фамилия?

— Есть такой хирург Савельев. Всегда можете спросить... — Иосик достал из кармана пухлую записную книжку и в мгновение ока нашел нужную страницу с телефоном Савельева.

— Остальные патроны?

— Еще одну пачку отдал девице. Такая ненормальная Галина...

— Глушко?

— Давно за мной следите?

— К сожалению, недавно. Поэтому хочу знать, куда делись те патроны, которые вы взяли из шкафа Мамлеева, взломав замок.

Иосик втянул голову в плечи. Но вопрос был задан слишком категорично, чтобы отрицать, и он глухо ответил:

— Я потерял ключ. Просить мамлеевский у жены неудобно. Дед может подтвердить, что Александр разрешил мне пользоваться его шкафчиком. Честное слово, взял только патроны — он замялся, — которые Александру больше не нужны... Их бы все равно списали.

— Забирали эти патроны в день похорон? — Воронов почувствовал отвращение.

— Да... Но какое это имеет значение? Я действительно не крали!

— Патроны сегодня же принесете ко мне. Вот адрес, пропуск выпиши. Соберите все. И не ведите майтесь пока один потерять. Кстати, — Воронову вдруг пришла в голову шальная мысль, — а что вы делали с девятью утра до десяти в день соревнований?

— В день соревнований? — удивленно протянул Иосик.

— Именно, в день соревнований.

— Я был на стенде с восьми утра.

— Кто это может подтвердить?

— Дед. Мы с ним, того, немножко выпили...

— Ничего не путаете?

— Да чтоб мне всю жизнь одной фасолью питьться!

«Это было бы слишком легко, тезкии Воронов, если бы этот Иосик вот так взял и созрелся в убийстве Мамлеева. К тому же не исключено, что он говорит правду. Тогда кто же звонил Мамлееву в то утро?»

**И**скать деда на территории не пришлось. Едва Воронов спустился по ступеням у входа в административное здание, за его спиной раздался насмешливый голос:

— Гражданин начальник! Позвольте к вам обратиться...

Воронов обернулся. Дед стоял рядом с ластичкой, облокотившись на метлу, словно пьяный на столб.

— Обращайтесь, коль не шутите!

— С вами шутки плохи. Один раз пошутил — чуть целый год не пришлось портняки на «колючке» сушить... Нашли того злодея, которого ищете, или по-прежнему в тумане блуждаете?

— В тумане. И, признаться честно, туман стал еще гуще... — Воронов потянул деда к скамейке, на которой они уже беседовали однажды.

Дед шел охотно, не упираясь, уселился основательно.

— Зовут вас как? — спросил Воронов.

— Дедом и кличут! Кому моя фамилия нужна? В жисть вам того никто не скажет. Бухгалтерша, что деньги выдает, и та говорит: «Бот тут, дед, крест поставь!» А мне крест не на бумажке, а на кладбище уже ставить надо! За деньги могла бы, а чай, и сама крест черкнуть! Эка хитрость!

— И все-таки как вас по имени и отчеству?

— А «дедом» и по тому и по другому, — упрямо повторил дед и каприсно наступил.

Чтобы не дразнить старика, Воронов решил отступиться.

— Так вот, дедуся. Темное дело. И мнения своего я пока не имею насчет злодея. Занимаясь тем, что у других выспрашиваю. И прикидываю. «А почему мне надо проверять именно Иосика? Ведь и сам дед с покойным имел счеты, и его кандидатура из списков подозреваемых не вычеркнута! Пока...»

Но спрашивать прямо, что делал дед в день гибели Мамлеева, Воронов не стал.

— У вас из-за чего скора с Мамлеевым когда-то была?

Дед засопел и, не глядя на Воронова, как бы мимоходом отрезал:

— С другого конца до самого главного добираешься!

Воронов прикинулся искренне удивленным.

— Вот то-то и дело, что самого главного не знаю!

Дед испытывающее посмотрел на Алексея и сделал вид, что поверил. Отложив метлу, словно только сейчас понял, что она зря путается в руках, угрюмо проговорил:

— Скора? Из-за Мамлеева невиновным чуть не сел в тюрьму...

«Этого еще не хватало! Теперь всерьез следует выяснять, не отомстил ли этот гриб мухомор за старую обиду...»

Но дед не дал ему обдумать эту ситуацию. Как все, о чем говорил дед, про скора он рассказывал охотно, будто на исповеди.

— Пять годков назад это случилось. Мамлеев тогда был динамовским, как и сейчас. Значит, пришлый, ненашнский. Тогда и Прокофьев ненашнский был. В тот день стреляли долго. Когда в раздевалку вернулись, пропажу и обнаружили. Исчез именной «бокс», к пятому чемпионству Александра лично тулаками сработанный. Что бой у руки, что отдалка — бери, не хочу! И черт его знает, зачем он подарок в тот день на стенд прита-

щил, поскольку из него не стрелял, а берег, как коллекционную штукувицу.

Воронов хотел было прервать пространный рассказ деда, но потом подумал, что придется на братья терпения и к многословию деда отнести с максимальным вниманием: наблюдать было приятно, как память бог его не обидела.

Дед между тем продолжал рассказывать:

— Шуму, шуму подняли! А что шуметь, когда клюк от раздевалки только у меня, и я туда дважды заглядывал, пока они стреляли. Вот и вышли, — дед вздохнул, — что, окромя меня, и брат некому. Верно? Когда же в моей каморке, что под лестницей направо, обыск устроили — пустой чехол как раз под старым тряпцем нашли... Я его сам и нашел... Но радостя ухватил, а он пустой. Привезли меня и ответя! Я к Александру: так, мол, и так, ты меня знаешь, я воровать неспособный! А он и говорить со мной не стал! Обидел смертельно... — Дед осекся, видно, спохватившись, что выразился в данном случае слишком сильно и не в месте, но, махнув рукой, закончил: — Спасибо следователю. Человек душевный оказался. Смекнул, что со мной такого греха случиться не могло. А «бока» как в воду канул. Только единожды Иосик трепнулся по пьяни, будто уплыл тот «бока» далеко, за границу, по дорогой цене. Но дороже, чем я, никто за него не заплатил. В моем-то возрасте под следствием — и сидиши срам, и жить-то осталось с гулькин нос. Хорошо, люди добрые позорили и опять от охочей работы допуск дали. Чтобы человека оправдать, веру в него иметь надо и желание. У покойника ни в кого веры не было. Уж и не знаю — себе-то он доверял!

— В день гибели Мамлеева что делали? Расскажите, пожалуйста, подробно, почти по минутам.

— По минутам? Вот и тогда следователь по минутам просил. На этот раз я и часами сосчитать не смогу, не то что минутами. Спал я. Когда проспался и на работу появился, Мамлеева уже увезли и только по углам языкоми чесали да охали.

— Говорят, дедусь, вы раньше солнца встаете, а тут чего такой слизи напал?

— Чего-чего? Какой-такой слизи?

— Ну, сонливость.

— А-а! Ну сонливость это. С перепою. Иосик, чтоб ему неладу жилось, раздобыл где-то зелье заморское. Красивый пузырек! У меня в каморке мы его и уговорили, благо, делать было нечего, к соревнованиям все еще с вечера приготовил. А когда с того зелья меня развозить начало, думаю, дай-ка с глас начальства сгину. Зачем праздничную картину портить? Еще сбрехнешь что по пьяной лягочке! Домой пришел — и разморил! Уж и не помню, как меня вдова на кровать уложила. Этак еще восьми не было! Поработал, называется...

— Адрес?

— Чего? — не понял дед.

— Адрес, спрашивало. Где живете?

— Торговая улица. Тупик в четыре дома. Крайний справа мой. И номер первый. В подвале единственная комнаташка тоже моя. Ошибиться невозможно: я в ней почти сорок лет прожил. Любая крыса знает, где живу.

— Но здесь никого на стенде не знает...

— Чем им знать! Они меня всю жизнь только с метлой и видели. Прихожу — их никого еще нет, ухожу — их и след давно простили! Вот и кажется, что дед на стенде, как пес бездомный, живет.

— Значит, только жена может подтвердить, что вы в то утро были дома?

— Вдова, а кто еще! Соседи все на работе. Вдова моя сиделкой в больнице работает. Больше по но-

чам. Так она меня, тепленького, приняла и в постельку уложила. Проверять будешь, гражданин начальник? — Дед спросил глухо, с затянутой угрозой в голосе.

Воронову стало не по себе, будто вот так, на мгновение, под личиной деда-добряка приоткрылся чловек тяжелый и мстительный.

Словно почувствовав настроение Воронова, дед улыбнулся, пытаясь смягчить тон своего вопроса.

— Буду. Непременно буду проверять, дедуся... — Воронов вздохнул. — Работа у меня такая.

— Да, работонка! Людям на слово верить нельзя! — Дед встал, то ли от обиды, что Воронов ему не поверил, то ли считая разговор до дальнейшего выяснения законченным.

Адрес дед дал точный. Воронов постучал в дверь полуподвальной квартиры. За дверью неожиданно без всяких коридорника открылась комната метров шестнадцати, заставленная старинными потемневшими и обветшальными вещами. Швейная дерево-люционная машина «Зингер» с надписью по-русски была, пожалуй, единственной ценностью. Кровать красного дерева, не раз ремонтированная, видно, семим дедом, стояла в углу слева, а справа — провалившийся диван с тяжелыми валиками по бокам и спинкой-эркалом, упирающийся прямо в низкий потолок. Посреди комнаты, положив маленький клубок связаньем на круглый шаткий стол, замерла старушка.

— Я к вам, Анфиса Петровна, — как можно мягче сказала он.

— По стирке, что ли? — помедлив, спросила «вдовка» и, пошамкав губами, отложила вязанье. Потом властно кивнула на табурет.

Воронов сел.

— Совсем нет, Анфиса Петровна. Я к вам одну справку навести пришел.

Старуха молча смотрела на Воронова. В полутемной комнате, куда свет проникал через кисейную, подпаленную при глажке занавеску, глаз Анфисы Петровны не было видно.

— Кто будешь? — как при жестком допросе, в упор спросила Анфиса Петровна.

— Инспектор я. Из головного розыска. Хотел поговорить насчет вашего мужа.

При слове «муж» старуха хмыкнула.

— Небедокурит что или по старым делам? Если по старым, так он свое заплатил. Можно человека и в покое оставить.

— Нет. Дело новое. Насчет смерти Мамлеева слышали? — Воронов направил все свое зрение, чтобы увидеть выражение ее глаз.

Но старуха сказала прямо, как отрубило:

— Слышила. И скажу, хоть и грех на душу возьму: жалости к нему на держу!

— Почему же так?

— Нехоже инспектору старой женщине голову морочить! Небось, сам все давно знаешь: оскорбил человека недоверием на всю жизнь. И недоверие-то нам квартиры стоило. Вот-вот ордер дать должны были...

Это был самый длинный монолог Анфисы Петровны за всю встречу.

— Я хотел бы узнать, что делали вы в день гибели Мамлеева?

Старуха нехотя посмотрела в окно. Воронов заметил легкое движение ее полузакусенных губ, как бы пытавшихся скривиться в иронической усмешке. Такая реакция была неожиданной.

— Деда саого ублажала.

— Поподробнее, пожалуйста!

— Если подробнее, противно слушать будет. Когда пьяного спать укладываяшь, он тебя то сапогом, то матерком. Вспоминать не хочется. Ну, я-то привычная...

— Когда вернулся муж?

От Воронова опять не укрылось, что слово «муж» как-то кольнуло Анфису Петровну.

— Я с ночного дежурства в семью пришла. Его уже не было. Завтрак приготовить не успела, как он завялился. Налакавшись вмутиться.

— Часов в восемь это было?

Старуха молча кивнула.

— И больше он никуда не уходил?

Старуха кивнула вновь.

— Так уходил или не уходил?

— Куда же ему уходить, когда от самой двери я до постели его, ирода, за ноги тащила.

Воронов прикинул, что, пожалуй, бабусе, несомненно на всю тщедушность дедова телосложения, одной взвалить мужика на такую высокую кровать не под силу.

— Как же вы его подняли, Анфиса Петровна? Мужик он все-таки.

— Был мужик. Да весь выпился. Трухлять одна осталась.

— Зачем уж так?! Килограммов шестьдесят пять осталось...

— В килограммах — не знаю! А то твоя правда — не двужильная я. Была двужильная, да он из меня своим пьяництвом все жилочки повытаскивал. На кровать взвалил сосед, дворник Григорий, помогал. Я деда только разделила да разула.

В двери постучали, и, не дождаясь ответа, в комнату вошел молодой парень с добрым круглым лицом. Увидев незнакомого человека, смущился и заморгал:

— Извините, Анфиса Петровна, я попозже...

— Григорий самолично подтвердить может. — Старуха ткнула пальцем в сторону вошедшего.

Григорий, уже взявшись за ручку двери, услышав свое имя, остановился.

— Скажите! — Воронов спросил, уже заведомо зная ответ стоявшего перед ним человека. — Когда вы помогали Анфисе Петровне укладывать деда в постель?

— Неточно поставленный вопрос. — Григорий засмеялся. — Укладывать частенько приходилось. Дедушка у нас, сожалению, особой трезвостью не отличается. А в последнее время и вовсе слабенький стал. Чуть рюмочку выпил — и «плоплы». Последний раз в среду это было. Что удивительно — с утра. Я еще глаза продрать не успел. Вечером я в библиотеке засиделся. К зачету в техникуме готовился. А тут шум услышал... — Он умолк, видно, совсем не собираясь рассказывать, что увидел, войдя тем утром в комнату Анфисы Петровны.

«Ну, вот и все! — с невольным облегчением подумал Воронов. — Деда можно смело вычеркивать! Уверен, что и в этот раз он ни при чем! Формально лишь одну вещь со счетов сбрасывать нельзя — на стенде целый час он что-то делал. Не мог ли за это время все организовать, а потом напиться, чтобы и от страха уйти и алиби обеспечить?! Стоп, Воронов, стоп! — сказал себе вдруг Алексей. — Остановись! Так дальше дело не пойдет. Как это дед сказал: чтобы человека оправдать, вера в него нужна! А у меня, как в свое время у покойного Мамлеева, вера пропадать начинает! Ежели еще Стуков о моих сомнениях прослышил, хоть под стол со стыда прячься!»

Воронов поспешно поблагодарил дворника и так же поспешно попрощался с Анфисой Петровной.

Когда Алексей был уже в дверях, она, как бы опомнившись, спросила:

— С дедом моим что будет? Он-то при чем?

Алексей почувствовал себя неловко, что не объяснил ей ничего толком. Он вернулся, снял кепку и сказал, как бы рассуждая вслух:

— А действительно, при чем дед? Ни при чем. Просто мне надо было, чтобы сказать это вам, неизменно прийти и убедиться: вашего деда на стенде в то утро, когда погиб Мамлеев, не было.

14

**В**оронов сидел один в кабинете.

— «Пора уже подбивать бабки!» — сказал бы злойязыкий Стуков, — думал Алексей. — По-прежнему остается «белым пятном» этот час с девятью до десяти... Не иду ли я по ложному следу? Почему уперся именно в этот час? Может быть, Александр сидел перед домом на скамейке и пытался отключиться. Весьма приемлемое предположение. Стоит обратить больше внимания на то, что было, когда Александр пришел на стенд. А ну-ка прикинем, что нам известно!

Итак, он вышел из троллейбуса и вместе с болельщиками прошагал к воротам. Вряд ли что-либо могло произойти в эти минуты. И патроны и специальная куртка, в которой он вышел через двадцать минут на парад, — все лежали в сумке с наглухо закрытой «молнией». Что он делал двадцать минут от парада, который начался ровно в одиннадцать? Переодевался. Его шкафчик находился в самом углу. Скажем, патроны ему были пока ни к чему, и он мог оставить их в сумке и запереть в шкафчик. Пока он был на параде, запомнил, в шкафчике Мамлеева могли похозяйничать. Впрочем, это рискованно.

Мамлеев полчаса простоял под теплым солнышком в строю ребят рослых, с ладными фигурами, в ярких куртках и в кепочках с большими козырьками. Главный судья произнес речь перед открытием. Диктор перечислил команды и славные имена. Причем при имени Мамлеева аплодисменты, конечно, были бурными. После подъема флага Александр вернулся в раздевалку и взялся за подготовку к первой серии. Его номер «семь». Следовало торопиться. Но торопиться ему легко, ибо уже сотни раз он проходил этот приятный и одновременно тревожный путь. Но вот переломленный «бок» вскинут на плечо, патроны в боковых карманах, и карманы наглухо застегнуты. Мог ли кто-нибудь подменить патрон в этот момент? Вряд ли...

Мамлеев пошел стрелять. Первая серия...

Так представил себе Воронов первый час, проведенный Александром Мамлеевым на стенд «Локомотив» в день, ставший последним днем его жизни.

И Воронов почувствовал, что еще очень мало он знает о жизни людей, в судьбах которых пытается разобраться. И есть еще тысячи фактов, больших и мелких, которые ему следует проверить. Алексей понял, что предоставленный ему для расследования срок смехотворно мал. Но вряд ли можно надеяться на продление.

Рабочий день подходил к концу, и Воронов беспокоился, что не застанет Галину Глушко на месте. Когда он вошел в длинный зал конструкторского бюро, где, подобно миниатюрным киноэкранам, светились чертежные кульманы, никто даже не поднял головы, все продолжали работу. Ему пришлось обратиться к ближайшему чертежнику.

— День добрый, не подскажете, как найти Галину Глушко?

61



— Галину Георгиевну? Последний кульман во втором ряду.

Осторожно обходя шаткие на вид сооружения, Воронов заглянул за последнюю доску и никого там не обнаружил. Из-за соседнего кульмана, как из-за дерева в лесу, появилась молодая женщина с приятным лицом.

Он не успел представиться, как женщина спросила:

— Вы Воронов из уголовного розыска?

— А вы, простите, откуда знаете?

Она улыбнулась и пояснила:

— Заведующий бюро, который выписывал вам пропуск, «счел своим долгом...» — и сразу же деловым тоном добавила: — Думаю, у вас разговор не минутный. Если не возражаете, я закрою тут один пустячок и побеседуем где-нибудь в другом месте.

Пока шли по гулким институтским коридорам, Воронов держался сзади и нет-нет да и посмотрывал на нее, пытаясь сравнить анкетные данные с первым впечатлением.

«Выглядит, конечно, старше своих двадцати четырех лет. Как обычно, женщины, у которых не сложилась жизнь. А она у Галины Георгиевны не из легких. Что связывало ее с Мамлеевым? Увлечение стрельбой?»

— Может, устроимся здесь? — Глушко остановилась и показала на большой старый диван, привытившийся между двумя разлапистыми физуками. Не дожидаясь ответа Воронова, она села.

Взглянув на Галину Георгиевну, Алексей увидел спокойное, даже пренебрежительно-спокойное выражение лица.

— Разговор, конечно, о Мамлееве?

— Галина Георгиевна, вы, наверное, много знаете из того, что хотелось бы знать мне. Позвольте, уж я вас буду спрашивать.

— Извините. Привычка. Живу одна. Сама себе начальник. Да и спорт приучил брать инициативу на себя. Во всем.

— Вы давно знакомы с Мамлеевым?

— Пять лет. С сочинского чемпионата страны.

— Были с ним в близких отношениях?

— Я любила Александра и не считала нужным прятать свою любовь. К сожалению, у Мамлеева была другая точка зрения.

Воронов не сдержался:

— Но у Мамлеева было и несколько другое семейное положение.

— Он был еще более одиноким, чем я. С такой мечтой, как его жена, впору топтаться, а не жить под одной крышей. Рассказать подробнее о наших отношениях? — Она говорила уже с издевкой.

— Не стоит, — холодно ответил Воронов. — Оставим в стороне жизнь личную, вернемся к спортивной. Что из вешей Мамлеева есть у вас сейчас?

— Ничего. То есть почти ничего. Лицо Галины Георгиевны покрылось красными пятнами. — Вы имеете в виду его «Меркель»?

Как ни внезапно прозвучал встречный вопрос, у Воронова хватило выдержки не подать виду.

— Хоть бы, — неопределенно произнес он, мучительно прикидывая, о каком ружье идет речь.

Разорванный «Меркель» Мамлеева лежит на складе специальной экспертизы.

— «Меркель» у меня дома. Но это действительно подарок Александра, — голос Галины дрожал, — мне не хотелось его возвращать Мамлееву, когда мы с ним поссорились.

— Не стоит о личном...

— Что значит не стоит? Для вас это «личное», а для нас с Александром такого деления никогда не было: все спортивное было для нас и самым лич-

ным! Из-за беззаботной любви к спорту у него ку- вырком пошла вся жизнь. Его кукла никак не хотела понять, что такое спорт для Сашки. А я понимала потому, что жила с ним одной жизнью, одни- ми интересами, одни-ми тревогами...

— Хорошо, хорошо. Я не хотел вас обидеть. Не будем касаться темы, которая доставляет вам боль. Вы любили Александра, не так ли?

— Нет. Это была не любовь. Это было преклонение. Я преклонялась перед ним пять лет с фанатической самоотречностью! Я... Я... — Она умолкла, и Воронов увидел слезы на ее глазах.

— Я могу увидеть этот «Меркель»?

— Конечно. Он у меня дома.

— Но ведь Мамлеев стрелял из «Меркеля», который подарил вам?

— Нет. — Она покачала головой. — Я не вернула ему то «бюко». Я отдала ему другой.

— На ложе Мамлеевского — следы дарственной накладки.

— Второй «бюко» тоже подарок.

— Чей?

— Мельникова, — тихо проговорила она, словно признаваясь в тягчайшем грехе.

Воронов помедлил со следующим вопросом.

— Почему вы это сделали?

— Мне было жалко, повторяю, отдавать Сашкин подарок назад. Но страшно хотелось швырнуть его в лицо все — и «Меркель» и все пять лет с собачьей жизнью, которой мы жили, прячась от друзей, значимых, товарищей по команде, его жены...

— Что вы сделали с патронами, которые вам передал Иосик?

Она отвела удивительно спокойно, словно это был пустячный грех после подмены «Меркеля».

— Пачку как-то расстреляла на тренировке, а пачка дома.

— Я бы хотел получить патроны для экспертизы.

— Пожалуйста. Пойдемте хоть сейчас. Я живу рядом.

Когда они направились к дому Глушко, Воронов спросил:

— Стреляя, вы не заметили ничего особенного в боеприпасах?

— Обычный «Родони». Когда Мамлеев щедрел, а это случалось с ним редко, он подкидывал мне пачку пачек. Отличный патрон, сухой, хлесткий. С виду напоминает дорогой тюбик губной помады.

Уже открывая дверь квартиры, она внезапно спросила:

— А почему вы сказали, что патроны мне дал Иосик? Мне их передал там же на стенде Мельников.

«Вот тебе и раз!»

— Наверное, мне так показалось — неопределенно сказал Воронов. — Иосик служил как бы поверенным во многих делах Мамлеева.

— Вам и это уже известно? — Она усмехнулась.

Они прошли в небольшую переднюю, из нее в большую комнату, хорошо обставленную, идеально убранную, с хрустальной посудой за стеклом горки.

Но Воронов не обратил внимания на хрусталь. Его взгляд сразу же наткнулся на мамлеевский «Меркель», красиво висевший на фоне дорогого ковра, покрывавшего стены над диваном. Дарственная накладка сверкала на ложе.

«Значит, Прокофьев знал, что это не тот «Меркель», но ничего мне не сказал. И Мельников сам забрался в шкафчик к Мамлееву, возможно, в присутствии Иосика, и поделился с ним добычей. Но зачем оба мне наворали? Какая в этом корысть?»

(Окончание следует)



ПОРТРЕТ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО. Бронза.



СТАРИЧОК-ПОЛЕВИЧОК. Дерево (фрагмент)



**ЮНОСТЬ. Мрамор.**

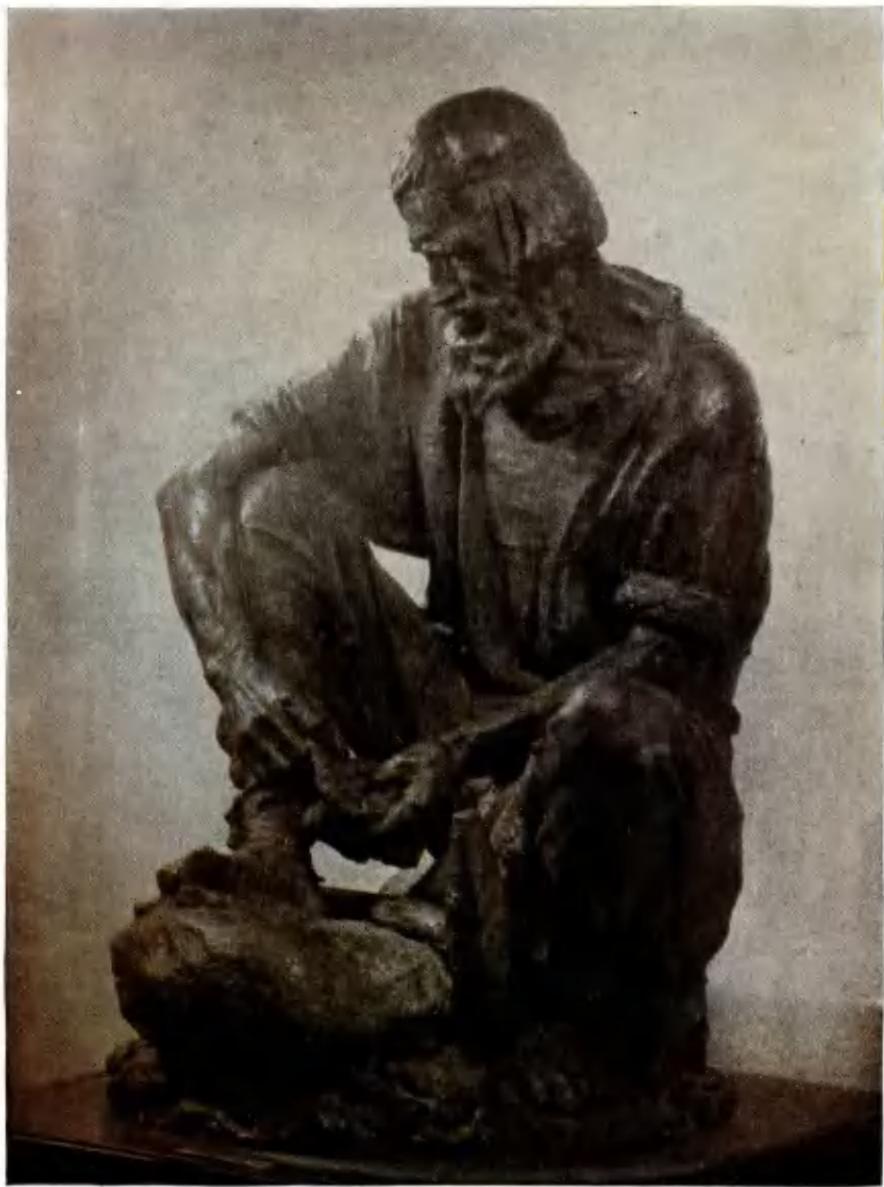
Из произведений Героя Социалистического Труда народного художника СССР  
Сергея Тимофеевича Коненкова. 1874—1971.



АВТОПОРТРЕТ. Мрамор.



СОН. Мрамор.



КАМНЕРОЕЦ. Бронза.



Наталья  
КОНЧАЛОВСКАЯ,  
заслуженный деятель  
искусств РСФСР

# СЛОВО О КОНЕНКОВЕ

Он был совсем особенным, оригинальным человеком. Он был гигантом в жизни и в творчестве. И, как всегда бывает с такими «художниками божьей милостью», — одни принимали его, мышление и видение, другие отвергали, но никто не проходил мимо, никто не смел оставаться равнодушным, потому что он был осенен особым дарованием.

Все, что он говорил, общаясь с бесконечным потоком посетителей, было необычно, занимательно, всегда неожиданно и оригинально, как и весь строй его плодотворной жизни, от каждой утренней заря до каждой вечерней. Мощность его творческих сил держала его на земле почти сто лет.

Все, кто трудится на земле его родной Смоленщины, помнят и любят своего Коненкова, умевшего, как никто, пластически запечатлеть в своих произведениях сущность благородного крестьянского труда. От древнего лемеха сохи до совершенного комбайна наших дней кровно любил и понимал Сергей Тимофеевич этот труд и эту свою землю, потому что сам происходил от землепашцев, от крестьян и обладал их мощью.

Но мощь его была и в постоянном движении вперед, в вечном поиске нового, и это новаторство не было позой — «в ногу со временем», оно было в его постоянном живом восприятии каждого рассвета, каждого нового дня и даже в его сверхочертанном возрасте, когда в обыкновенном человеке уже гаснет разум, в 98-летнем Сергеев Тимофеевиче, внешне напоминавшем какого-то пророка, разум не угасал до последнего удара его могучего сердца.

Я помню его с детства моего. Помню его немистость, которая жила в нем глубоко скрытой, потому что лицо его было приветливым и всегда излучало

столько доброты, а подчас русского крестьянского лукавства и юмора, что люди невольно улыбались, встречаясь с ним...

А прики! Нет и не было ни у кого таких рук! Помню его длинные сухие пальцы то вертевшими соломинку, то державшими виноградную кисть, то миущими глину. Я помню, как этими пальцами он ощупывал форму моего лба или детского подбородка, когда он лепил мой портрет. Я помню в этих прекрасных руках стамеску, молоток или резец и помню, как он держал бокал с вином, не за ножку, а в горсти, когда пил за здоровье своего лучшего друга — а моего отца — на золотой свадьбе моих родителей.

И я помню тот скорбный день, когда Коненков лежал в гробу, и его руки покоялись поверх черного пиджака, такие прекрасные и гордые, словно он сам из выточил из светлого дерева. И горько было думать, что они никогда больше не прикоснутся к инструментам, но тут же в памяти всплывали великолепные произведения, созданные этими руками. Сколько же удивительных образов в мраморе, в дереве, в гипсе оставлено Родине и народу этим неподражаемым мастером!

Вот «Камнеобояца». Это одна из самых ранних скульптур Коненкова. Он лепил его в 1897 году, вернувшись из поездки в Италию, у себя, в деревне Караковки под Смоленском. Как он сам рассказывал, он нашел этого камнеобояца — Ивана Куприна, на Варшавском шоссе, неподалеку от деревни среди артельщиков, дробивших камень для дороги. Вот в минуту отдыха, когда Куприн доставал кисет, чтобы скрутить самокрутку, Сергей Тимофеевич и подглядывал всю эту великую правду горького человеческого существования и выпил Куприна у себя в деревне в сарае, где тогда устроил для себя мастерскую. Скульптура эта была отмечена Большой серебряной медалью Московского училища, выпускником которого был Сергей Тимофеевич.

А вот знаменитый «Старичок-полевчик». Это одна из деревянных скульптур, вырезанная в 1910 году, в эпоху коненковских сказочных старичков, леших, старушек, калик переходящих — персонажей русской народной сказки, в эпоху, которая завершалась целой большой группой из деревя — «Степан Разин со своей дружиной». Сподвижники Разина составляли эту группу, и даже была там возлежащая Степаном в болту

Мраморная скульптура «Сон», созданная в 1913 году, интересна тем, что в ней Коненков, уходя от обычной манеры изображения человеческой красоты, нашел удивительную гармонию между жизнью плотью и поэтическим представлением о ней. То есть между прозой и поэзией жизни.

В 1933 году Сергей Тимофеевич, будучи в Америке, создал одну из своих лучших работ — портрет Достоевского. Вдали от родины, выполняя официальные заказы для американцев и, как он сам говорил, имея дело с трезвыми и рассудительными людьми, создавая четкие, несколько холдные образы видных государственных деятелей, Коненков, несомненно, тосковал по России и тогда, как зопль тоски по родине, ворвались в его творчество деревянные скульптуры «Свистушки», «Мы — ельнические» и целая коллекция кресел-диванчиков, столов и ларей, изумительно выточенных Коненковым для собственного пользования. И когда-то и родился образ Достоевского, полный трагичной экспрессии, скборного раздумья.

Скульптура «Юность» была создана уже по воз-

вращении Коненкова из Америки, в 1953 году. С кого был сделан этот портрет, я не знаю, но меня всегда поражает что-то очень знакомое в нем, столько в этой прелестной женщине искренней доверчивости, прямодушия и душевной непроницаемости, что с ней хочется заговорить!

А через год — в 1954 году — Сергей Тимофеевич создал свой знаменитый автопортрет. Но мне хочется поговорить о двух автопортретах сразу. В Русском музее в Ленинграде есть автопортрет, созданный в 1916 году, и когда сравниваешь две эти работы, то вдруг отчетливо выявляется вся сущность коненковского характера, вся его сложность, противоречивость. Между этими работами около сорока лет творческих поисков, побед и неудач.

Портрет молодого высечен из камня, с лицом напряженным, непостижимого упорства, с дерзким, облиющим взглядом острых, пытливых глаз, впечатляет и както ошеломляет зрителя своей неистовостью; трудно себе представить, что он когда-то мог быть таким.

Но многое в творчестве его становится понятным, вся его одержимость, все всплески фантазии, иногда граничащей с какой-то дикостью древнеславянского видения природы и с нарочитостью грубо извращенных форм.

Надо было пройти сложнейший путь становления, со всеми извилистыми дорогами поисков собственной истины, чтобы прийти к последнему автопортрету — вплющению мудрого спокойствия, величавости и могучей красоты внутреннего самоверждения.

В этом мужественном и вечно молодом, несмотря на патриархальную парадную статуэтку, образе выражено все богатство натуры Коненкова, вся ее духовная и телесная могущность, которая будет вечно жить в произведениях его неповторимого искусства.

А все-таки истоки его в том — в первом автопортрете, как в беспокойном, сердитом лесном ручье, бьющем из-под коряг, чтобы в конце концов вплиться в большую, широкую реку.

## Степан ЩИПАЧЕВ

# НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АВГУСТ

Сорок лет назад (17 августа — 1 сентября 1934 года), состоялся Первый всесоюзный съезд советских писателей.

Мы обратились к одному из его участников, поэту Степану Щипачеву с просьбой поделиться своими воспоминаниями. Вот что он рассказал.

Я приехал я в Москву в конце 1921 года. И (сам я тогда еще не писал) страстно хотел познакомиться с поэзией тех дней, поэтому я не пропускал ни одного литературного собрания, диспута, вечеров Маяковского Политехническом музее.

Тверская улица (ныне улица Горького) была будто большой литературный клуб, особенно правая ее сторона (если идти вниз к Кремлю). В каком-то странном помещении (видимо, это был в педавии прошлом парфюмерный магазин) существовала писательская организация «Кузница». Неподалеку от «Кузницы» был клуб поэтов-имажинистов — «Стойло Пегаса». Его главными действующими лицами были Есенин, Мариенгоф... Ниже по Тверской расположился клуб поэтов, называвшийся «Казино». Там часто бывал Маяковский. Были и другие групсы, клубы, чуть ли не каждый день возникали новые объединения с новыми декларациями. Некоторые из этих организаций исчезали, появлялись другие группы, но пестрота литературных течений, их разномасштабность и разноголосица были невероятными. Как известно, РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), существовавшая с 1925 по 1932 год, из-за серьезных идеино-политических ошибок постановлением ЦК ВКП(б) была ликвидирована. На фоне этой разнородности, разобщенности писательских сил возникло решение о создании Союза советских писателей СССР, объединившего литераторов страны на принципах социалистического реализма. И ведущую роль, воплотившую это решение, сыграл, как известно, Первый всесоюзный съезд писателей.

17 августа — первый день работы съезда. Я приехал к Дому союзов за полтора часа до открытия. У входа уже толпились люди: билеты не были numerованные, все хотели оказаться ближе к сцене, хотели посмотреть до начала заседания на литературных звезд, обмениваться приветствиями. В толпе при входе я увидел много знакомых лиц, почему-то хорошо запомнился Борис Корнилов (27-летний поэт был уже хорошо известен), очень много было иностранных гостей. Взволнованность, оживление во многом исходили от ожидания встречи с Горьким. Не только были заняты все места в зале, зрители были фойе, проходы.

Горький был основным докладчиком. Как сейчас, вижу Алексея Максимовича на трибуне, его сутуловатую фигуру, слышу его глуховатый голос. Слушали Горького с напряженным вниманием.

Большое внимание привлек и доклад о поэзии, он же выразил и ожесточенные споры. Маяковский в докладе был объявлен устаревшим, поэту, по существу, отказано в будущем. Отпор такой оценке был дан самый решительный, особенно резко выступил Сурков.

Ясно вижу на съезде Фадеева (он председательствовал), Лутовского... Шолохов запомнился кулаурах. Он сидел чуть в стороне от вышагивавших по фойе людей, сосредоточенный, немножко отрешенный. Ему было 29 лет. «Тихий Дон» еще не был завершен, но писатель уже был в зените славы.

Делегаты съезда почти все были молоды, подававшее большинство от 23 до 35 лет. Даже писатели среднего возраста было не так уж много, даже старики с высоты сегодняшнего возраста не кажутся такими уж стариками. Над съездом витал дух молодости.

Да, первый съезд выполнил ту роль, которую ему предначертал Горький. Вот заключительные слова его доклада: «Наш съезд должен быть не только отчетом перед читателями... он должен взять на себя организацию литературы, воспитание молодых литераторов на работе, имеющих всесоюзное значение всестороннего познания прошлого и настоящего нашей Родины».

# Владимир Соколов



Мой учитель был берегом, улицей, домом  
За сетьми дождей меж мостами двумя,  
Парой книг на столе у меня под альбомом,  
Где шумела под корками юность моя.  
Тени хлопьев летели скорее, чем хлопья,  
Ветер славы чужой ходил до костей.  
Я шепнул его строки, но встретили в колья  
Мои слабые строки желанных гостей.  
Мой учитель был дымом в январских

карнизах,  
Жутким вздохом открывшейся враз  
поплыни.

Я шепнул его строки, но гневно, как вызов,  
Встали вдруг побледневшие строки мои.  
Я его ненавидел за то, что предвидел  
Он все то, что случится с ребячей душой.  
Но меня он ничем и никак не обидел,  
Просто за руку взял и повел, как большой.  
Я уже никогда не забуду об этом  
За сетьми погод, за мостами двумя.  
Ученическим, синим, морозным рассветом  
Был учитель мой старый белый пуня.  
Был он первою каплей весеннего пенья,  
Был последней каплей терпенья стиха,  
Вырывавшего руку из повиновенья  
И не знавшего больше, чем кражи, греха.  
Я шепнул его строки, стараясь потише,  
Но шепнули мои: ничего, ты шепни!

Поднимись и птенца, соскользнувшего с  
крыши,

Подними, он живой, это наши грачи!  
Это наши деревья, и почки, и споры.  
И подрос и под небо птенец мой ушел...  
На стопах напевали птенцы и монтеры,  
На окраине вновь зацветал чистокол.  
Из окна паровоза машина мне кепка.  
Я не сразу узнал эти роскиды верст.  
Мой учитель был краном, что взял меня

крепко

И, смеясь, на крюке от себя перенес.



Боже, как это было давно,  
Ничего не осталось в итоге...  
В покерневшем снегу полотно  
Бесконечной железной дороги.  
Полотно. А за тем полотном,

Как туманные знаки свободы,  
Проносящиеся за окном  
То луга, то стога, то заводы.  
Не свободен был все равно,  
От любви, как от вечной тревоги...  
Боже, как это было давно,  
Ничего не осталось в итоге.  
Только память о том, как бежал  
От любимых.

Как снова и снова  
Не за них, а за слово дрожал,  
Стихотворное, бедное слово.



Да! Сухой я живу, словно порох.  
Так и кажется, вспыхну вон-вон,  
Все дурные в чужих разговорах  
Принимая на собственный счет.  
Наплевать мне на хвост их павлиний.  
И меня этот пестовал век!  
Но святыню я вижу святыней,  
Как любви несвятой человек.

## Из поэмы «Дублер»

Как странно: я тобой гордился,  
Я думал, ты мой награда,  
И вдруг навечно устыдился  
Того, что я тобой гордился,  
Того, что думал как не надо.  
[Не мучься долей, что досталась  
Твоей любимой в жизни мнимой.  
Она любимой и осталась,  
Но только не твоей любимой.]  
Не стой на празднстве, наусыпь,  
Хотя и грустна твоя парандыя,  
Как будто ты лишен за трусость  
Награды, выданной за храбрость.  
Герой, оставь ее дублеру.  
Она гордится и в дублерши.  
Тогда, когда нет места спору,  
От споров станет только горе.  
Не мучься долей, что досталась.  
Твоей любимой в жизни мнимой.  
Она любимой и осталась,  
Но только не твоей любимой.



Я болен. Я в белой рубахе.  
На белой лежу простыне.  
Под белым теплом. Чы-то ах  
И охи чуть слышатся мне.  
То сходятся, то, расступаясь,  
Расходятся. Что-то звонит.  
Игла, так любовно касаясь,  
Меня от чего-то хранит.  
Я выздоровел. Я снаружи  
В те самые окна гляжу.  
Прекрасные, грязные лужи  
Старательно на обхонку.  
Как выпущенный на свободу,  
Я делаю все, что нельзя:  
По льду, уходящему в воду,  
Как малые дети, скользя.  
Я выздоровел от простуды.  
Я выздоровел от любви.  
Вступают со мной в пересуды  
Лишь голуби да воробы.



Игорь  
ШКЛЯРЕВСКИЙ

# НЕ ПРОГОНЯЙ ПТИЦУ!

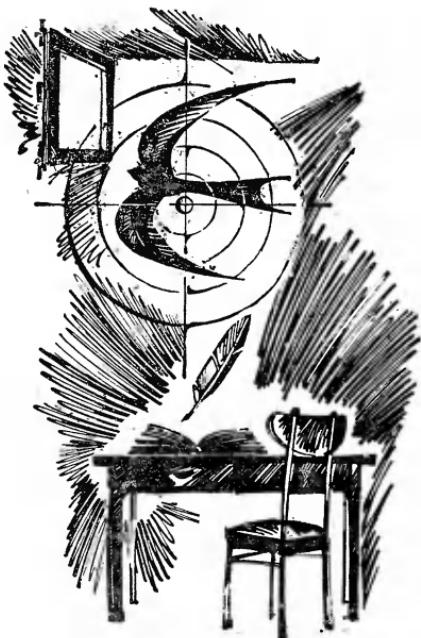


Рисунок О. КОКИНЫ.

олос учительницы:

— Миша упал, сраженный фашистской пулей. Миша — подлежащее. Упал — сказуемое. Сраженный чем? Пулей. Дополнение. Какой пулей? Фашистской. Определение. Небышинац, ты почему не пишешь? Повтори, что я сказала.

— Миша упал...

— Выходи из класса.

Маленький круглолицый Небышинац, сутулясь, идет к двери.

Конечно же, он представил, как его ровесник — партизан Миша упал в траву и на ватнике распывается красное пятно...

Конечно же, он увидел их, солдат в квадратных касках. И почувствовал в своих руках стальной тяжесть автомата — так его затянуло за партой. «Упал — сказуемое, пулей — дополнение...»

Урок грамматики или бессознательная прививка бациллы равнодушия?

Эта бацилла незаметно пожирает сердце, как эрозия почву, когда идет поверхностная вспашка. Тема урока — волынолюбивые мотивы в лирике Пушкина. Голос учителя:

— Иоффе, прочти материал. Что автор вложил в эти строки?

Любви, надежды, тихой славы  
Недолго нежил нас обман.

Идет «прочтение материала». Покашливая, Иоффе подыскивает неестественные, но кажущиеся значительные слова: «фабула, перипетии, абстрагируя создавшиеся концепции...»

Трудная задача — живой ум подростка сопротивляется.

Проигравшему в покер легче вытащить зубами колышек из земли.

Поззия... Однажды весной в наш десятый «Б» залетела ласточка. «Абстрагируя создавшиеся концепции...» Низ золотой от солнца доске мелькнула острая тень. И ожил класс...

Нет сил никаких у вечерних стрижей  
Сдернуть голубую прохладу.  
Она прорвала из горластых грудей,  
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,  
Чтоб там, наверху, задержало  
Витийственным взоглас их: от торжество,  
Смотрите, землю убежала!

Как белым ключом закипая в котле,  
Уходит брачливая влага.—  
Смотрите, смотрите — нет места земле  
От края небес до оврага.

— Староста, прогони птицу!

— А как?

Лоннула тишина — хотят, хихиканье, коварные сорвут с «камчатки». Староста бежит к вешалке: в те, послевоенные годы, наша пальто и фуфаска висели в классе. Староста бросает в ласточку зимнюю шапку. Мимо! Мечется птица. Владелец шапки радостно возмущается:

— Порвешь!

Голос с «камчатки»:

— Не прогоняй птицу!

С треском вспороли бумагу, распахнули второе окно, — ольяння, хлынул запах сырой земли. Ласточка упорнула в синеву...

Я вырос в семье школьных учителей, учился в педагогическом институте, работал в пионерской газете. Приходилось сидеть на уроках, заглядывать в Дома пионеров. Ежедневно я прочитывал по сорок писем школьников, пионервожатых, учителей.

Голос учителя: «Давит программа...» Жалоба пионервожатой: «Литеркружок захирел...» Чья вина? Загибая пальцы, учительница перечисляет методы критического реализма: «Реалистический герой—раз, гуманизм—два, типичность—три...»

— Не прогонят птицу!..

Конечно, все это важно, все правильно, только не хватает самой малости. Сломаешь весеннюю ветку, и в лицо брызнет кислый сок...

Поэзия должна быть в самом преподавании!

А в соседнем классе на физике оживают, ворчаются под подошвами мокрые камни — закон тренинга! Нынотон потирает на лбу шишку. Кстати, почему даже бывшие двоечники навсегда запомнили этот закон Нынотона? Не в проще других. Нынотон вышел в сад, упало яблоко... Да потому, что закон физики и живой поэтический образ соединились! К сожалению, в пединститутах на факультетах физики, химии, математики литература не преподается. А правильно ли это? Может быть, изучать хотя бы факультативно? Ведь не зря дошло до нас изречение: «Можно не знать геометрии, но нельзя, не знать литературы, быть культурным человеком». Поэзия одухотворяет цифру, дает ей цвет, запах, реальную плоть в таком образом исключает бессмысличную забрежку.

«Литеркружок захирел», потому что подошли к живому делу механически.

Пыльное лето 1954 года. Жара. Мы стоим во дворе детдома. Трещит барабан. Стремится. Голос воспитателя:

— Идем любоваться природой... Раз-два, левой!»

В графе учебного плана появляется птичка. Но не та, которая весной залетела в класс. Мертвята птичка.

Голос экскурсовода, работающей по маршруту Ессеентуки—Пятигорск: «Любуйтесь, здесь — Эльбрус, там — Машук. С детских лет юный Мишель полюбил синие горы Кавказа. Царь ненавидел его за критику...»

Еще одна мертвята птичка.

Если жизнь человека сравнить с рекой, то ее исток — школа. Вот почему я вспомнил этот эпизод.

По дороге в Тарханы я и жена остановились в цензенской гостинице. Молодая девушка, дежурная по этажу, выдала мне квитанцию, в которой было написано: «Шкляревский, с ним одна». Я не поверили глазам. «А мы всем так пишем!» — ответила дежурная.

Причем здесь поэзия в школе?

А при том, что человек, сызмальства полюбивший поэзию, никогда бы так не написал — чувство слова и чувство такта неразделимы. Но вернемся в школу.

Из класса Нины Семеновны на фильтр поступает один человек.

Из класса Киры Михайловны — почти половина.

Соседние школы, одинаковая программа. В чем же дело?

Я сидел на уроке Киры Михайловны и думал о том, как повезло тем, кто слышит ее иззволнованный голос: «Приближается звук. И, покоряя щемящему звуку, молодеет душа...»

Разговор о Блоке учительница начала словом о поэзии: «Она прямо или косвенно участвует во всех великих событиях настоящего и будущего.

Она тайно сопутствует всем выдающимся открытиям века. Гете в «Фаусте» предугадал многие открытия физиков и химиков.

Она по наивности своей может ошибаться, но задевом никому сомнительному делу служить не будет.

Огромна сила ее сопротивляемости всему, что недостойно ее порыва, взгляда. В этом смысле она сильнее своих творцов.

У нее великое будущее уже хотя бы потому, что не все еще сегодня ее понимают и любят.

Она сильнее безвозвратности!

Она может остановить в воздухе осенний лист: никогда не упадет на землю тот кленовый или осиновый, на который мельком она взглянула!

Одним своим дыханием она удерживает слабых аухом от недостойных поступков.

Она помогает одолевать даже физические недуги. Она не боится косячек и не ограничивает себя красивыми фактами и явлениями.

Напоминаю о крайности человеческой жизни, она тем самым воюет с ленностью, трусостью, инертностью...»

Я задавал вопросы ученикам Киры Михайловны. Они хорошо знают «непрограммных» поэтов — Баратынского, Случевского, Аяннского, Ахматову, Заболоцкого. Впрочем, «знают» — не то слово. В этом классе правомочно совсем другое слово — «любят».

Вечером я и мой друг, известный поэт, сидели в гостях у Киры — так с любовью зовут ее за глаза ученики. И черт дернул за язык моего друга.

— Я начинаю стихотворение Блока, а вы продолжайте, потом вы начинаете, а я продолжаю читать.

— Идет!

Через час мой друг сказал: «Сдаюсь...» А у Нины Семеновны девочки тоже любят стихи. Я спросил:

— Каких поэтов?

Отвечали хором:

— Н.Н. (стихотворцев пошлых!)

Как говорится, каков поп, таков и приход.

Набивая охотничьи патроны, развернул старую тетрадь младшего брата. «Человек — это звучит гордо», — крикнул Сатин со дна жизни...»

«Крикнул Сатин со дна жизни», — подчеркнуто жирной, раздражительной линией. Приписка учителя: «Так писать нельзя».

Почему? Небольшое отступление от штампа вызвало раздражение учителя, привыкшего к тому, что за ловко переписанное — пять, за явный пла-тигат — три. А за свое?

На всю жизнь закодировала река ученика 4-го класса одной из московских школ Антона Горелова. С этим общивочным, очень тонким и сложным человеком мы часами просиживали над светлыми плотинами северных рек. Однажды осенью я собирал снасти. Антон смотрел и вздыхал.

— Завтра суббота. Поедем?

Антон мотнул головой.

— Почему?

— Не отпустят...

В конце концов Антон извлек из кармана уже вырванные, смятые листы.

Они пришли в школу, и учительница задала им сочинение на тему: «Что я увидел на летнем лугу?»

Антон начал так: «На прекрасном зеленом лугу лежали коровы лепешки».

Потом он описал одуванчик, стрекозу, сенокос... «Коровы лепешки» покровили учительницу. Приписка: «Некрасиво! Так писать нельзя».

Опять же приписка...

И длинная, острая, как рыболовный крючок, единица.

А Чехов поставил бы своему тезке пятерку.

Учительница Антона понимает поэзию как нечто сладко-красивое, дистилированное.

Невольно вспоминается:

Когда б вы знали, из какого сора  
Растут стихи, не ведая стыда,  
Как желтый одуванчик у забора,  
Как лопухи и лебеда.  
Сердитый скрип, детя запах свежий.  
Таинственная пленесь на стене...  
И стих уже звучит, задорен, нежен,  
На радость вам и мне.

Запах дегтя, плесень на стенах...

Коровы лепешки на лугу...

И музыку этой фразы учительница не услышала: «На прекрасном зеленом лугу...»

А ведь замкнется Антон, станет важным маленьким старичком и будет одергивать своих товарищей словом «нессолидно»... И так бывает, если учитель не понял и прочел вслух, а класс засмеялся. Тень ласточки на школьной доске...

Через двадцать лет встретил в городе детства своего школьного «врага». Мы обнялись, и он сказал: «Слыху, читай...» Я вспомнил: однажды мы дрались четыре перемены подряд. Убегая, он крикнул: «Поэт! У меня было несколько кличек, но самой обидной, как думалось моим дорогим недругам, была «Поэт». Почему?

В автобусе две женщины беседуют о своих чадах: «Твоя куда поступает?» «В МАИ». «А твоя? «Ох, никаку не поступит». «Тогда пристрой ее в наш пединститут на филфак...»

Кстати, у Киры Михайловны медалисты пошли на филфак, на журфак.

«Поэт», «пристрой на филфак»...

Где истоки неправильного понимания этого благороднейшего ремесла?

Послевоенное школьное утро. Зима. Черные окна, холодный пол. Стакан чая и холодная картофелина на завтрак. И вот мальчик бежит по улице. Ветер надул отцовское пальто, и несколько секунд мальчик бежит на месте, зажатый ледяным пузырем воздуха. Обледенелый водосток, замерзший налив на дороге, автобус, набитый рабочими, их одежда пахнет металлом, машинным маслом. Резкая фабричная сирена заглушает школьный звонок.

Входит учитель. Опоздавший прошмыгнул за парту. Сейчас его вызовут, и он будет бормотать о мечтах и снах Татьяны Лариной... С бухты-барахты в дворянскую усадьбу Лариных или на бал к Ростовым...

Что-то в этом есть неестественное — трудно перестроиться.

Я к вам пишу. Чего же боле?  
Что я могу еще сказать?

Сбился, забыл строчку... И вот уже кто-то смеется... Смеется потому, что не готов еще к возвышенной форме разговора, к лягучим рифмам, к восторженным междометиям, страстным признаниям в любви. Еще холодное скучное утро зимнего дня, да и жизни еще только начинается. И непонятное, высокое кажется смешным.

И вот о чём я подумал: литература чутко фиксирует постоянно изменяющиеся формы жизни, быта, труда, а преподавание самой литературы в школе, в частности поэзии, за последние двадцать лет мало изменилось. Конечно, ученики переиздаются с дополнениями и изменяются программы, растет общий интеллектуальный уровень и учителя и школьника. Но не всегда растет вглубь. Отец и мать проводят вечеру на телевизоре, сын часами сидит рядом. Я не собираюсь отрицать великое изобретение века, но книга остается книгой, ее ничем не заменишь.

Что же, на мой взгляд, должно измениться в школе? Я не говорю: «Давайте помечтаем...» В наше время летящий металл обгоняет свой звук, реальность опережает мечту.

Я уверен в том, что скоро первый урок в школе будет уроком и физкультуры, и эстетики, и литературы, и музыки, и истории, и химии, то есть уроком общим, подготовительным. В зависимости от того, какой урок следующий, первый урок сомнится с ним — легко, живо, естественно. Подготовит к нему. И тогда обретет гораздо больший смысл значение классного руководителя, не случайно назначенного

преподавателя химии или истории, а любимого (каждое утро первого), широко образованного человека, который будет входить в класс вместе с рассветом.

Одна из лучших традиций русской школы — рукописный литературный журнал. Пора завести его не только в каждой школе — в каждом классе.

Слыши голос Киры Михайловны:

— А знаешь, почему ты не запомнил стихотворение в этом месте?.. Ты не понял эпитеты. Желтые и синие молчали, а зеленые плакали и пели. В желтых и синих ездили пассажиры первого и второго классов, а в зеленых — беднота. Пoэт не просто дал три цвета, он вложил в них социальный смысл.

Всегда, каждый день — учителю трудно, и чем лучше учитель, тем ему труднее — у него более сложные задачи.

И особенно трудно сельскому учителю.

Непогода не раз загоняла меня к нему в дом. Запомнилась одна грустная встреча в Полосе. Я постучал, и хозяйка меня сразу узнала: мы учились в одном пединституте. Пока я обсыпал на печке, моя постаревшая сокурсница подогнала корову, накормила телят, поросенка, уток. Потом мы поужинали, вспомнили друзей. Я незаметно огляделся — хорошо живет: новый дом, мебель, телевизор, хозяйство. А на книжной полочке — семнадцать книг... Половина из них — учебники. Остальные — художественная литература, да еще одна, красиво изданная книжка. Нет, зе «Буденброки» — «Бутерброда». Вот уж, как говорит-ся, совсем не ко двору.

Но не будем торопиться с осуждением.

Есть на Могилевщине одна лесная деревушка. Под обрывом течет светлый Сож, — по данным ЮНЕСКО, одна из самых чистых рек в Европе. Пять лет подряд я проводил свои летние дни в этой деревушке. И люди там такие же чистые, как их река. И ребята обожают однорукого Егорыча — учителя младших классов. Как он ловит лягушек — без сетки, без удочки, одной рукой!.. Заплыает с ребятами в старое русло Сожа, раскачивает возле берега плоскодонку, и потревоженный линь выдаст себя пучком пызирей, а то и выйдет наверх, развернется и снова на дно — головой в ны. В то же самое место зарывается, только еще глубже. «Тиш!..»

Егорыч, хитро приспускаясь, свесившись с лодки и щирт линя — рука, плечо, голова в воде, только пот наверху. Ученики восторженно следят за ним. «Линь не боится, когда его тягают, — захлебываясь, шепчет Егорыч, — больные рыбы об него трянутся, слизь у него лечебная... Глубоко. Топко... Ага, вот он...» И в лодку тяжело шлепается килограммовый золотисто-зеленый линь!

Придет август, и Егорыч с ребятами бежит в лес за боровиками.

— Ищи там, где полянристо! — кричит Егорыч своим ученикам.

А слова-то какие: линь, полянристо... Живые слова.

Осенью под окном школы я поджидал своего маленького друга Леня.

— О чём написан стишок? — спрашивал Егорыч.

Так скучно шел урок, словно продиралась учитель со своими учениками сквозь сухостойный ельник. Куда подевались живые слова?

Егорыч ли это?

Вечером он с сыном шил дрова, я попросил у него лодку.

— Ключ в хате возле часов, — сказал Егорыч.

Я вошел в дом, глянул на книжную полочку — не густо...

Между прочим, в районцентре Егорыч бывает пять раз в году, в областном — два-три раза, а в Минске — раз в три года. Не так-то просто купить нужные книги да еще с наскока. Может, все-таки председатель

колхоза должен позаботиться об этом — выписывать для своих учителей необходимую литературу, уж колхоз не откажут. И не только выписывать книги — сделать так, чтобы у сельского учителя дрова были поколоты и корова подоена. Учитель должен учить, а все остальное время сам учиться, это и есть — читать книги.

В Карелии, в поселке Энгозеро, на зеленом холме стоит деревянная двухэтажная школа. Стоит прямо над озером. Я почевал в ней и с грустью покалел, что не пришлось мне учиться в этом чистом, прохладном доме. Мы открыли окно, и озеро вошло в класс, затопило его синевой и резкой свежестью. Местные

рыбаки рассказывали мне, что обходятся без маяка. В ненастные вечера, возвращаясь с лова, они ориентируются по окну местного учителя. В нем всегда горит свет.

Ледяной ветер дует осенью с Белого моря. Волны Энгозера разрушают скалистую часть холма, на которой стоит школа.

Волны поколений обрушаются на человека, в окне которого горит свет, и катятся вдаль, просветленные силой поэзии, окрыленные ее неизбытной свежестью.

Учитель — свет несущий...

Не прогоняй птицу!



Н. БЕККЕРМАН

## ВОЛШЕБСТВО РЕАЛЬНОСТИ

**K**нига Евгения Богата «Вечный человек» («Молодая гвардия», 1973) неожиданна и, может быть, даже парадоксальна. Парадоксальность заключена уже в самом ее названии. Разве есть на земле что-нибудь менее вечное, чем человек? Разве не случайно он погибает Гагарином? Разве не он умирает от разрыва сердца молодым, буйно талантливым журналистом?

Все это так. Человек смертен и мимолетен в мире. Но это и не так, потому что Человек вечен творениями его разума, неисчерпаемостью его человечности, силой его веры в торжество добра.

Об этом вечном человеке, что жил на земле много веков назад, что живет сейчас в каждом из нас и что будет жить сотни лет спустя в наших потомках, рассказывает книга Евгения Богата. Форма ее свободна, предельно раскованна и открыта полемична. Но, закрывая книгу, без колебаний соглашаешься, что такая она наиболее оправданна и современна, потому что объемно и точно позволяет выразить главную мысль написанного — мысль о высоте и нетенности человеческого духа. Мысль эта, предстающая перед нами в ряде связей. Человек и Творчество, Человек и Доброта, Человек и Война, Человек и Человечество, Человек и Космос — определила жанр «Вечного человека»: синтез темпераментного художественной публистики и философского эссе.

Каждый, кто захочет прочесть эту книгу, найдет в ней что-то наиболее дорогое лично ему, созвучное его индивидуальному восприятию мира.

Для кого-то это будет раненый бизон, доверчиво уткнувшийся в ладони человека, для кого-то наш современник, сумевший открыть в себе дар — неважно, рабочего или живописца. Для кого-то станут близкими вечный Рембрандт или старая женщина, которую он научил доброте и умению понимать людей. Для кого-то это будет добрый сказочник-поэт Андерсен или создатель «волшебных фонарей» талантливый мастер Энке.

Самого молодого читателя привлечет, вероятно, своеобразная картина «мира будущего» со светящимися елями и вырывающимися из космос кораблями, которые спешат покинуть Землю, смело и увлеченно написанная в «Тревизане-30». А человека постарше заинтересует образ читательницы, чье воображение умеет окрашивать ватман в голубой и оранжевый цвета, девушку, которая сокрушается, что она «обыкновенная», и в которой писатель открывает талант поэтического восприятия действительности, как волшебный дар, доставшийся герою андерсеновских «Калош счастья».

Кто-то, без сомнения, захочет поспорить с автором, как спорят с ним читатели, приславшие письма, вошедшие в раздел «Диалоги». Споры автора с читателями чередуются с заполненными рассказами наших современников. А лирико-философские размышления о любви и доброте, красоте и творчестве — с экскурсами в историю, с заметками о творениях великих поэтов, художников, композиторов, философов — Петrarки, Данте, Шекспира, Достоевского, Рембрандта, Баха, Моцарта, Платона и Софокла, Бетховена, Пушкина и Блока. Широкий круг имен и тем для размышлений, свободных «перемещений» из одного века в другой, из «смежных» областей искусства и творчества в, казалось бы, далекие, объясняются прежде всего стремлением раскрыть сокровенные, волнующие писателя мысли о нравственном и эстетическом идеале человека.

Интересны в книге размышления Евгения Богата о соотношении «духовного» и «материального» во внутреннем мире современного человека, живущего в полу-стремительной НТР. И безусловно, что сейчас, когда «упростители» кричат об исчезновении духовности в век космоса и кибернетики, эти раздумья актуальны.

Автор стремится заставить читателей, и особенно молодых, взглянуться в окружающий мир, старается пробудить в них желание размышлять, желание понимать и узнавать людей, каждую приобщения к тем нравственным и эстетическим богатствам, которые выработало человечество. Чтобы войти в новую эпоху человечества — коммунизм — нужно уже сейчас, сегодня учиться «созидать себя», учиться привносить в человеческие отношения свет высокой духовности.

И этому учит книга Евгения Богата. Именно учит, потому что она по-хорошему диактична. Делясь с молодыми собеседниками раздумьями о возрастающей роли духовности в нашей сегодняшней жизни, писатель помогает каждому из нас опнуть человеке-ка Вечного — в себе самом.



# ...ЧТОБЫ ДРУГИЕ ЧУВСТВОВАЛИ...



**Н**адо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали... — кому адресовал эти ставшие крылатыми слова Никколо Паганини? Только лишь скрипачам? Или дирижерам? Или композиторам? Скорее всего всем сразу уж наверняка компьютерам тоже, ибо в этой фразе — убежденное, выстраданное кредо Паганини-музыканта. Кredo, под которым охотно подпишется каждый, кто, обладая талантом истинным, посвятит себя творчеству. Речь идет, конечно, о тех,

для кого музыка — естественная, как дыхание, необходимая потребность разговора о больших чувствах и проблемах жизни...

«Надо сильно чувствовать...» Молодой латышский композитор Петерис Плакидис чувствует именно так и уже сегодня обладает индивидуальным видением музыки, выразительным языком и достаточно значительным для его двадцатисемилетнего возраста творческим багажом...

Весной 1971 года Союз композиторов СССР проводил в Москве расширенный пленум, посвященный творчеству молодых. И вот концерт в Зале имени Чайковского. Удивительное взаимопонимание сразу устанавливается между публикой, оркестром и солистом, едва возникли первые фразы «Музыки для фортепиано, струнного оркестра и лавтавра» Петериса Плакидиса. Солнечную партию фортепиано исполнял сам автор. Тогда Плакидис, хорошо известный в Прибалтике, впервые вышел на сточную сцену, и его дебют, по общему признанию, стал одной из ярких и запомнившихся страниц молодежного пленума.

...Ощущение сиюминутности рождения мысли и образа в музыке не покидало зал. Казалось даже, что эта волнистая, углубленная стихия размышления, так эмоционально и самобытно переданная автором, словно подхвачена у самих слушателей и возникает в музыке параллельно их чувствам. Современность гражданственного и музыкального начал, нераздельно спаянных, плюс красота мелодическая, стихия фольклора, обогащенного добрыми традициями советской (в целом) и латышской (в частности) музикальной культуры. Это была музыка, которая заставляла слушателей улыбаться в раздумья.

О жизни, которая осмыкается и рождается каждыйдневным трудом и поиском. О молодых людях, месте и долге каждого сложном и стремительном сегодняшнем мире. О богатом душевном складе молодого героя, жажде открытия нового.

Тогда, день московского дебюта, Петерису Плакидису только что исполнилось двадцать четыре года; двумя годами раньше он закончил консерваторию в Риге, заведовав музикальной частью Государственного академического театра драмы Латвийской ССР, к тому времени уже успешно опробовал свои силы в камерно-инструментальной и вокальной музыке, музыке для балета, драматического театра, радио, кино (в кино, кстати, начинал с непростого жанра мультипликации). Тогда же пресса — и латышская и московская — отмечала явное тяготение молодого композитора к самым разным аспектам современной темы.

Современный герой, современная тема — как их понимает Петерис Плакидис?

Отвечаю настороженно от музыки. Послушаем, что рассказывает ее автор:

— В узком смысле слова — это набор «современных заголовков», зачастую не имеющих под собой почвы, то есть яркой, по-настоящему содержательной музыки. В широком смысле слова — это настоящая, содержательная музыка (с программным заголовком или без него), которую невозможно себе представить созданной другим поколением. Музыка, несущая в себе образную сферу, ранее не существовавшую... Каким я вижу героя нашего времени? Исклучительно многогранным. Боюсь что-либо упростить, раскладывая «по полочкам» черты этого героя. Но, на мой взгляд, музыка, его характеризующая — как раз та, о которой я только что говорил...

На снимке: Петерис Плакидис.

Если мы вновь обратимся к музыке Плакидиса, то увидим: сказанное композитором соответствует его творческому поиску в сочинениях различных жанров. Назовем две солоаты для фортепиано, прелюдии, трюо, фортепианные вариации, пассакалию для трех виолончелей и фортепиано, пастораль для флейты и фортепиано, кантуату для камерного хора «Аве соль», музыку к недавнему фильму «Илья-Иволга». Он ищет новые, подчас и непривычные сочетания инструментальных голосов в классических формах, очень любит точное, образное слово — потому охотно пишет на стихи современных латышских поэтов, например, Ояра Вацитеса. Любовь к поэзии определила и выбор тем его популярных военных циклов — от раннего «Трезубца» до нового лирического цикла для меццо-сопрано, флейты, гобоя, кларнета и контрабаса (последний был исполнен с большим успехом на Всесоюзном съезде композиторов весной 1974 года, опять-таки став одним из ярких впечатлений на форуме сегодняшней советской музыки и, пожалуй, наиболее интересным из всего показанного на съезде молодежью). Очень своеобразная, поэтическая романтика, преломленная в размышлениях о нынешней молодежи, вылилась в партитуру «Музыки для фортепиано, струнного оркестра и лягушки», найденное здесь, получило, как и в вокальных циклах, удачное творческое развитие в первом в его жизни сочинении вокально-симфоническом — поэме «Стрелок», созданной на стихи Витаута Людена и посвященной памяти латышских красных стрелков (1972 г.).

Прогрессивная, героническая роль латышских красных стрелков в истории Октябрьской революции и гражданской войны общеизвестна, и тема эта неизменна. Петерис Плакидис не первый обратился к претворению ее в музыке, сконцентрировав свое внимание на событиях апреля 1920 года. Тогда дивизия латышских стрелков была направлена в Крым для борьбы с брангелевцами. Трижды атаковав Турецкий вал на Перекопе, дивизия была вынуждена отступить перед преследующими силами противника, но это был, по сути, пролог разгрома брангелевцев... Опираясь на образные стихи Людена, Плакидис счел необходимым ввести в музыкальную ткань своего сочинения и народные латышские песни — о любви к Родине, борьбе за ее свободу, счастьем долгом каждого человека быть ответственным за судьбу своей страны... Пять контрастных частей поэмы — пять эпизодов, сюжетных и несюжетных, но каждый из них раскрывает и смысл борьбы и характер революционного борца, и образ Родины, земли, обращаясь к нам, людям семидесятых годов, от имени тех, кто бился больше полу века назад за нашу сегодняшнюю жизнь... Поэма «Стрелок» — это и конкретные люди, о которых рассказывают стихи Людена и музыка Плакидиса, но шире — это величавый, эпический мощный, сильный и нестягиваемый образ народа. Главное действующее лицо, вернее, главный инструмент, который создает этот портрет — хор. И вместе с ним — очень остро, современно (ведь музыка пишется сегодня и не стилизуется под музыкальный язык, пусть сравнительно недалекого, но прошлого) звучит оркестр. Оркестр, которым Петерис Плакидис владеет отлично и очень индивидуально, по-своему использует его богатые возможности.

Его язык не просто глубок и ярок, но радует красотой, синтезом новых выразительных средств, найденных им лично и творческих развитых из достижений классической музыки. Причем этот поиск всегда устремлен навстречу сегодняшним мыслям и чувствам слушателей. Это ценное качество, думается, трудно переоценить.

— Я лично предпринимаю определенные усилия, чтобы сделать свой язык максимально конкретным и лаконичным, — говорит Петерис Плакидис. — Доходчивость музыки, легкость ее восприятия определяются системой образности самой музыки. Можно сложным языком написать посредственное произведение в простым — глубокое и содержательное. У каждого композитора есть определенный круг образов, выразительных средств. И они применяются в каждом отдельном случае, согласно творческим принципам и замыслам...

Петерис начал писать музыку рано — с двенадцати лет. В начале своих композиторских опытов страстно увлекался немецкими романтиками, но основное влияние на формирование его композиторского почерка принадлежит раннему Скрябину, Сергею Прокофьеву, венгерскому композитору двадцатого века Бела Бартоку. Не случайно эту творческую взаимосвязь Плакидис подчеркнул и в самом названии своей «Музыки» — по ассоциации со знаменитой бартоковской «Музыкой для струнных, ударных и челястей». Кстати, о жанре «Музыки»: это сравнительно молодой, очень четкий и лаконичный жанр свободного музыкального размышления, к нему часто обращаются композиторы Прибалтики (например, одним из первых — эстонец Яан Рээт). И именно это сочетание лаконизма и глубины в данном (и непростом!) конкретном жанре «Музыки» очень показательно для творчества Плакидиса вообще: тяга к сжатости, немогословию и четкости при непременной выразительности музыкальных образов и действий, при самобытности темы и мелодического начала. Стремление к лаконизму, в котором концентрируется глубинное, философски обоснованное выражение значительной мысли и эмоции, говоря словами самого композитора, — «идей сегодняшнего дня». Не случайно мнение критиков единодушно: музыка Плакидиса всегда вызывает ощущение внутренней сосредоточенности, серьезности.

Для меня всегда имеет важное значение уникальность, самобытное видение мира творческим человеком. То, что отличает данную творческую личность от других. Ее индивидуальность. — Так говорит композитор Петерис Плакидис.

Петерис, что немаловажно, однаково серьезно относится к любому жанру, никогда не удовлетворяясь достигнутым и не настраивая себя на обретение моментальной популярности. Он пишет — как дышит, как думает, зная свою тему, своего современника, того, кому он адресует свою музыку.

...Выход сентябрьского номера «Юности» совпадает по времени с появлением на экранах страны нового латышского художественного фильма «Не бойся — не отдашь» («Дундуринчи») — о семилетнем мальчике-сприте и очень больших «взрослых» проблемах. Музыку к фильму (а ее много) написал Петерис Плакидис. И для тех, кто еще не знаком с его творчеством, эта лента может стать очень добrou первою встречей.

Думать, искать, находить и снова искать — создавать музыку так, «чтобы другие чувствовали»... — вот позиция Петериса Плакидиса. И он всегда верен ей бескомпромиссно.

# К 70-летию со дня рождения Н. Островского



## КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ



**В** сентябре этого года исполняется 70 лет со дня рождения Николая Островского. Что побудило меня, старого комсомольца 20-х годов, коммуниста, ровесника Николая Островского, на старости лет взяться за перо, чтобы рассказать нашей молодежи о встречах с ним в те далекие, незабываемые годы? Сознание, что Н. Островский живет и будет жить в памяти молодежи, вдохновляя ее и личным примером и примером своего героя.

Сорок два года назад — в 1932 году, — то есть тогда, когда в журнале «Молодая гвардия» начала печататься 1-я часть романа «Как закалялась сталь», мы, несколько работников ЦК комсомола Украины, и в том числе секретари ЦК И. Кравецкий, отдахали в Сочи, в «Санатории-3», а в санатории «Красная Москва» находился тогда на лечении Николай Островский. В один из дней, закупив фрукты и подарки, мы его навестили. Николай был очень рад этой встрече, много рассказывал нам о своих планах, о работе над второй частью романа, с большой теплотой говорил о друзьях и товарищах, не забывающих его и помогающих ему в работе.

«Я вам скажу одно, — говорил он нам, — хотя меня и сковала жестокая болезнь, я не сдамся и в дол-

гу не останусь. Все свои силы, сколько у меня их будет, все их отдам, чтобы своим новым оружием — первом помогать партии, народу, комсомолу в их великой борьбе».

Нас тогда до глубины души взволновала эта встреча. Как будто не было страшной, ненезначимой болезни. Мы видели перед собой страстного, исключительной силы воли человека. До сих пор в моей памяти, а еще больше в сердце хранится тепло и задушевность этой первой встречи с Николаем. И в радостные, а еще более в трудные дни и годы моей долгой жизни он всегда и во всем служил мне жизненным примером...

Прошло несколько лет после этой встречи, и для укрепления комсомольской работы меня в числе трехсот молодых коммунистов направили на руководящую комсомольскую работу в пограничную (тогда) Винницкую область, в состав которой входили четыре форпостных округа — Каменец-Подольский, Могилев-Подольский, Проскуровский и Шепетовский, то есть та самая Шепетовка, где рос, формировался, а затем и работал Николай Островский.

Наверху: Н. ОСТРОВСКИЙ. Снимок 1923 года.

В нашей комсомольской организации в те годы установилась священная традиция — на все конференции и съезды комсомола избирать делегатом своего земляка, друга и товарища Николая Островского, хотя он и находился вдали от нас, в Москве, неподвижный, прикованный к постели тяжелым недугом.

В 1936 году, вначале на окружной конференции Шепетовского округа, а затем на Винницкой областной конференции Николай Островский был вместе с нами избран делегатом IX Всеукраинского и X Всеобщего съездов комсомола. 2 апреля 1936 года мы собирались в Киеве на свой IX республиканский комсомольский съезд.

Когда председательствующий объявил, что слово предоставляет делегат съезда Николай Островскому, в зале после бурных аплодисментов наступила мертвая тишина. Мы слышали из Москвы родной, звонкий голос Николая. Это были захватывающие, глубокие взволновавшие всех нас минуты.

Николай проникновенно говорил о том, какой он себе представляет молодежь социалистической эпохи, и страстно призывал нас: «Только вперед, только на линии огня, только через трудности победе и только к победе... — вот девиз молодежи нашей страны, девиз прекрасный, девиз мужественный».

Этот эпизод работы IX съезда, так удачно воссозданный режиссером Н. Машенко в начале киноэпопеи «Как закалялась сталь», вновь, как и тогда, много лет назад, потряс меня до глубины души, как будто это происходило сегодня...

...9 апреля мы выехали в Москву на X съезд ВЛКСМ. В составе делегатов съезда из Украины было много знатных передовиков шахт, заводов, фабрик, колхозов, воинов Красной Армии, своим самоотверженным трудом прославивших тогда комсомол, и среди них известные всем стране Паша Ангелина, Мария Демченко, Марина Гнатенко и многие другие.

В Москву на съезд наша делегация ехала специальным, красочно оформленным поездом, который вел известный тогда всей стране машинист паровоза, стахановец, делегат съезда Петр Кривонос — ныне Герой Социалистического Труда, начальник Юго-Западной железной дороги. По пути следования от Киева до Москвы нас тепло и радостно на всех остановках встречали комсомольцы и молодежь, как бы напутствуя своих посланцев на съезд, но особенно тепло и радушно нас встретили на Киевском вокзале 10 апреля комсомольцы и молодежь столицы нашей Родины — Москвы.

Утром следующего дня при регистрации в Кремле наша винницкая делегация получила мандат и на нашего делегата Николая Островского. И в тот же день секретарь Винницкого обкома ЛКСМУ Володя Медовый, секретарь Шепетовского окружкома В. Пилипенко, секретарь Славутско-Березовского района П. Переверстяленко, пятидесятница Ганя Швидка, начальник Березовской погранзаставы и секретарь Винницкого горкома — автор этих строк поехали на квартиру к Николаю, на улицу Горького, 14 (где ныне Музей-квартира Островского), чтобы вручить ему мандат делегата X съезда ВЛКСМ.

Николай лежал в кровати,крытый по грудь байковым одеялом, поверх которого были вытянуты руки; в военной гимнастёрке, с орденом Ленина на груди. Рядом сидела его мать Ольга Осиповна, а через несколько минут пришла и жена его — Раиа. Комната, в которой лежал Николай, была опоясана радиопроводами, сбоку стоял приемопередатчик, над кроватью его висели радиоаушнинки, так как все было подготовлено для выступления Николая по радио в Кремлевском зале на X съезде ВЛКСМ.

Он тогда уже был почти полностью парализован, действовали только кисть правой и три пальца левой руки, но глаза его горели таким неугасимым энтузиазмом, выражали такую решимость и волю к жизни, что никогда нельзя было и подумать, что глаза эти незрячие, что Николай слеп... Очень трудно, даже невозможно без волнения передать впечатление от этих минут... Островский очень обрадовался нашему приходу, живо интересовался работой каждого из нас, просил рассказать ему о работе комсомола Винницкого и особенно Шепетовской и Березовской организаций. Пальцами левой руки он долго водил по мандрату делегата, ощупывая его, интересовался, что и как на нем написано, и, узнав, что все написано золотыми буквами, что на нем вытиснен барельеф вождя коммунизма, он проникновенно сказал нам: «Смотрите, ребята, как вырос комсомол, в Кремле собираетесь... Подумать только — когда-то весь состав личных дел комсомольцев Березовского района помещался в одном боковом кармане моего пиджака. Это же все ценить, а главное, беречь, как надо! Я обязательно выступлю на съезде, видите, все уже для этого подготовлено, тезисы мои для выступления уже тоже готовы».

Некоторые из нас с трудом сдерживали слезы. Ольга Осиповна и Раиа неоднократно делали нам знаки — дескать, заканчивайте беседу, ему нельзя волноваться, — и вдруг Николай им говорит: «Мама, Раи, зачем вы гоните моих друзей, разве вы не видите, что мне с ними хорошо, пусть они не уходят, пусть еще посидят...». Мы и сами уже понимали, что беседа затянулась, что задерживаться больше нам нельзя, что запрещено его утомлять, а тем более волновать, поэтому, распрощавшись с ним, Ольгой Осиповной и Раей, мы ушли. Но эти 25—30 минут остались в памяти на всю жизнь, и забыть их, как и образ Николая, невозможно. Именно поэтому все так живо сохранились до сих пор и в моей памяти.

Возвращаясь в гостиницу «Европа» на Наглийной, где тогда разместилась наша украинская делегация, мы до вечера рассказывали нашим товарищам о своих впечатлениях и о чем нам говорил Николай.

К великолючию огорчения всех делегатов X съезда ВЛКСМ, подготовленное Николаем Островским выступление на съезде не состоялось из-за обострения болезни. А через 8 месяцев весь Ленинский комсомол, вся наша молодежь с глубокой скорбью прощались со своим любимым писателем, великим патриотом, другом и товарищем, незабываемым Николаем Островским, чей образ навсегда сохранился в наших сердцах.

...А сейчас, в дни осени, когда в нашем подмосковном саду расцвели выращенные нами астры, мы вместе с женой в день семидесятилетия Николая поехали на Новодевичье кладбище и в дни глубокого уважения и любви к Николаю возложили эти цветы на его могилу.

И это была моя четвертая встреча с Николаем Островским.

И. ПЕТЕРЗЕЛ

# В гостях у «Юности»



Журналисты «Юности» часто бывают в Тюменской области у своих подшефных — строителей железной дороги Тюмень — Нижневартовск. Мы стараемся писать о том новом, что происходит на ударной комсомольско-молодежной. Однако масштабами одной этой стройки не ограничиваются связи журнала с комсомольцами области. И первые, кто помогает нам в «расширении кругозора» журнала, — наши тюменские коллеги из местной молодежной газеты. Областная «молодежка» — давний друг «Юности», добрый помощник и советчик.

Сегодня мы публикуем несколько материалов из «Тюменского комсомольца». Они познакомят с непростой, трудной, но яркой и богатой поисками и свершениями жизнью молодежи края.

Рисунки  
Е. ЛЕХТА.

Владимир  
САЛМИН,

секретарь Нижневартовского  
городкома КПСС

## ВСТРЕТИМСЯ НА САМОТЛОРЕ

то было лет пятнадцать назад. Я тогда работал секретарем Сургутского района комсомола. Отправился проводить отчетно-выборное собрание в местечко Тром-Аган. Разумеется, поехали на оленах — другого транспорта тогда не было.

«Расписание» было знакомо: с утра надо выехать из Сургута, ночевать на Почекуйке, в пустующей избушке оленеводов, а на другой день, к закату, можно добраться до Тром-Агана.

Стоял сильный мороз. По сторонам виселись окоченевшие оствориевые ели. Поднялась луна, осветила лес, дорогу и обе оленьи упряжки холодным, неживым светом. Звенящую тишину нарушал только скрип полозьев за редкие выкрики нашего проводника Романа Тэвлинна... Скоро показалась избушка, Роман распрыг оленей, мы поставили на огонь котелок со снегом — и вот здесь, в задымленной избушке, морозной ночью, у крохотной таежной речки Почекуйки, состоялся разговор, врезавшийся в память.

Нас было четверо: Роман, девушка-инспектор района, шарен — корреспондент газеты, и я. Когда

каждый выпил необходимую при таком морозе порцию спирта, когда было опорожнено по несколько кружек крепчайшего чаю и Роман закурил свою трубку, девушка сказала:

— Вот сейчас все геологов поминают: мол, ходят там, где не ступала нога человека. А я как представлю размеры нашего района, мне так и кажется, что еще сто лет будет он заповедным, недоступным местом.

— Ну, это уж чересчур! — не согласился корреспондент. — В Березове газ нашли, теперь повсюду нефти ищут. И найдут! А тогда и места оживут: дороги везде проложат, строительство начнется...

— Дорог не будет, однако, — невозмутимо попыхивая трубкой, вступил в беседу Роман Тэвлинн. — Болота щикло большие. Олешки идут, вертолет летит. Дорог, однако, не будет.

Я знал о размахе разведочных работ, которые велись и на Конде и в Приобье. Но тогда, на пороге открытия Шамского нефтяного месторождения, трудно было представить сколько-нибудь серьезное строительство в Сургутском районе.



— А было бы здорово! — загорелась вдруг девушка. — Сажусь в Тюмень на поезд и приезжаю в Сургут!..

Поскольку фантазия у всех дальше шоссе не простиралась, эти ее слова вызвали дружный смех. Даже корреспондент посчитал, что товарищ инспектор несколько перехватил. А Роман, вообще не любивший бесполезного времепрепровождения, выбил свою трубку и пошел проверять оленей.

...Были потом нефтяные фонтаны в Шаме, Сургуте, Усть-Балыке. Были железные дороги Ильда — Обь и Тавда — Сотник. Пришло время Самотлора по трассы Тюмень — Сургут — Нижневартовск. Много воды утекло, а как свеж в памяти тот давний разговор!

Писатель-публицист из Германской Демократической Республики Эгон Рихтер совершил случайно встречу на Самотлоре своего соотечественника — однофамильца. Вместе с украинскими друзьями из строительного отряда немецкий студент прокладывал дорогу на нефтяной промысел. Что привело на Самотлор обоих Рихтеров?

В своих заметках Эгон Рихтер делится впечатлениями: «Я осознал, что непрступное сердце озера с его нефтяными артериями бьется и ради моей страны и ради будущего всей Европы».

Корреспонденция Рихтера появилась в местной газете после первого посещения писателем Тюменской области в составе большой делегации деятелей литературы и искусства. Тогда он прибыл в Нижневартовск на борту теплохода «Родина».

И вот мы снова встретили Эгона Рихтера. На этот раз он, воспользовавшись советом из популярной у нас песни «Приятель на Самотлоре», взял билет в Аэрофлот.

Рассказывая о цели своей второй самотлорской командировки, Эгон заметил, что его, как и многих коллег из социалистических стран, тянет к истокам нефтепровода «Дружбы», по которому советская нефть устремилась в их страны. Истоки эти здесь, на Самотлоре.

Сейчас уже кажутся далеким прошлым споры о том, как правильно именовать трассу трубопровода, связавшую промыслы Западной Сибири с системой «Дружбы». Первоначально предполагалось точкой отсчета взять Усть-Балык, как и в прошлой пятилетке, когда прокладывался транссибирский нефтепровод Усть-Балык — Омск. Но потом проектировщики вовремя спохватились: без Самотлора путь нефтяного потока не имел бы такого хорошего наполнения.

Трассы стали называть Самотлор — Тюмень — Алмазьевск, а пульевой отметкой на всех схемах изображен наш Самотлор.

Похожая история произошла и с другой комсомольской ударной. «Тюмень — Сургут» — так именовалась строящаяся железная дорога в то время, когда редакция журнала «Юность» и комсомольский штаб стройки подписали известный договор о шефстве журнала над трассой. Но вот прошло немногого времени, и во все официальные документы пропискат новое название: «Тюмень — Нижневартовск»... И снова «виноват» Самотлор.

Рассставаясь с нашим немецким другом Эгоном Рихтером, мы вновь пригласили его к нам. Он ответил, что самой завидной для любого публициста возможность было бы приехать в столицу Самотлора по железной дороге. И не потому, что поезд — единственный вид транспорта, которым он здесь еще не пользовался. Просто он понимает, что значит дорога для экономики крупнейшего нефтяного района СССР, а значит, и для экономики всех стран — потребителей советской нефти.

Экономическая обоснованность нового этапа строительного пути Сургут — Нижневартовск ни у кого не вызывает сомнения. Она видна невооруженным глазом.

Вот несколько цифр. У Самотлора есть свой летописец, геолог нефтегазодобывающего управления имени В. И. Ленина, делегат XV съезда ВЛКСМ Николай Медведев. Он фиксирует все абсолютные рекорды, установленные уникальным месторождением. Весной 1973 года Николай внес в свою записную книжку круглую цифру: 1 000 000. Сто тысяч тонн нефти впервые перекачали за сутки вахты самотлорских операторов. Отныне добыча крупнейшего промысла страны измеряется шестизначной цифрой.

Все знают, каким напряжением воли сотен строителей, нефтяников и, конечно, транспортников дотянулась эта круглая цифра. Все материалы и оборудование цыплю по воде, перебрасывались по воздуху. После ряда перевозок стоимость каждой тонны цемента, каждой бетонной плиты и бурового станка возрастала в несколько раз. За короткую северную навигацию надо было успеть доставить в Нижневартовск тысячи тонн самых разных грузов.

Ученые с максимальной точностью выяснили место Самотлора в рабочем строю. По их подсчетам, гигант может выполнять работу втрой большую, чем сейчас. Ежесуточно на месторождении может добываться до 300 тысяч тонн нефти, а за год на перерабатывающие предприятия поступит около 100 миллионов тонн самотлорской нефти.

Наступает такой этап в освоении месторождения, когда рост темпов добычи возможен только при на-



личин устойчивой (круглогодовой!) транспортной связи с Большой землей.

Мне вспоминаются слова первого секретаря Ханты-Мансийского окружного комитета партии, Героя Социалистического Труда В. В. Бахилова: «Приход первого тепловоза в Нижневартовск станет одним из центральных событий в хронике нынешнего десятилетия».

Трасса Тюмень — Нижневартовск для молодежи сороковых годов — такой же испытательный полигон, как для комсомольцев шестидесятых — железная дорога Абакан — Тайшет.

Интересная подробность. Тюменский композитор М. Бирман написал музыку на слова стихотворения «Комсомольская магистраль», очень популярного на трассе строящейся железной дороги. Композитор, конечно, не подозревал, что эти стихи родились еще в Сибири и почти без изменения вошли в жизнь новой магистрали. Заменены только географические названия. Вместо «Абакан встречал немогодью» поется сейчас «Сургут».

Не так давно, находясь в гостях у строителей на шего участка трассы, первый десант которых высадился возле будущей станции Мегион, я услышал, как в хорошо известный мне текст песни удачно легло в размер новое слово: «Самолет встречал немогодью...» — пели ребята, и, глядя на их разномастные ковбойки, на живописные бороды и обязательную гитару, я вдруг особо остро ощутил, что скрывается за привычным для нас понятием «преемственность поколений».

В последнее время от комсомольских работников мне иногда приходится слышать довольно категоричные суждения, что с нынешней молодежью гораздо труднее. Секретарь одной из крупных комсомольских организаций Нижневартовска, когда я упекнулся его первичную в пассивности, сокрушенно вздохнул: «Моя ребята слишком рационалисты. Это не сибирская комса, готовая к любым жертвам».

Понимая полемический перелом суждений этого комсогора, позволю себе возразить ему. Вспоминаю своих знакомых, тех, кто еще за год до появления первой на тюменской земле ударной стройки собрался в Ханты-Мансийске на слет молодых разведчиков подр. Первые молодежные коллективы...



Их руководители: сейсмик Юрий Озубихин, вышкомонтажник Александр Кузяков, геолог Николай Меллик-Карамов.

Николай — сейчас Герой Социалистического Труда. Иногда встречаю его на совещаниях, пленумах. Пристало вспоминать его друг в друга. Придирчиво отмечает все седины, безжалостные морщины. Новые задачи, новые дела. Но ши разу прославленный мастер не пожаловался на сегодняшних комсомольцев.

Может быть, он одинок? Вовсе нет. Главный строитель города на Оби, начальник треста «Нижневартовскстрой» Ян Малинский. Уж он-то имеет возможность сравнивать! Малинский работал на нескольких ударных стройках — шестидесятых, шестидесятых годов. Вот его особое мнение:

— Мне посчастливилось командовать молодежным подразделением ударной стройки, поближе узнать нынешних комсомольцев в деле. То, что они делают сейчас, не уступает по значению Братской ГЭС, Абакан — Тайшету и, пожалуй, превосходит их.

Конечно, спектр характера сегодняшнего комсомола иной, чем у его предшественников, хотя бы и таких легендарных, как Павлик Корчагин. Ведь и задачи перед ним другие, более масштабные. Корчагин строил узкоколейку с помощью кирки и лома. Парики семидесятых прокладывают тысячеверстную

## ЛЕТОПИСЬ СТРОЙКИ



**1965 ГОД. Октябрь.** В Тюмень с Абакан — Тайшета прибыла первая бригада путейцев-строителей. Будущая дорога Тюмень — Сургут протяженностью в семьсот километров свяжет нефтяное Приобье с транссибирской стальной магистралью. Большая часть ее пройдет по необжитым районам, тайге и болотам.



**1966 ГОД. Май.** На стройке начала работать полуавтоматическая станция. Она выдала первые звенья железнодорожного пути.



**1967 ГОД. В Тобольске** состоялся первый слет молодых строителей трассы. С тех пор стало традицией проводить подобные слеты, на которых подводятся итоги соревнования и награждаются победители.



**1967 ГОД. 25 октября.** Первый поезд пришел из Тюмени берегу Иртыша у Тобольска. За успехи в социалистическом соревновании в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции управление «Тюменстройпут» было награждено Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС.



**1967 ГОД. Декабрь.** Над Иртышом началась укладка первых пролетов будущего моста. Работы выполняет бригада слесарей-монтажников А. Г. Лавриненко.

стальную магистраль, управляя мощнейшей техникой, решая сложнейшие инженерные задачи.

По подсчетам работников института «Сибгипротранс», для строительства конечного этапа стального пути надо уложить в тело насыпи 15 миллионов кубометров земли. Если учесть, что почти весь участок Сургут — Нижневартовск протяженностью более 200 километров — это болота и озера, станет ясно, как непросто отсыпать полотно дороги. Впрочем, почему именно отсыпать? Сейчас на трассе более популярен другой термин: намыть. Гидронасыпь полотна — сложная инженерная проблема. Но только ли инженерная? Разве не является успешное внедрение этого необычного в практике строительства железных дорог способа испытанием моральных качеств молодых трассовиков?

И если комсомольцы-гидромеханизаторы, такие, как А. Болобонов, В. Козырев, А. Растроргев, «вопрошают» миллионы кубометров, блескяще опровергая все доводы скептиков о неэффективности намыва в северных условиях, то, значит, не угласа в них та главная черточка Павки — смелая уверенность в своих силах.

Да, инженерная проблема часто оборачивается нравственной. Строительство железнодорожного пути от одной из станций до речного порта проектировщики предложили вести с помощью обычных методов. При этом обрекались на вырубку красивейшие леса в зоне отдыха нефтяников. Гидромеханизаторы решили изменить проект — не пользоваться песчаными карьерами правобережья речки Черной, а взять песок со дна этой реки. Кстати, Черной такое вмешательство пойдет только на пользу — русло ее очистится, меньше ила будет выноситься в акваторию порта. А красивейший бор останется нетронутым.

Вспоминая об этом отступлении от проекта, я каждый раз думаю: а у тех, первых, было время, чтобы подумать о сосиске или судьбе речушки? Неужели, строи свои «города на заре», они всегда подчищались только логике целесообразности? Не верю этому.

Просто в те несигные времена железная экономия часто не давала проявиться лучшему качеству молодости — стремлению к красоте. Строители тех лет вынуждены были бороться не с «архитектурными излишествами», а с настоющими лишениями. Жилицкий вопрос трассовика решался просто: палатка-времянка, комната в общежитии. И если он строил каменные дома в дворцах, то они предназначались для других. Сейчас же, как замечаю, происходит интересный процесс: размах стройки растет, а само понятие «трасса»... сужается. Постепенно оно перестает обозначать те трудности, нагромождение которых часто отпугивает обладателей комсомольских путевок. Трассовики теперь не хотят доводствоваться черновиками своих городов.

Эта примета времени — примета нашего участка трассы Тюмень — Нижневартовск. Финишный участок значительно сложнее предыдущих. Несмотря на это, количество временных поселков вдоль трассы здесь сведено к минимуму. Большая часть строителей будет жить в Сургуте и Нижневартовске в современных крупнопанельных домах. Потом в них поселятся эксплуатационники. Смета предусмотрела расходы на детские сады, ясли, школы, дома культуры для трассовиков — все в капитальном исполнении. Микрорайон строителей железной дороги впишется в архитектурный ансамбль Нижневартовска как один из самых современных и благоустроенных.

Вокзал столицы Самоглора будет интереснейшим архитектурным сооружением Среднего Приобья.

Итак, «Даешь Нижневартовск!» — этот лозунг не в силах будут стереть с путекладчиков самотлорские метели. Но привычное «Даешь!» вместило в себя и совершенно новый, присущий нашим дням смысловой оттенок. «Даешь!» для трассовика теперь означает строить не только быстро, но и очень качественно, без скидок на северные условия.

«Удовлетворительно — значит плохо!» — этот лозунг родился у нас на Самотлоре, в молодежной бригаде отделочников. Я думаю, что его возьмут на вооружение и строители дороги на Самотлор.

## ЛЕТОПИСЬ СТРОЙКИ



**1969 ГОД. 29 марта** жители Тобольска впервые услышали гудок тепловоза. Из Тюмени по новой железнодорожной магистрали сюда прибыл пассажирский поезд. Первыми пассажирами стали строители трассы.



**1970 ГОД. Декабрь.** В канун Нового года государственная комиссия приняла 18 объектов Сургутского речного порта. Самый крупный на Средней Оби порт в строю. Строители вручили речникам символический ключ от «голубых ворот» Севера.



**1971 ГОД. Март.** У сибирского села Демьянское прозвучал гудок тепловоза. Дорога Тюмень — Тобольск — Сургут подошла к четырехсотому километру. Впереди у строителей еще триста суровых километров трассы по тайге и болотам.



**1971 ГОД. Май.** Тоболяки горячо поздравили бригаду комсомольско-молодежной бригады коммунистического труда восстановительного поезда № 38 Ивана Семеновича Мариненкова с тремя прозыниками сразу: 10 мая (день рождения бригады) опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему высокого звания Героя Социалистического Труда. В этот же день коллектив головного ремонтно-восстановительного поезда № 38 выступил И. С. Мариненков в кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.



**1971 ГОД. Декабрь.** Коллектив комсомольско-молодежного поезда № 522 обратился с призывом ко всем комсомольским организациям Северса поддержать почин московских и ленинградских рабочих — завершить задание пятилетки в четыре года.



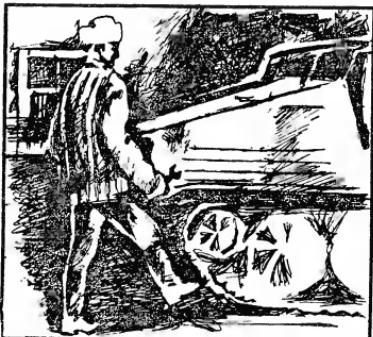
**1972 ГОД. 11 апреля** подписан договор о шествии журнала «Юность» над Всесоюзной ударной комсомольской стройкой железнодорожной линии Тюмень — Сургут — Нижневартовск.



Александр  
ШВЕРИКАС

# СЛЕД В СЛЕД

Рисунки И. СУСЛОВА



— **Я** вам не Наполеон! — недовольно буркнул Жамиль. — Это он по четыре часа в день спал и хоть бы хны.

Жамиль — все его называли Женькой — медлителен, неразговорчив, как и всякий плохой отдохнувший человек. Сбор объявляли на пятнадцати, в субботу, когда нормальные люди, измотанные морозной рабочей неделей, нежатся в постели, начисто забыв о будильниках.

Женя молчком подошел к тягачу под номером 406 и, сразу забыв обо всем, с головой ушел в свое занятие — осмотр машины перед дальним и не очень приятным рейсом. Возился он долго. После чего удовлетворенно отер руки ветошью: «Порядок в танковых войсках!»

Второй водитель, Слава Грисюк, уже давно томившийся от безделья, весело подмигнул:

— Не доверяешь ты ей, что ли?

— Меня в армии лейтенант выучил: на машину надеялся, а сам не ленился.

Он посмотрел на Славкин тягач номер 407, стоявший рядом. Правой фары у вездехода не было. Славка перехватил его взгляд:

— Ерунда! К тому же новую фару днем с огнем не сыщешь!

— Искал — нашел бы! — отозвался Жамиль и, заливая спор, бросил коротко: — По машинам!

Славка хотел было спросить, по какому праву тот раскомандовался, но вспомнил, что Сергей Пикман, комсорг самотлорского участка нефтепровода, затевавший этот «большой поход», выбирал почему-то гловной машиной четыреста шестую.

Вездеход Жамиля Гиндулина завелся, что называется, с полоборота и, лязгая гусеницами, двинулся, оставляя на вышампене ночью снегу четкий узор траков. Славка же, прежде чем завести свой, долго орудовал рычагами, так что кожа на ладони покраснела от напряжения. Наконец, сквозь треск переключающихся шестерен прослушалась пульс двигателя, и второй тягач пошел по следу, наславив на узор новые штрихи.

За городом машины сошли с бетонки и, сбросив скорость, двинулись прямо по снежной целине. Обидно прокладывать путь по болоту, когда рядом бетонное покрытие. Но эта параллельная дорога нужна была строителям нефтепровода для громоздкой трассовой техники. Впрочем, просека шла только до Мегиона, а дальше лежала неторопная снежная целина, преодолеть которую пытались только один тяжелый тягач, застрявший где-то в урьевской тайге.

Об этом утонувшем вездеходе знали все в нижневартовской тракторной конторе. И все же, когда комитет ВАКСМ решал, чьи машины послать для прокладки зимника, конкурс вышел немалый: у комсомолца Валентина Тарана записались на всякий случай даже водители легких вездеходов, хотя было ясно, что их помощь вряд ли понадобится. Комитет выбрал Грисюка и Гиндулина как бывших танкистов, выполняющих норму на 180 и больше процентов.

Пикман покосился на Жамиля. Тот сидел за рычагами, чуть подавшись вперед, прикрыв темные глаза. Грохот двигателя, лязг гусениц, дребезжание корпуса раздражали водителя, и он опустил наушники заячьей шапки. Больше всего жалел Женя, что променял на гражданский треху свой танкистский шлем — как бы пригодился в грохочущем вездеходе.

Машины шли медленно, всем своей тяжестью

тюменский  
КОМСОМОЛЕЦ

обрушился на толщу сугробов, которые в матовом свете фар казались серыми, словно были из грязноватого, слежавшегося цемента. Второй тягач попадал в след первому, и в колесе виднелась пытаница мха, веточки елочек, а где-то, в особенно низких местах, выступала вода, довольно неожиданная в зимний день на второй неделе морозов.

В этом был расчет строителей: смыть, срить пуховую перину раннего снега, проморозить как следует трассу будущего зимника, навести ледовую дорогу до Урьевска, чтоб установить регулярное сообщение с этим трассовым поселком.

Им повезло. До того, как начало светать, они добрались до вагон-городка изолировщиков возле Мегиона. Миговали и его. День занимался неяркий, серый, сырой. Гришки кедрача, аккуратные, словно свежие стожки сена, были разбросаны по унылой плоскости снегов. Через полтора часа вышли к берегу протоки.

Головной тягач остановился. Женяка, высунувшись по пояс, осмотрел местность. Лед на протоке прозрачен, хотя довольно толст, ближний берег невысок, а вот второй — лесистый, крутой, лишь метрах в пятидесяти справа положе.

Гидулин решительно махнул рукой вправо: идем там. Славка сделал протестующий жест и указал прямо перед собой. Женяка снова, теперь уже более энергично, показал: вправо бери!

Тягачи повернули направо. Руки Гидулина прокочкили уверенно и, набрав скорость, вышел на штурм берегового откоса. Даже здесь угол наклона был велик, и Сергей Пикман чуть побледнел, когда тягач начал яростно царапать гусеницами мерзлую землю...

Медленно, слишком медленно четыреста шестой высыпалась на берег и, пройдя всего несколько метров, вдруг остановился: левая гусеница соскочила со звездочки. Вторая машина выкатила следом. Славка картиною торопливо, довольный: дорога показала, кто из них прав.

Одному водителю при таком неполадке пришлось бы долго возиться, но у них было три пары рук и второй тягач, который используется как подъемник. На время Грисок и Жамиль перестали быть соперниками, по лицу только гусеницы водорвали на место. Славка, утряс руки снегом, не преминул вставить пинцет:

— Я бы прямиком прошел спокойно. На спор!

Дальнейший путь до Урьевска прошел без осложнений. И вот показался вагон-городок изолировщиков. Ребята, прогодившие, голодные, сразу побежали в столовую.

— Домой без приключений надо добраться! — сказал Жамиль, взял горячую миску онемевшими пальцами.

— Что вы, ребята, уже домой навострились? — спросил начальник участка, встречающий гостей.

— Пора возвращаться! Машины только до понедельника дали, под мою личную ответственность, — объяснил Пикман.

— Так то же до понедельника! А сегодня только суббота, — заторопился начальник. — Дорогу на сто двадцать первый надо пробыть. Там колонна без харчей мается...

— А со стороны Сургута разве нет зимника? — спросил Гидулин.

— Какое там! — вздохнул тот. — Пробовали проложить, да болотина мешает.

— Эх, была не была! — весело произнес Славка. — Болото бояться — в лес не ходить.

— А ты не хорохься! — неожиданно резко оборвал его Жамиль. — Им дорога нужна, а не благородные порывы. Без проводника иди нельзя.

— Да разве за проводником дело станет? — повеселел начальник. — Берите все Елисеева. Он здешнюю тайгу лучше ханты знает. Через это самое болото он как раз за днём ходят. Мы с ним, как буржун, живем: каждый день рыбачки.

— Ну, ладно! — сказал Пикман.

Снова раздалась команда: «По машинам!» И как-то само собой получилось, что проводник сел в четырехсторонней Женяке. Вездеходы тронулись, и вскоре вагон-городок скрылся из виду.

Происнуло. Длинные синие тени лежали на снегу. Тайга, обступившая просеку, была здесь совсем иной. Стояли гренадерского роста ели с громоздкими, словно лосинные рога, лапами, прогибающимися от тяжелого снега. С обеих сторон от вездеходов виднелись следы: то, словно на машине строченные, стежки рыбачек, то путанные, зазы.

Проводник, казалось, вовсе и не наблюдал за дорогой. Надышав в боковом оконечке лукку, он, не отрываясь, глядел на обочину.

Неожиданно он дал знак остановиться. Жамиль послушно застопорил машину.

— До моего знака стоять на месте!

Он побрел по целине, неловко выбирая ноги из снега.

— Чудит проводничок! — заметил Грисок, когда вылезли из кабин на этот неожиданный перекресток.

Женяка не поддержал его, может, из-за всегдашнего несогласия с острым на язык соперником, а может, по какой другой причине. Он оглядел плоскую равнину, где и взгляду-то не за что было уцепиться, кроме фигуры проводника да небольшого снежного бугорка метрах в трехстах от него. Что-то очень не понравилось ему в этом унылом пейзаже. Перед тем как заскочить в кабину, он подозвал к себе Сергея Пикмана.

— Идите за мной, комсорг, гусеница в гусеницу. Без самостоятельности. А печку отключите на время. Надо занаполонить все щели.

Жамиль тоже отключил обогрев, загерметизировав тем самым свой вездеход. Тягач зарывался колесом в глубокий снег, поднимал его корпусом, разжевывал траками. К звукам работающего мотора, выхолыхнув и скрежету железа присоединился еще один — неприятный, булькающий звук невесть откуда появившейся воды.

Впрочем, Славка, шедший сзади, даже не обратил на это внимания — мало ли сырых участков попадались им на пути! Он с удовольствием рванул бы и побыстрее, но впереди маячил, не пуская, ведущий тягач.

Так, черепашьим шагом, преодолели они все триста метров до наблюдавшего за ними проводника.

— Вон, — кивнул он на снежный холмик. — Это затонувший вездеход. Я его еще на прошлой неделе привели.

— Что же ты нам ничего не сказал?

— А зачем? Когда не знаешь, чего бояться, не бишься. Психология.

А Славка не слышал этого разговора. Он был рад, что наконец-то пошли веселее, с каждым метром приближаясь к заветному сту двадцать второму километру. Зимнее солнце, педалю повисев над кромкой леса, исчезло. Загустевали сумерки, вот-вот на небо должны были высматривать звезды.

Водители включили фары, и свет от заднего вездехода проникал в головную машину, мерцал на приборах. Они уже подъезжали к поселку, когда Жамиль обнаружил, что и эта скучная подсветка исчезла. Приоткрыв дверцу, он высунулся из кабинки.

Четыреста седьмой стоял, зарывшись тупым носом в снег.

— Чего стал? — крикнула Гиндуллина, подъехав вплотную к стоящему вездеходу.

Славка, не отвечая, лихорадочно ворочал рычагами. Из чрева двигателя доносился угрожающий скрежет, но тягач и не думал трогаться с места. Прислушавшись к этим звукам, Женяка сразу все поняла.

— Да погоди ты! — остановил он Славку. — Муфта полетела. Доставай-ка лучше трос.

Тот сообразил, что иного выхода нет, и полез за трсом, недовольно ворча:

— Надо же, в двух шагах от цели!

— Скажи спасибо, что не на болоте. А то пришлось бы зимовать...

Славке на это ничего было взорвать. Цепляя петлю на крюк, он думал о том, как стыдно будет въезжать в вагон-городок на буксире.

Когда Сергей уяснил ситуацию, он сразу помрачнев. Вряд ли муфту найдешь в городе. Придется, если у них тут есть рация, заказывать в Сургуте. Потом надо ждать вертолет. Пройдет как минимум два дня. Значит, они не вернутся к сроку, нарушают слоzen...

Четыреста шестой отбуксировал Славкин тягач к площадке, где стояли машины траксировок. Ребят встретили радостно. Как-никак, это были первые водители, сумевшие пробиться на сто двадцать второй километр, по их следам могут проскочить и другие машины. А за ночь мороз сделает свое дело и быстро «забеготонирует» зимник.

Поломка рушила все планы. Но делать было нечего. Придя в вагончик, ребята долго ворочались в спальных мешках. Несмотря на усталость, никто не мог уснуть.

— Ты когда в последний раз коробку смотрел?

— А что глядеть? Интересного там мало. Железки да масло, — не сразу подал голос Грисюк.

— Вот-вот, железки! Торчи теперь здесь из-за своих железок...

— А ты можешь ехать, я тебя не держу! — Обида звенела в Славкином голосе.

— Ладно, ребята, не время для профсоюзных собраний, — оборвал их проводник. — Я вот кое-что вспомнил. На Усть-Балыке ребята эту муфту нагло заварили и так добирались до места.

— Точно! — обрадовался Грисюк пожелтевшей подперекке. — Я тоже слышал.

Утром они все вместе быстро-быстро разобрали двигатель. Работать пришлось в позах из особо удобных, перегнувшись вниз головой через носовой отсек. Вместо теплого бокса — костер на снегу, над огнем гремли онемевшие пальцы.

Муфту заваривали так, чтобы не было ни малейшего скрежета, иначе она бы лопнула через нескользко минут. Больше трех часов возились с двигателем.

Времени оставалось в обрез — так, чтобы к вечеру малым ходом добраться до Нижнененецкого.

Выехали. Славка от радости подал длинный сигнал и стал терпеливо ждать, пока Жамиль обгонит его: понимал, что самому нельзя падти в голове. Но вот четыреста шестой поравнялся с его машиной и стал бок о бок.

— Славка! — позвал Грисюка Гиндуллин. — Давай махнемся! Седись на мой тягач.

Такое предложение было для Славки неожиданным и лестным. Он войдет в город первым, на полном газу!..

Но тут же понял хитрый маневр своего друга. Он просто не доверяет ему, боится, что Славка сликничит, сломает несчастную муфту, потому и предлагает ему свою машину.

— Не-е-е! — решительно покачал головой Славка и быстро захлопнул дверцу, чтобы не передумать.

## ЛЕТОПИСЬ СТРОЙКИ



1972 ГОД. Май. Первый секретарь Тюменского обкома КПСС Б. Е. Щербина вручил начальнику управления «Тюменстройпуть» Д. И. Коротчаеву переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС за первый квартал юбилейного года. Это знамя за Тураг, Салым, Усть-Юган, Тобольский и Сургутский речпорты, за рабочий подвиг строителей Севисба.



В летнем сезоне 1972 юбилейного года экипаж земснаряда Александра Ищука намыл миллион четыреста тысяч кубов грунта. Для условий сибирского Севера это рекорд.



1972 ГОД. Июль. Первыми обладателями выпавших шефов стройки — журнала «Юность» — стали бригада отделочников из СМП-237 В. Милляевой, монтеры пути СМП-522 В. Молозина и комплексная бригада Н. Смирнова из СМП-241.



1973 ГОД. 3 декабря. На 575-м километре трассы забит традиционный «серебряный» костьль. Открыто сквозное рабочее движение поездов от Тюмени до берега Юганской Оби. За 5 месяцев на север перевезены тысячи тонн строительных грузов для газовиков, мостостроителей, нефтяников, геологов.

Подборку подготовил Г. ЕВСЕЕВ.

# ПЛОТНОСТЬ ИДЕЙ

Найти, разведать, добыть нефть — половина дела. Доставить ее из таежной глухомани на Большую землю — труднейшая задача. Тянутся нитки трубопроводов через леса, болота, разливы рек. И вдоль каждой нити аккуратные здания насосных станций, станций перекачки.

До недавнего времени эти станции строили дедовским способом. С Большой земли в таежное безлюдье тащили технику, строительные материалы. И здесь на месте по кирпичику поднимали «от ноля» станцию. Выходили дорого и хлопотно.

Комсомолцы разработали принципиально новый метод блочного строительства насосных станций. О том, как внедрялся этот метод, о его перспективах беседует с корреспондентом «Тюменского комсомольца» Рафаэлем Гольдбергом Игорь Шаповалов, управляющий трестом «Тюменгазмонтаж».

Мы предложили простую вещь, — сказал в начале разговора И. А. Шаповалов, — делать на материке блоки и забрасывать их воздухом в нужный район. Во сто крат это дешевле и быстрее. Понимаете, насколько проще сложить насосную станцию из двух блоков, нежели из десяти, скажем, тысяч кирпичей и сотни балок? Конечно, судьба наша нелегкая, зато работалось интересно...

Теперь вы можете оглянуться на пройденный путь — от крохотного СУ-19 с полукустарным заводом до сегодняшних масштабов. Но ведь для первого шага и всех последующих потребовались люди. Энтузиасты, которые поверили вам. Которые отдали идею свой мозг и свои руки.

— Такие люди нашлись. Инженеры. У них были энтузиазм и образование. Специальности? Самые разные. Строители, как говорят, оторвались от прорабских санов и стали конструкторами. Они стали думать, как не допустить на стройку мелочность, текучку, которая держала их за горло. Пришли люди из машиностроения высокого уровня — самолето- и судостроители. В наших КБ они стали инженерами новой специальности — конструкторами-блочниками. Они искали новые способы компоновки объектов. Они боролись против объема и веса с жаром толстяков, которые во что бы то ни стало решили похудеть. Они строили будущие станции на бумаге, а потом в тайге, опрокидывая сроки. Четверо, вплоть быстрее, чем в прежнем исполнении!

— Судьба ваша была бы более спокойной, если бы, доведя «до ума» первые варианты блоков, вы перешли к стабильной работе. Но этого не случилось...

— Все получилось наоборот. Если завтра мы узнаем, что можно улучшить сегодняшние конструкции, мы тотчас за это взьмемся. Так уж вышло: у нас есть эта возможность — мы до сих пор экспериментальные, со всеми отсюда вытекающими плюсами и минусами.

— Эксперимент и нормы — очень интересная тема. Но прежде расскажите, как развивалась сама идея.

— Я уже говорил, что нас беспокоили объем и вес. И манят объем и вес. Объем трюма самолета АН-12 и его взлетный вес. Кажется, удается закрепиться в этих рамках. А еще любопытно, как идея блочности появилась на размеры наших станций — кустовых и дожимных насосных. «Библия» всякого строителя — строительные нормы и правила. Они требуют размещать станцию в машинном зале определенной высоты. Чтобы в нем осмотр механизмов провести, сбоку-разборку, ремонт... Но это противоречит самой нашей идеи — в случае необходимости быстро перемещать станции. Так, одна из наших котельных, частично отработав несколько лет в Сургуте, теперь трудится в Нижневартовске. Думаю, этот факт помогает понять, что эта «временность» объектов на самом деле означает постоянство их функционирования независимо от перемещений в пространстве.

— То есть стены и крышу ваших станций побоку?

— Они ни к чему. Уже сегодня мы довольно плотно начиняем блоки механизмами. Но это не шир рациональности. Думаю, достаточно одевать насосы,двигатели прочной терморубашкой.

— А есть ли уже опыты «бездомных» установок?

— Насосная станция ДНС-2 на Самотлоре работает открытой. Осмотр! Все доступно. Ремонт! Кран снимает станцию с места и увозит в цех. Еще вариант — откидывающиеся капоты... Да, а заказчики все еще требуют здание. Которое нужно для того, чтоб было где гулять одному слесарю.

— Инерцию заказчика победить нелегко. А Госстрой! Каким вы выглядите в его глазах?

— Никаким. С точки зрения Госстроя нас не существует. С точки зрения строительных норм и правил — тоже. Иная субстанция...

— Надо бы остановиться, зафиксировать то, что достигнуто. А вы все улучшаете. Где же уткнуться за вами строительным законом?

тюменский  
КОМСОМОЛЕЦ

— Мы им уже помогаем. Первый шаг сделан. Создано содружество — мы и СибНИИПигазстрой, куда перешли наши конструкторы.

— Игорь Александрович, сколько воды утекло. Хватает ли пороху, замыслов, свежих идей тем, кто начинал?

— Выясняете точку зрения на необходимость притока «свежей крови»? Да, уже замечаем, случаются пробуксовки. Нужны свежие кадры, которые свободны от наших «мозолен». «Мозоли» — это почетно, но лягут мешают...

— Расскажите о тех людях, которые поверили в вашу крылатую идею и вынесли все на своих плечах. Они оставили семью в Тюмени, а сами по полгода работали в тайге. О рабочих треста. Чем вы обязаны им?

— Всем. В тресте каждый обязан товарищам всем, что имеет. Вы обратили внимание, что премия Ленинского комсомола у нас коллективная на весь трест. Она сделала невозможными споры об отдельных заслугах. Но кому мы особо обязаны — нашим бригадирам. Своих конструкторов трест передал институту. Но бригадиры — никогда и никому. Ведь если, скажем, не окажется сегодня среди нас Кильдишова и Буянова, Шевковляса и Попова, Прудовского, Суфрирова и других, — трест просто перестанет существовать. И это не преувеличение. Трест создан их руками, как и все эти блочные станции на залипых водой и засыпанных снегом тюменских параллелях. Поэтому еще надо выяснить, чем трест должен гордиться больше: двумя сотнями блочных установок или рабочей когорты, которая воспитана в его подразделениях. Без них там, на точках, летело бы все, что так прекрасно рисовалось на ватмане. Они шли на риск вместе с нами. И качество работы (а ведь первая наша насосная станция до сих пор трудится на Усть-Балыке, и «Куминская» почти пять лет в строю) зависит от бригадиров.

— А как выглядят на ваших чертежах будущее? Какими станут блоки?

— Торопим пуск завода. Это — четырехкратное увеличение выпуска продукции. О блоках. Они становятся все более унифицированными — максимум общих для всех них деталей. Ведь первые наши станции — это не заводская была работа, а скорее штучная продукция. Будем шире использовать эффективные материалы. Например, алюминий не только в ограждающих, но и в несущих конструкциях...

— Это все инженерная идея. Здесь за вами институт, опытные инженеры. А кто вам подсажает, как должна развиваться идея комсомольско-молодежного коллектива такого уровня?

— Сложный вопрос. От науки ждали помощи. Но экспедиция «Тюмень-2», которую нам обещала Высшая комсомольская школа, пока не предвидится. Да и осязаемые результатов от первой (1971 год) мы тоже не получили. Будем сами искать. Будем пробовать различные формы общественного призыва. Ради этой идеи стоит поработать.



Когда номер уже был подписан к печати, нам сообщили, что на базе треста «Тюменгазмонтаж» создано экспериментальное строительно-производственное объединение «Сибкомплектмонтаж». В объединении — три завода и восемь передвижных механизированных монтажных колонн.

Идея блочного строительства получила полное признание.

**На стенах**  
**«Юности»**

# ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА

**Б**атрац Дзиов в работах, продемонстрированных на стенах «Юности», предстал перед нами цельным художником, со своим мироощущением, с наметившимся национальным своеобразием, что по достоинству было оценено требовательным столичным зрителем.

В «очекерке» Дзиова четко прослеживается школа Полиграфического института. Воспитанникам этого вуза, как правило, присущее обостренное чувство композиции, их работы отличаются внутренним динамизмом и декоративностью. И самое ценное, чему учит кафедра, возглавляемая до последнего времени профессором А. Д. Гончаровым, — это образное восприятие мира, его внутренняя, а не иллюзорная суть.

Лиричный и эмоциональный художник, Батрац Дзиов выбрал путь так называемой «интимной» живописи. Он либо молчалив, либо говорит шепотом, но не кричит. Это в наше время убеждает едва ли не сильнее...

Хорошее знание материальной и духовной структуры осетинского быта помогает художнику оставаться достоверным в жанровых композициях. Впрочем, иногда он не избегает манерности, которая мешает целостному восприятию вещей.

В горах велико влияние «примитивов» (в чисто художническом смысле слова), ощущаемых всюду: в скалах, в искореженных обвалами тысячелетних деревьях, в гигантских валунах, оставшихся от ледников... Можна быть уверенными, что некоторая пластическая деформация вещей и образов не дана моде, а свойство, органически вытекающее из природы горного Кавказа.

Небольшой по размеру «Портрет на фоне стога» — беспророчная удача художника. То же надо сказать о литографии «Дерево», являющейся философским осмысливанием темы «Природа и человек».

Дзиов плодотворно работает и в области книжной графики: напомню его серии иллюстраций к произведениям осетинских писателей («Горский всадник» М. Цагараева, «Тепло очага» Г. Бицоева).

Я внимательно слежу за ростом моего младшего собрата (он родился в 1942 году) и радуюсь его успеху, равно как успехам всей моей республики, которая в этом году торжественно отпразднует двойной юбилей — 50-летие своей автономии и 200-летие присоединения Северной Осетии к России.

Символично, что первая персональная выставка молодого осетинского художника состоялась в Москве в канун наших национальных торжеств.

Заур-Бек АБОЕВ



# СТУДЕНТ СОФИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Документальная повесть

«...Мы все грешим тем, что не оставляем для истории даже переписку между членами партии нашего времени, а она часто дает свежую картину происходящего... Через сто лет это будет читать с увлечением и по-новому и поймут наши трудности и наши победы и достижения. Горячий привет Вам, дорогой друг!»  
(Из письма Александру Михайловны Коллонтай Семену Максимовичу Мирному, 17 ноября 1950 года).

**П**ознакомился я с ним до войны, в начале 1940 года. Он пришел в иностранный отдел редакции газеты «Труд» и предложил написать статью об одном известном шведском миллиардере, тесно связанном с гитлеровскими военными концернами. Через несколько дней статья появилась в газете. Отличало статью поразительное знание закулисных интриг магнатов индустрии: разоблачительные факты были сильнее ругательных слов.

Как-то незаметно он стал необходим редакции. В одной из комнат на полках лежала иностранная пресса. Он был лондонский «Таймс», парижский «Тан», немецкую «Франкфуртер цайтунг», находил самые важные факты, делал выписки. Однажды я обратил внимание на то, что он читает венгерскую газету. «Вы знаете венгерский язык?» — спросил я. Он застенчиво улыбнулся и ответил утвердительно. «А еще какие?» Пробормотав что-то невразумительное, он перевел разговор на другую тему. Тогда мы попытались выяснить, какие европейские языки он

не знает. В римской газете появилась статья журналиста Гайды, который в те годы был известен как рулер фашистского диктатора Муссолини. Среди нас не было сотрудника, знающего итальянский, и мы обратились к нашему новому автору с просьбой порекомендовать переводчика. Он молча взял газету, и через час статья была переведена. Потом он переводил статьи с датского, шведского, норвежского, болгарского, испанского. Закончив работу, говорил: «Вот, готово». После того, как он перевел статью из турецкой газеты, мы его больше не знали, ему языках не справлялись.

Война разлучила нас. Я знал, что он ушел на фронт рядовым солдатом, хотя ему было далеко за сорок. Снова мы встретились после войны. Уже был 1956 год. Настроение у него было приподнятое. Он сказал мне:

— Галилей был прав: она верится, и верится вправильном направлении.

— Где трудитесь? — спросил я.

— В Ленинской библиотеке, комплектую иностранную литературу.

Однажды я навестил его на Каланчевской улице, где он жил долгие годы. Мы говорили о всякой всячине, вспоминали общих друзей и знакомых. Потом его жена сказала:

— Сеня, может быть, мы все же отметим? Ведь такое в жизни бывает не каждый день.

— А что отмечать будем? — спросил я.

Он улыбнулся:

— Ничего особенного...

Но я видел, что он чем-то очень обрадован.

— Да не слушайте вы его. Он получил высшую награду Болгарии — орден Георгия Димитрова.



Семен Мирный, солдат революции. Член подпольного обкома партии. 1918 год.

Я не мог тогда выяснить, за что именно он, советский гражданин, получил высшую награду братской страны. Он часто бывал у меня дома, я кое-что знал о его жизни, кое о чем догадывался, но на все мои вопросы он отвечал односложно: ничего особенного, все норма...

Последние годы он боролся с тяжким, нензличимым недугом, но работал до последнего дня...

Хоронили его в холодный зимний день. Позовини из болгарского посольства, сказали, что из Софии вылетел самолет с друзьями. Они приехали в последний момент, возложили на гроб теплые розы и гвоздики. Выступил представитель посольства, и в тишине прозвучали слова:

— Мне поручено сказать в этот траурный час, что Центральный Комитет Болгарской коммунистической партии, болгарское правительство и болгарский народ выражают глубокую скорбь по случаю кончины нашего незабвенного друга и товарища, нашего брата Семена Максимовича Мирного.

Я знал его много лет. Знал о том, что он был близким другом Александры Михайловны Коллонтай, советником посольства Швеции, Норвегии, Венгрии, консулом в Турции, но лишь когда его не стало, понял, что почти ничего о нем не знаю. Я вспомнил слова Расула Гамзатова: «Берегите друзей!» — и мысленно добавил: «И знайте друзей!» Я позвонил в землячество старых большевиков-подпольщиков. Ответ был краток:

— Он мог рассказывать о подвигах друзей, а о себе всегда молчал.

Тогда я обратился к архивным документам, к сохранившимся записям Мирного, написал болгарским друзьям и попросил их помочь. Болгары ответили: «Да будет рассказано правда о нем!»

Повествование о большевико-интернационалисте Семене Мирном начнем с того, что вместе с тобой, дорогой читатель, перенесемся из юга России, в Одессу первых лет революции.



Советский дипломат. Норвегия, 1928 год.

## НА ДУБКЕ ЧЕРЕЗ ЧЕРНОЕ МОРЕ

Революция докатилась до Одессы через несколько недель после Октября — весна шла тогда с севера на юг. В январе 1918 года восставшие рабочие взяли власть в свои руки. Но вскоре Одессу оккупировала армия кайзеровской Германии, а в декабре в город пришли англо-французские интервенты. Одесский областной комитет партии большевиков ушел в подполье.

Секретарем областного комитета была тогда Софья Ивановна Соколовская, известная большевицким подпольем кличкой «Елена» или «Елена Кирилловская».

Родившаяся в Чернигове в дворянской семье, Соколовская в юные годы уехала на Бестужевские курсы в Петербург. Там она вошла в революционный кружок, принимала участие в Октябрьской революции, затем была послана на подпольную работу в Киев, а оттуда в Одессу. Было ей тогда двадцать четыре года.

Эта худенькая, невысокого роста, большая туберкулезом женщина была умна, изящна, прекрасно воспитана, владела несколькими иностранными языками. Необычайно привлекательным было ее лицо, на котором блестели лукавые и смешливые темные глаза. На ее тонкую миниатюрную фигуру с копкой капитановых волос женщины обращались, бандажинки с Молдаваником приосанывались, чмокали губами и говорили: «Вот это да! — щеголи с Дербасовской закатывали глаза.

О ее смелости и бесстрашии ходили легенды. В дни оккупации за ней охотилась вражеская контрразведка, а она появлялась на улицах Одессы, одетая в гимназическую форму с передником, чуть-чуть изменив свой облик, и никто не мог себе представить, что это и есть один из руководителей подпольного обкома большевистской партии.



После вручения ордена Георгия Димитрова. София. 1968 год.



Елена Соколовская.  
20-е годы.

...Москва внимательно следила за борьбой Одессы. Из Центра туда были направлены для работы среди иностранных солдат коммунисты: дочь парижского коммунара Жанна Лябурб, Драган Вальмаж, Стойко Ратков, Живанко Степанович и английский эмигрант под фамилией Кузнецов.

Эта группа коммунистов стала ядром Иностранный коллегии обкома партии. Вместе с ними действовали члены обкома Ели, Дегот, Залик, Штилингер, Дубинский, Ваельник и другие руководящие коммунисты. Елена Соколовская, прибывшая из Москвы представитель Коминтерна Жак Садуль и Жанна Лябурб развернули агитационную работу среди французских войск, где было много марокканцев, алжирцев, сенегальцев, вьетнамцев, насыщенно еклюзивных колонизаторов в свою армию. Иностранный коллегия обкома партии издавала газету на французском языке «Коммунист», которая печаталась вместе с русской газетой «Коммунист» в подпольной типографии.

В бражеском стане началось брожение. Шестнадцатого апреля революционные французские матрёсы пытались захватить миноносцы «Протей»; уже готовилось восстание на судне «Вальдек-Руссо». Агентам иностранной контрразведки удалось схватить Жанну Лябурб и других членов Иностранный коллегии. Их расстреляли. Елена Соколовская говорила о Жанне Лябурб:

«Таких пламенных, таких чистых энтузиастов... я не встречала. Безупречно хорошая коммунистка, опытная пропагандистка, товарищ Лябурб вся горела, всей душой была предана делу революции, и ее сильная краснавая речь была полна захватывающего чувства революционной борьбы».

В апреле 1919 года в Одессе произошли новые события. Царский офицер Григорьев, вчера еще распивавший водку с вожаком украинских контреволюционеров Симоном Петлюрой, неожиданно порвал со своим «союзником» и заявил, что, дескать, прошел и желает помочь Советской власти. Подпольная организация большевиков нанесла оккупантам удар в городе. Войска Григорьева вместе с партизанами ворвались в Одессу, и оккупанты были изгнаны. Уже через месяц Григорьев поднял восстание против Советской власти, потерпел поражение, бежал в штаб батьки Махно и там получил пулю в лоб.

Летом 1919 года Одесса была свободна, и через этот порт поддерживалась связь с внешним миром,

где назревали революционные события, особенно на Балканах. И все же положение Одессы было чрезвычайно трудным и сложным. Крым был оккупирован белыми армиями. Почти на всей Украине хозяйствничали деникины и петлюровцы, на одесском рейде стоял флот интервентов, заперший выход из гавани. Со дня на день в город с севера могли ворваться белые армии.

Сейчас как никогда надо было использовать Одессу для связи с внешним миром, помочь Москве довести до сознания народов Европы правду о целях Октябрьской революции.

В конце июня Елена Соколовская получила сообщение, что из Крыма в Одессу направляются три большевика: Семен Максимович Мирный, Ян Карлович Страуян болгарин Георгий Портнов. Семена Мирного Елена Соколовская знала. Он уже был в Одессе во время оккупации.

Но об этом потом.

В конце июня 1919 года Мирный и его группа прибыли в Одессу. В крошечной комнатке Соколовской в обкоме партии Мирный сообщил о задачах, которые поставила Москва: группа отправится в Болгарию, там встретится с Дмитрием Благовесовым, Вasilом Коларовым и другими болгарскими коммунистическими деятелями и ознакомит их с опытом легальной и нелегальной работы русских большевиков.

На далеком рейде мерцали огни бражеской эскадры. Как бы угадывая мысли Мирного, Соколовская сказала:

— Выбраться в открытое море трудно, но мы уже не раз обводили оккупантов вокруг пальца. Пойдешь на арбузную пристань, там биржа контрабандистов. Эти молодцы не трусливого десятка, но бесстрашные. Попытайся договориться с рыбаками. Местные колумбусы уже давно освоили трассу Одесса — Варна, но только... среди них есть всякие. Будь осторожен... Платить им будем солью и мукой. У нас есть кое-какие запасы для таких дел.. Литературу привезли?

Мирный извлек из-под подкладки пиджака тонкую пачку папиросной бумаги, положил на стол. Соколовская пробежала заголовки, радостно улыбаясь:

— Это здорово, а мы здесь совсем без литературы.

Аккуратными тоненькими пачками разложила на столе листки книги Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский», первые декреты Советской власти, доклад Ленина на Первом конгрессе Коммунистического Интернационала «О буржуазной демократии и диктатуре пролетариата» и решения конгресса.

— Перепечатать придется, — сказала Соколовская, — не в каюту поедет — на лодке. Попадет вода и бумага расплотеется. У нас поплатнее есть.

Весь июль Мирный и его товарищи находились в Одессе. Положение становилось все более тревожным и неустойчивым. По городу ползли слухи, что вот-вот в Одессе будет высажен с моря десант. Привившаяся контреволюция готовилась взять власть в свои руки и устроить резню. В квартиры большевиков подсыпывали подметенные письма: скоро будете висеть на фонарях. По ночам то тут, то там раздавалась стрельба.

Мирный все дни был занят до полуночи; на сон оставалось два-три часа. В Одессе в ту пору было немало болгарских коммунистов, бежавших от преследования царских властей. Георгий Портнов собрал

их в обкоме партии. Мирный и Страуян подробно расспрашивали о положении в Болгарии, уточняли адреса в Софии и Варне.

На арбузной пристани Мирный говорил человека, который согласился перебросить группу в Болгарию. Старик Амвросий, из старообрядцев, хозяин лубка — рыбачьей парусной лодки — запросил дорого: два пуда соли и пять пудов муки-крупчатки. Но когда Мирный наотрез отказался платить грабительскую цену, старик согласился на пуд соли и три пуда крупчатки. Не отпускал Мирного, кротко уговаривала на пиджаке, укоризненно качал головой, ругал себя, что продешевил, и все спрашивал: «Ты какого сословия, милый, будешь?»

Заканчивалась и печатание ленинских работ. Брошюры Ленина и материалы Коминтерна набирали попарелью, чтобы меньше места занимали. Бумага была не акти какая — желтая, оберточная, но тонкая и даже с глянцем. Соколовская и Мирный правили корректуру.

Уже в обкоме партии, в комнатке у Соколовской, литературу обернули сицем и вшили аккуратно в подкладку пиджаков Мирного, Страуяна и Портнова.

В начале августа все было готово к отплытию. Решали отчаливать девятого. Накануне поздно вечером вся группа собралась в обкоме. Видно было, что Соколовская тревожится за судьбу друзей, но старается спрятать волнение за улыбкой и шуткой. Лишь перед самым отъездом, уже прощаясь, сказала:

— Болгарских друзей отправляла в путь-дорогу, а вот с заданием Москвы, прямо к Дмитрию Благоеву — вы первые... Ну, ни пуха ни пера, товарищи!

Девятого августа 1919 года, поздно ночью, когда Одесса спала тревожным сном, Семен Мирный, Ян Страуян и Георгий Портнов на рыбачьей лодке Амвросия отчалили из порта. Дубок тихо проскользнул мимо вражеской эскадры и вышел в открытое море. Редкие огни Одессы остались позади и гасли одна за другим.

Амвросий, глянув на небо, в котором мерцали звезды, осенил себя крестным знамением, сказал: «Ну, с богом, апостолы!» — и поднялся на парус.

Попутного ветра, друзья! А пока лодка плывет через Черное море, познакомимся поближе с Семеном Мирным.

Чтобы узнать о юношеских годах Мирного, я обратился не к архивам маленького латышского города Грина, где он родился в 1896 году, а в Софийский университет. Там я почерпнул сведения о студенте Семене Мирном, оттуда потинулась ниточка в Ригу и Петроград.

Семен рано оставил отчий дом. Отец, служащий лесничества, умер в начале века, мать работала стравовыми агентом в обществе «Россия», взяла на себя заботу о четырех детях. Семен уезжает в Ригу, где поступает в частную гимназию Ривоша. Учится средне, но зато баллы, выведенные в «свидетельстве» после испытаний, проведенного «под наблюдением депутатов от Рижского учебного округа», говорят о недюжинных лингвистических способностях: латышский, греческий, латинский, немецкий и французский языки он сдал хорошо и получил «право на поступление без испытаний в соответствующий класс правительственные мужских гимназий».

В 1915 году Семен Мирный уже в Петрограде, студент университета. Там он оказался в гуще бунтующей молодежи и определил свой путь. В его крохотной комнатушке в доме на Екатерининском кан-

але собираются ближайшие друзья, бурно обсуждают события на фронте. Изредка к нему заглядывает прислуга из господской квартиры, молодая украинка Фроська, попавшая в Петроград из тихого села под Киевом. Постирает белье, выгладит, тихо скажет:

— Панич, годи туу мудрость учить, идти погуляйте...

В феврале семнадцатого Семен надел красный бант и вместе со всеми вышел на демонстрацию. В партию большевиков он вступил через год. Но в Октябре он штурмовал Зимний Дворец и принимал участие в аресте Временного правительства. Его узкое, интеллигентное лицо с очками, прикрывающими блеск зору глаза, хорошо запомнил царский министр Щегловитов. Через некоторое время они встретятся в доме Чрезвычайной Комиссии в Москве. Семен Мирный выйдет из кабинета Дзержинского и в коридоре лицом к лицу столкнется с Щегловитовым, которого ведут на допрос. «Товарищ, вы меня не узнаете!» — неожиданно обратится «бывший» к Семену Мирному. «Я вам не товарищ», — ответит Мирный, и они разойдутся.

Образно говоря, отдел кадров партии в те годы умечался в записной книжке Якова Михайловича Свердлова. Там значился и молодой партиец Семен Мирный. Осенью 1918 года его послали на подпольную работу в Крым. И вот выдержка из автобиографии, написанной в январе 1961 года:

«В 1918 году в условиях деникинцы были одним из организаторов и участников нелегального областного съезда Таврической партийной организации в Симферополе 1 декабря 1918 года. Был избран в обком... По поручению съезда я отправился в Центр для переговоров о нашей дальнейшей тактике в Крыму и образования Таврической Советской Республики после выхода из подполья. Через Одессу, где у нас была постоянная связь и явка к секретарию Одесского подпольного обкома партии Елене Соколовской, я получил партийную явку в Киев (там были петлюровцы), а оттуда — в Харьков и затем в Москву».

Конец 1918 года. Армии генерала Деникина, банды Симона Петлюры, батьки Махно, атамана Тютюнника, атамана Маруськи жгут города и села. Стон от погромов и истрязий идет по всей Украине. Через это пекло пробирался Семен Мирный в Москву.

Бюро областного комитета партии направило в Москву еще одного человека — члена обкома Шульмана. Он направился через Джанкой. Если пропадет Шульман, то, может быть, Мирному удастся добраться до Москвы. Там должен быть решен вопрос о совместных действиях по освобождению Крыма от белых армий и об образовании Крымской Автономной Советской Республики.

Из Симферополя Мирный выезжает на лошадях — две суток мчат его кони к Сивашу; теперь вдоль побережья надо пробраться в Одессу, захваченную белыми. В кармане бумага, удостоверяющая, что «Семен Мирный является студентом Таврического университета», а в голове «легенда», которую он расскажет, если будет арестован белаками: папу, владельца мукомольни, убили большевики, а сам он бежал от террора.

И вот он на Украине. Может быть, удастся найти какого-нибудь извозчика. За деньги телер ничего не достанешь, да и какие деньги на Украине — керенки, оккупационные марки — кайзеровские бумажки, и метелики — валюта ясповельможного пана гегмана Скоропадского. За миллион коробку сличек не купишь.

Но в Крымском обкоме партии все предусмотрели. В заплечном мешке у Мирного лежит то, что дороже золота,— пять фунтов соли. За фунт соли его везут через Николаев в Одессу. Там его ждет Елена Соколовская. Они никогда не виделись, но по притетам она должна его узнать: связные партии подробно описали его внешний вид, и он должен сообщить пароль.

Из записей Мирного можно безошибочно установить, что в эту свою первую поездку в Москву через Одессу, где впервые встретился с Еленой Соколовской, он два месяца добирался сквозь строй врагов, и лишь одна деталь его одесских подвигов благодаřа записей, сохранившихся родными.

Это произошло на узловой станции между Киевом и Харьковом. Его задержали гайдамаки, избили и повели на расстрел. У железнодорожного перехода ножилой устали гайдамак, который вел его за окопницу, наткнулся на молодую, красивую женщину, с пронзительно черными глазами, всю одетую в меха. Она пристально посмотрела на Мирного, подбежала к нему и вскрикнула:

— Павлыч, да что вы тут побываете?

Мирный посмотрел на нее своими близорукими глазами. Что-то знакомое мелькнуло в памяти, но оно не узнал. К счастью, она его узнала:

— Да я же Фроська, прислуга с Екатерининского канала в Петербурге. Неужто не признаете?

Появив, какая опасность грозит Мирному, Фроська, как тигрица, накинулась на гайдамака:

— Ты что, не узнаешь меня, боров?

— Да это же коммунист, приказано в расход,— запопил гайдамак.

— Вон! — закричала Фроська и подкрепила свое приказание пинчичкой.

Гайдамак побежал докладывать начальству. А Фроська рассказала Мирному, что в революцию бежала из Петрограда к себе на Украину, вышла замуж за начальника гайдамаков и теперь она первая дама во всей округе. Муж старше на сорок лет, да ей плевать, зато живет она, как королева. И она гордо повела плечами в награбленных сокровищах.

Не теряя времени, Фроська повела Мирного к себе домой и спрятала в каморку, где лежал всякий хлам. Муженек не заставил себя долго ждать, прончался домой, накинулся на Фроську:

— Ты ту коммунистку отбыва.

Фроська затащила, как обращаться со своим муженком:

— Да врешь все твой старый дурак. С пьяных глаз брешет, а ты на жену кидается!

Грозный муж было не поверил, да Фроська накрыла на стол, поставила всякой снеди, графин с горячкой, в рюмку сама подливала, и тот свалился: спи, старый черт! Вечером вывела Мирного за окопницу, сказала, как идти, чтобы миновать гайдамакские посты.

Долго он блуждал по дорогам. Под напором Красной Армии белые полки скатывались на юг, оставляя на своем пути виселицы и сожженные города. Когда Мирный добрался до Харькова, там уже установилась Советская власть. В небольшом здании в центре города размещалась Центральный Комитет Коммунистической партии Украины. Мирный ходил из комнаты в комнату, искал секретаря ЦК. В коридоре встретил Шульмана. Тот радостно бросился к нему на шею. В воинском эшелоне, забравшись в теплушку, они выехали в Москву. Эшелон останавливался на каждом полустанке, не хватало дров для топки, местами был взорван путь. Через неделю в морозной дымке показалась Москва.

Белокаменная дымка «буржуинами», трубы торчали из всех окон и гляделись из всех этажей. У пустых магазинов вились очереди за хлебом и пшеницей. На Курском вокзале было черным-черно от мешочников, среди них шныряли карманники, беспризорники.

В Кремль посланцы Крымского обкома добрались пешком — трамваи ходили редко, и брат их надо было было штурмом. В тот же день начали выполнять поученное им дело.

10 декабря 1918 года газета «Жизнь национальности» опубликовала сообщение: «Приехавшая в Центр группа членов подпольного О. К. (Мирный, Шульман и др.) получила от Наркомпата и ЦК РКП согласие на образование Крымской Советской Республики...»

Выдержка из автобиографии Мирного:

«По окончании переговоров в Москве мы отправились в Крым и прибыли туда в первый день выхода Ревкома из подполья в начале апреля 1919 года. Я был назначен редактором областного органа партии «Гаврический коммунист» и одновременно вел работу с группой Субхи, прибывшей через некоторое время в Симферополь.

Крым был нами оставлен в конце июня 1919 года. Я с частью членов обкома, Совнаркома и Яном Страуяном эвакуировались в Одессу...»

Так Семен Мирный оказался летом 1919 года в Одессе, чтобы оттуда направиться в Болгарию.

А теперь вернемся к нашим путешественникам.

Берег уходил все дальше. Мелькнули последние огоньки вражеской эскадры. Далеко на юго-западе лежала Варна. Что ждет их там, что принесет им монархическая Болгария? Революционеры во главе с Димитром Благоевым ведут там борьбу, но полиция куда сильнее, заодно с ней действует разведка стран Антанты. Конечно, русским в Болгарии легче, чем где бы то ни было: ведь меньше полуслотстия прошло с тех пор, как Россия спасла эту страну от османского ига, и еще многие помнят боя на Шипке, во болгарском царе приютил бедных эмигрантов, а большевиков он отправляет в тюрьмы...

К утру море забелело барашками. Амвросий пристал, из-под руки оглядывал горизонт. С севера шли тучи. Лодку бросало с волнами на волну. Запись Мирного:

«Море было особыенно бурным в течение двух дней. Нас заливало водой. Хозяин лодки, пожилой старобрюд, встал, перекрестился и сказал: «Дети мои, молитесь каждый своему Богу, кто как умеет».

Хозяин дубка Амвросий принадлежал к секте, обжившейся от России и румынские берега. Высоченный, с окладистой бородой и глубоко сидящими глазами па исщепленном ветром лице, он был похож на пророков, какими их рисуют на иконах.

До империалистической войны Амвросий промышлял рыбу на здоровенном баркасе, продаив улов в Одессе, сбывал перекупщикам. В конце лета, когда на бахчах Румынии дозревали арбузы, гнал шлангом в Констанцию, по дешевке скучал урожай в прибрежных деревнях и сбывал его в Одессе с выигрышом.

В войну Амвросий стал зашибать большую денежку: возил контрабанду, сбагривал дезертирам к болгарским берегам. Осенью шестидесятого года он возвращался из Румынии с ценным грузом — вез кара-

1 Группа турецких коммунистов из воинопленных.

кулевые шкурки, спрятанные в мешках. Был старик на шаланде не один — с верным слугой Федором, сорокалетним мужиком, тоже старообрядцем, которого еще в молодые годы приставил к себе на службу. Поднялась буря, и шаланда стала тонуть. Амвросий спустил лодку, кинул туда мешки с шкурками. Ходил Федор прихватывать, да места не было. Стукнул он его железным ломиком по темени, за борт скинула, перекрестил двумя перстами, как положено: «Иди, мыль, с богом. Иди. Бог да, бог и взял...»

...На четвертые сутки путешествия Мирного, Страуяна и Портнова море утихло. Дубок легко шел под парусом, переваливаясь с волны на волну. Страуян и Портнов, измученные бурей, заснули на носу лодки. Семен приковал на корме, подложив под голову пиджак и уткнувшись в ноги Амвросия. Старик не спал, не выныкал из рук длинный плоский шест руля; казалось, ему все нипочем, только лицо его стало еще более морщинистым и суровым.

Проснулся Семен под утро. Сильно болела шея. Пиджак под головой не было. Семен резко поднял голову и столкнулся лицом к лицу с Амвросием. Старик в упор смотрел на него, дерка в руках короткий железный лом. В голове Семена молнией промелькнуло предупреждение Елены Соколовской: при выборе лодки будь осторожен; среди этих хозяйчиков всякие есть.

«Неужели Страуян и Портнов все еще не проснулись?» Страшная догадка осенила Мирного. Перехватив взгляд Семена, повернувшего голову в сторону носа лодки, старик тихо спросил:

— Куда ассынтизия спрятал и золотишко?

Только теперь Семен увидел свой пиджак, лежавший на корме. Подкладка была подпорота.

— Что молчишь? — тихо спросил Амвросий. В его глазах светилась недобрая усмешка.

— Нет у меня ничего, старик.

— А тут что?

Амвросий поднял пиджак и стал обминать его у воротника.

— Рекомендательные письма везу одному фабриканту.

— Брень. Писем что-то больно много.

Семен, не вставая и в упор глядя на Амвросия, отвёл:

— Чертежи важного изобретения везу. Поглядите, если не верите.

Старик пошевелил бровями, как бы что-то соображая.

— Продавать будешь?

— Да... На чужбину еду. Жить как-то надо.

— Много дадут?

— Постараюсь содрать...

На носу лодки запевелились. Амвросий метнул туда взгляд, бросил Семену пиджак, прошипел:

— Цыть, если жить хочешь... Без меня не доедете, утонете.

Семен согласно кивнул головой. Страуян, шумно закашливаясь, приподняв голову, спросил:

— Когда в Варне будем, дед?

— Да еще для четыре, а то все пять переть. Как ветер поможет.

И снова была ночь. Семен не спал. От напряжения и усталости липкая, холодная испарина покрывала все тело. Страуян понял: что-то произошло, но в море на лодке надо мочьтать. Не спускал глаз с Амвросием. Ночью предупредил Портнова, что спать будут по очереди.

На восьмые сутки на горизонте в сиянии восходящего солнца показалась Варна. Дубок, набирая скорость, пошел к берегу и в стороне от гавани ткнулся

носом в песчаную пустынную отмель. Путешественники вышли на берег, бросились на теплый песок, жадно вдыхали запахи земли, острый аромат цветов, удашающих под южным солнцем. Старик закрепил лодку, ушел в город, не сказал ни слова.

## 8 БОЛГАРИИ

**K** вечеру Георгий Портнов увел друзей на квартиру Григория Чочева, деятеля Варненской организации коммунистов. В озарении солнца Варна казалась красавицей.

Но на частной квартире долго нельзя было оставаться: полиция следила за всеми «подозрительными». Ночью к Чочеву пришел секретарь Варненской организации БКП Дмитрий Кондов. По его совету Мирный и Страуян на следующий день поселились в лучшем отеле города «Сплендида». Документы у них отменные: Мирный значится студентом Таврического университета, а Страуян — литератором. Придумана и «легенда»: оба бежали из Одессы от «террора большевиков». В Болгарии в то время было много белых эмигрантов, и версия, казалось, не вызывала подозрений.

Уютный номер в отеле «Сплендида» позволил забыть ненужности недавнего путешествия, но блаженство длилось недолго. Вечером, когда наши друзья после конспиративной встречи шли в отель, их арестовали, и через несколько минут они уже сидели в городском полицейском управлении на допросе, а еще через час за ними закрылись двери камеры предварительного заключения.

К счастью, секретарь окружного полицейского управления оказался большим любителем ракии — болгарской водки. Решив, что его арестанты — люди состоятельные, он предложил: ночью и весь день они в камере, а вечером идут вместе с ним ужинать в ресторане Приморского парка, конечно, за их счет. Согласие было дано. И вот как только солнце прятало свой диск за горы, камера открывалась, Мирный и Страуян вместе с полицейским чином направлялись в ресторан. Полицейский следил за ними в полной форме с пистолетом на боку. Были две рюмки ракии, он заводил беседу на литературные темы, съедал бифштекс, потом еще один и отводил своих подопечных в камеру.

Поклоны в Приморский парк чуть не кончилисьtragically. В один из вечеров, когда полицейский, насладившись ракией и бифштексами, кейфовал, а его арестант тоскливо ждала возвращения в тюрьму, к их столику подбежала молодая девушка и, чуть не бросившись Страуяну на шею, вскрикнула:

— Дорогой Ян Карлович, какими судьбами вы здесь оказались? Как я рада, как я рада!..

Страуян понял, что они проваливаются окончательно и бесповоротно, если не произойдет чуда. Прелестная девушка — ее звали Мила — оказалась ученицей Страуяна. В годы эмиграции в Париже Страуян преподавал там русскую литературу детям из русской колонии. Мила была одной из его лучших учениц. После Октябрьской революции она вместе с отцом оказалась в Варне, — и вот эта встреча с любимым учителем. Ну, как не завопить от радости!

Полицейский насторожился. Страуян, молниеносно оценив обстановку, улыбнулся Миле:

— Знакомьтесь, это наш друг!

Полицейский, крякнув, приложил руку к козырьку. Наступила пауза.

— А почему вы в таком... я хочу сказать... сопровождении?..

— Понимаете, Милочка, произошла ошибка, так сказать, недоразумение. Оно выясняется сейчас.



Ян Страузин.  
20-е годы.

Мила наконец поняла, что в такой ситуации не следует задавать вопросы. Мириный взял изрядно нагруженного полицейского под руку, Страузин шепнул Миле, чтобы она немедленно связалась с секретарем Софийской организации Болгарской компартии Кондовым и сообщила ему, что Мириного и его завтра этаиним порядком высывают в Софию — ими заинтересовалась контрразведка.

В конце октября Мириного и Страузина под охраной отправили поездом из Варны в Софию на дополнительный допрос, с тем, чтобы потом передать их белогвардейцам в Стамбуле.

Теперь нельзя медлить, и ЦК БКП принимает решение организовать побег русских большевиков. В вагон, в котором проследуют арестованные, направляют опытного конспиратора. Он связывается с ковчевором-болгарином и предлагает ему: он «сненаплю» заснет, арестованные смогут бежать. Конечно, он будет наказан, но это неприятности ему компенсируют. Однако конвой не проклевен. Тогда в ход пускается ракия. Как все полицейские, он большой любитель спиртного. Возлияние следует за возлнянием, и когда поезд приходит на Софийский вокзал, конвой уже еле мотках. Арестанты покидают вагон и быстро скрываются в толпе. На привокзальной площади они садятся на извозчика и прибывают на квартиру доктора Найма Исакова. Мириный, не задерживаясь, направляется к одному из руководителей ЦК БКП Василию Коларову, которому специальный связной сообщил о побеге.

Уже в начале нашего века Васил Коларов стал одним из признанных лидеров болгарского рабочего движения, в которое он вступил во второй половине девяностых годов в двадцатилетнем возрасте. Еще до первой мировой войны рабочие Болгарии послали его своим депутатом в парламент. Вместе с Димитром Благоевым он понимал и ценил великое значение русского революционного движения, был тесно связан с агентами ленинской «Искры» и Октябрьскую революцию воспринял как поворотный пункт в истории всего человечества.

На Третий конгресс Коммунистического Интернационала в Москву он прибыл не только как делегат своей партии, но и как политический секретарь ЦК БКП и был избран членом Президиума Исполкома Коммунистического Интернационала. Через два года он возглавит сентябрьское восстание, будет заочно

приговорен к смертной казни и надолго покинет свою родину. Но тогда, в 1919 году, он был в Софии и вместе с Благоевым руководил коммунистической партией.

Коларову сорок два года, Мириному — двадцать три. Но перед Коларовым — человек, с которым можно говорить на равных, к нему прибыл член Крымского подпольного обкома партии. Коларов предложил Мириному легализоваться. Лучший способ — поступить в Софийский университет, на филологический факультет. Тем более что у него есть студенческий билет выпускника Таврического университета.

Коларов подробно расспросил Страузина о московских делах, о Владимире Ильиче. Сказал, как о деле решенном, что Мириный и Страузин в целях конспирации будут жить на разных квартирах. Для Мириного уже сняли номер в отеле «Наполеон». Страузин теперь должен забыть на время свое имя.

— Получайте, — сказал он Яну Карловичу, передав ему паспорт. — Отныне вы называетесь Юрий Яковлев, русский литератор. Устраивает?

— Вполне!

— Тогда начинайте новую жизнь. Поселитесь на квартире Симеона Пайчева. Это учитель, коммунист, с ним уже договорились.

Из болгарских архивных документов:

«Семен Мириный и Ян Страузин оказали большую помощь Центральному Комитету БКП в деле ознакомления с опытом большевиков. Они участвовали в работе редакции «Рабочински вестник» и «Ново време», где помогли правильному решению некоторых дискуссионных вопросов, в подготовке материалов, отражающих завоевания Октябрьской революции в России и опыта большевиков».

Мириного без особых хлопот зачислили студентом в Софийский университет. Начались регулярные посещения лекций, бдения в Народной библиотеке. Но как только кончаются лекции, «студент» отправляется в ЦК БКП. Там месяцы буржуазия и ее агентура в рабочем движении усилили атаки на Советскую Россию. Газеты печатали вымысли о положении в Москве и Петрограде, перепевали злостные вышады печати других стран. Особено усердствовал А. Цанков, написавший по специальному заказу клеветническую брошюру «Большевизм и социализм». На совещании у Коларова было решено, что ответить Цанкову должен Мириный. 15 декабря 1919 года в газете «Рабочински вестник» появилась его статья за подпись «Русский рабочий Миринов» и озаглавленная «Ответ клеветникам на русскую революцию».

Поздно вечером, когда Мириный возвращается в гостиницу «Наполеон», портые, давно уже за них пристально наблюдавший, спрашивает: «Трудно господину студенту учиться?» — и подозрительно оглядывает его толстенный портфель. А в портфеле не только учебники, но и работа Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Литературу, привезенную из Одессы, он передал в ЦК БКП. Некоторые материалы были переведены и напечатаны в «Рабочински вестник» и «Ново време», а книгу Ленина поручили перевести Петру Искрову и Семену Мириному. Вскоре она была издана в Софии.

Время быстро мчалось. На совещаниях в ЦК БКП Мириный выступает с сообщениями о деятельности Крымского и Одесского подпольных комитетов большевиков в условиях вражеской оккупации. На собраниях, где развертываются горячие дискуссии о путях рабочего движения в Болгарии, рассказывает об опыте большевиков, горячо защищает путь, избранный руководством БКП.

В тот период в ЦК БКП сложилось руководящее ядро во главе с Димитром Благоевым, Георгием Димитровым, Василием Коларовым; оно твердо вело

партию коммунистов по ленинскому пути. Семен Мирный и Ян Страуян стали их бойцами и помощниками в борьбе против левацких уклонов, в защите марксистской линии ЦК БКП.

Вскоре после приезда в Софию Васил Коларов привез Мирного на квартиру к Дмитрию Благоеву — «Дядю». Благоеву было около шестидесяти пяти лет. В последнее время он все чаще болел. Только что, в начале 1919 года, под его руководством завершилось дело его жизни: преобразование созданной им партии «тесников» в Болгарскую коммунистическую партию.

В небольшой, заставленной книгами квартире встретились патриарх болгарского и русского революционного движения и молодой деятель Российской Коммунистической партии большевиков, оба в прошлом студенты Петербургского университета: Благоев — в начале восьмидесятых годов прошлого века, где он создал свой знаменитый марксистский кружок, а Мирный — в середине второго десятилетия нашего столетия.

В ту, первую встречу с Мирным, «Дядя» пристально, с глубоким интересом разглядывал своего гостя из-под кустистых бровей. С 1885 года, когда жандармы выслали Благоева из России, он там больше никогда не был и мало общался с русскими революционерами. Он внимательно изучал Ленина, и на его полках стояли ленинские работы, им самим переведенные на болгарский язык. И вот теперь перед ним молодой большевик из новой России.

— Расскажи про Петербургский университет, — попросил Благоев. — Тех, кого я знал, давно уже нет, конечно. А аудитории все такие же? Как там наш физико-математический факультет? И наша библиотека?.. Да, много лет прошло, а как будто все это было вчера... — Он долго не мог отогнать нахлынувшие воспоминания и все рассказывал: — Мне сказали, что ты приехал из Одессы на лодке... а меня в марте 1885 года этапным порядком жандармы отправили из Одессы в Барну на пароходе «Цесаревич»...

Мирный сказал Благоеву, что вместе с Искровым переводит на болгарский язык работу Ленина и публикует статьи в газетах.

— Я читал твои статьи. Ты понимаешь наши задачи и нашу жизнь. У меня просьба к тебе: напиши статью о роли русской интеллигенции в революции. Это очень важная тема.

Семен Мирный выполнил это поручение Благоева. Вот еще одна из записей, оставленных Мирным.

«Знаменитое здание у Львовия моста с редакциями газеты «Работнический вестник» и журнала «Ново время» стало моей первой политической академией. Нетрудно понять мое волнение, когда в кабинете Кабакчиева обнаружил подшивку «Искры». Я забросил университет и семинарские занятия, манировал лекциями уважаемого профессора Милетича, жадно впитывая неиссякаемую мудрость ленинских идей.

Под одной статьей на тонкой папиросной бумаге «Искры» была подпись: «Македонец» и рядом распышившимися чернилами дописано: «Благоев». С подшивкой «Искры» я зашел к «Дядю» в редакцию «Ново времени». Там как раз находился секретарь Софийской партийной организации «тесников», мой большой друг Антон Иванов.

Благоев говорит Иванову, указывая на меня: «Дай русянку билет в Народное собрание. Пусть прочувствует буржуазную демократию в действии».

Антон дал мне пропуск, и я направился в Народное собрание. Вахтер в здании парламента виртуозно обшарил мои карманы и пропустил меня на хоры. В это время выступал коммунист Мулетаров. Высокого роста, с густой черной бородой, этот адвокат был тем-

■



Васил Коларов,  
20-е годы.

пераментным оратором и вызвал ярость реакционеров в парламенте. Одетые в меховые жилеты, дружбы бросились к Мулетарову, и вот-вот должно было начаться побоище. Но к трибуне уже шел Дмитрий Благоев. В зале наступила та редкая тишина, какую обычно называют «мертвой». Все вернулись на свои места. Тихим, спокойным голосом «Дядя» произнес речь, куда более острую, чем речь Мулетарова. Но никто не посмел выступать против него...

Благоев все чаще виделся с Мирным. В непринужденной обстановке в редакции «Ново времени» и на квартире у «Дядя» долго длились их беседы.

В редакции Благоева проходили совещания, обсуждались статьи, наметки будущих выступлений. «Дядя» выслушивал присутствовавших, потом давал свои замечания, не навязывая своего мнения. «Это был какой-то монолитный сплав глубокой человечности, предельной простоты и проникновенного умения убеждать людей в правоте избранного нами пути», — записал Мирный.

Однажды вечером после долгой беседы о литературе и долге человека перед обществом Благоев подарил Мирному свою книгу «История русской революции» и надписал посвящение своему молодому другу.

На квартире у Благоева Семен впервые увидел Невяну Генчеву. Она вошла и остановилась у двери.

Проходи, проходи, Невяна, и познакомься, — подбодрил ее «Дядя».

Невяна подала Мирному маленькую, теплую руку, с интересом посмотрела на парня из России. Так состоялось знакомство, перешедшее в нежную дружбу, промелькнувшую, как яркая комета на их небосклоне.

«В длинные зимние вечера мы с Невяной гуляли по мокрым туманным улицам Софии. Бесконечно длились наши разговоры, мы спорили, смеялись, шутили. Мы забывали все на свете... Город уже спал, а мы все брали по улицам, и мысли уносили нас все дальше и дальше в будущее, в Государство Солнца, воспетое Томазом Кампаниеллом...»

Полиция следила за Мирным и Страуяном. В конце февраля 1920 года тот самый портные гостиницы «Наполеон», уже в который раз подозрительно разглядывая разбужших портфель Мирного, спросил сердобольным голосом:



Димитър Благоев,  
«Дядо».  
Начало  
20-х годов.

— Трудно учиться господину студенту? — и как бы невзначай дотронулся до портфеля: — Что у вас там?

— Не папай, опасно за живота. Тука бомба! — полуушептило отвечал Мирный («Не трогай, опасно для жизни. Тут бомба!»).

Порты криво улыбнулись и отдернули руку. И надо же, чтобы через несколько дней в театре «Одеон» в центре Софии произошел взрыв и вслед за тем началась полицейская охота за коммунистами. Третьего марта 1920 года софийская полиция арестовала Мирного и выслала из столицы в городок Хасково.

Но мог ли он остаться в провинциальной глупши, вдали от Благоева, Димитрова, Коларова, вдали от борьбы? И вдали от Невяни! Через десять дней онбежит из под надзора полиции и снова в Софии, у Димитра Благоева, у Васия Коларова, вместе с Антоном Ивановым, Христо Кабакчиевым и другими деятелями Болгарской компартии, пишет статьи, выступает на диспутах...

В апреле 1920 года Мирный навсегда прощается с Димитром Благоевым. «Дядо» передает ему пропальчевые приветы в Москву, тепло обнимает. Они уже никогда не увидятся. Василь Коларов вручает партийный мандат на полотне, который Мирный зашивается в подкладку костюма.

Наступает последний день в Софии. Он уже прощается со всеми друзьями. В этот вечер он будет только с Невяни.

Бесна. София в зелени рощ и садов. Они медленно поднимаются на гору Витошу. Внизу, в туманной дымке, будто сказочное видение распластался город...

— Ты вернешься? — спрашивает Невяни.

Семен молчит. Он не знает, что ей ответить, потому признается:

— Я себя не принадлежу.

Он был прав. Ему тогда даже не удалось повидать Родину. Начался новый этап деятельности: Вена, Берлин, Париж.

Еще через месяц он уже в Швейцарии. Там его арестовывают и присуждают к нескольким неделям тюремы. Об этом строки в автобиографии:

«По отбытии наказания меня выслали в Германию. Я убедился, что и в швейцарской полиции бе-

рут взятки. Сопровождавший меня для нелегального перехода немецкой границы полицейский горячо поблагодарил за пять франков «чавых».

Германия теперь только транзитный плацдарм. В середине 1921 года Мирный уже в Петрограде. С удостоверением, в котором сказано, что «русский коммунист товарищ Мирный командируется в Москву, в ЦК РКП», он отправляется в столицу.

## ПОЕЗДКА К КЕМАЛЮ-ПАШЕ

**П**осле подполья, арестов, коиспиративных квартир жизни в Москве показалась непривычно безоблачной. Здесь все было новым и необычным. Партия только что провозгласила новую экономическую политику. В столице да и в других городах начиналась бойкая торговля, открывались магазины с яркими витринами. Появился новый тип преуспевающего изпана, разъезжающего из рысака, прожигающего жизнь вочных ресторанах, на курортах, в злачных местах.

Но все и не сразу поняли непривычность и необходимость нового курса ленинской политики, провозглашенного ими укрепления революционных завоеваний. Через год, весной 1922-го, на XI съезде РКП Владимир Ильин скажет партии и народу, что отступление закончено, а в ноябре того же года на IV конгрессе Коминтерна Ленин констатирует, что «экзмен выдержан», и страна быстро движется по пути экономического строительства.

Но тогда, в 1921 году, подняли голову троцкисты, меньшевики, заявила себя и «Рабочая оппозиция». Партию оторвались диспуты и дискуссии. Да и не все близкие друзья могли сразу понять происходящее. Вскоре после приезда в Москву Мирный встречал на вокзале болгарского друга, бежавшего из Софии. По дороге на квартиру Мирного они проезжали через Охотский ряд. На приземистом одноэтажном здании чернела вывеска: «Торговая братцев Трофимовых». Болгарин разозлорившись заметил: «Я думал, что в Москве на каждом шагу библиотеки, а у вас, оказывается, есть частная торговля».

Во всем этом надо было разобраться, внутренне пережить, понять.

В том же 1921 году ЦК РКП(б) посыпает Семена Мирного на учебу в Военную академию (ныне Академия имени М. В. Фрунзе). Он оказывается в гуще политической жизни академии. В архиве сохранилось удостоверение, подписанное комиссаром Муклевичем:

«Сим удостоверяется, что предъявитель сего Мирный Семен Максимович общим собранием, состоявшимся 9-го декабря, действительно избран депутатом в Хамовнический районный Совет от Военной академии».

Его избирают секретарем партийного бюро Восточного отдела академии и членом Центрального партийного бюро.

Программа в академии была скатой. Стране нужны были образованные люди, а времени было мало: учебный курс был до предела насыщен разными дисциплинами. Сохранился фотодокумент: Георгий Васильевич Чичерин и комиссар академии Ромуальд Адамович Муклевич (будущий начальник Военно-морских сил Советского Союза в конце ваддатальных — начале тридцатых годов) среди выпускников академии, получивших дипломы с оценкой «очень хорошо». В этой небольшой группе военных дипломатов — ваддатишистей Семен Мирный. Академия бы-

ла для него испытанием и фронтом. Именно тогда он получает свое первое дипломатическое задание — выехать в Турцию, встретиться с Кемалем-пашой, передать ему послание правительства Советской России.

Поручение Семену Мирному было эпизодом в борьбе Советской России за мир на земле и освобождение угнетенных народов.

Этой борьбой руководил Ленин, создавший сразу же после Октября дипломатический штаб из вчерашних большевиков-подпольщиков. Уже весной 1918 года Владимир Ильич поручает Яну Берзину выехать с группой сотрудников в Швейцарию, установить контакты с тамошним правительством, распространить из Берна, Цюриха и Женевы правду о задачах русской революции. В декабре того же года Владимир Ильич направляет в Стокгольм Максима Литвинова, только что вернувшегося из Лондона, где он десять лет находился в эмиграции и был секретарем большевистской колонии. Литвинову поручают обратиться с посланием мира к президенту Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсону, и он выполняет эту миссию при помощи советского посла в Стокгольме Вацлава Воровского. В Афганистане тогда же направляют Якова Сурица, возвращавшегося из Дании. В Соединенных Штатах Америки по поручению Ленина действует Людвиг Мартенс, бывший член Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Он издает там газету «Совет Раша», в которой печатает декреты Советской власти и статьи Ленина, пытается установить дипломатические отношения с заокеанской державой. Послы Советской России появляются и действуют в других странах.

И вот результат усилий молодой советской дипломатии, руководимой В. И. Лениным: внешнеполитическая блокада нашей страны прорвана. Одно государство за другим признало Советскую Россию. Однако в начале двадцатых годов обстановка была еще очень сложной. Только что кончилась гражданская война и была разгромлена иностранная интервенция. В стране царили голод и разруха; страшная засуха обрушилась на Поволжье, от истощения погибли тысячи людей. Советскую Россию еще терзала внутренняя контрреволюция. Но и в этих условиях Ленин и партия большевиков делали все возможное, чтобы рассказать всем людям на земле о задачах и целях Советской власти, помочь угнетенным народам освободиться от колониального ярма. Турция, как южному соседу и стране, борющейся против иностранной интервенции и прогнившего сultанского режима, Ленин уделял особое внимание.

А обстановка в Турции была сложной и трудной. Еще в 1919 году здесь под руководством Кемаля были созданы революционные «Комитеты защиты прав». Власть султана была подорвана, но на помочь ему пришли иностранные штыки: английские интервенты высадились в Константинополе и разогнали парламент. Значительная часть депутатов была арестована и сослана на остров Мальту, однако группе в шестьдесят человек удалось бежать; они присоединились к Кемалю. 23 апреля 1920 года в Анкаре было открыто Великое национальное собрание Турции.

Но Англия и Греция начали наступление против Кемала и его сторонников. Используя свое превосходство в силах, они захватили ряд населенных пунктов и подошли к Анкаре. И вот тогда-то Советское правительство окказалось турецкой революции военной и экономической помощью, которая сыграла огромную роль в ее борьбе за независимость. 29 ноября

1920 года Кемаль телеграфировал народному комиссару иностранных дел Георгию Васильевичу Чичерину:

«Мне доставляет величайшее удовольствие сообщить вам о чувстве восхищения, испытываемом турецким народом по отношению к русскому народу, который, не удовлетворившись тем, что разбил свои собственные цепи, ведет уже более двух лет беспримерную борьбу за освобождение всего мира и с энтузиазмом передает несъываемые страдания ради того, чтобы навсегда исчезло угнетение с лица земли...».

Мирный отправился в Турцию в те дни, когда иностранные интервенты подошли к Анкаре и положение было чрезвычайно грозным. О том, как он добирался туда, о его первой «студенческой практике» свидетельствует уцелевшая запись Семена Максимовича.

Привожу ее с небольшими сокращениями.

#### «МОЕ ПЕРВОЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ.

**3** анятия на первом курсе кончились в июне 1921 года. Мы тогда не знали санаториев, не думали о домах отдыха, даже туристических терминов не было в нашем лексиконе. Каникулы проводили на специальной практике того времени: кто направился на ликвидацию остатков банд на Украине, кто на борьбу с басмачеством в Средней Азии; одни проводили лето в своих частях, другие проходили стажировку. Мне, как слушателю турецкой группы, дали «дипломатическое» поручение: отвезти почту к Кемалю в Турцию и еще напутствие — вернуться с хорошим знанием турецкого языка...

По дороге в Трапезунд я подзубрил лексику по каким-то неведомым путям понавившей ко мне книге «Тюрикше конверзионистрамматик» Генри Егличка, императорского и королевского австро-венгерского вице-консула и бывшего доцента императорской и королевской восточной академии в Вене, год издания 1895-й.

Вооружившись практическими познаниями из книги Егличка, я в Трапезунде в турецкой кофейной на площади крикнул официанту: «Бир бардах, шекер берабер» — «Стакан кофе, вприкуску». Мне прислали маленький, с непросткой, чашку кофе и большой стакан воды. Я совершил свою первую протокольную дипломатическую оплошность — сначала выпил стакан воды, а потом кофе.

За соседним столиком сидел благообразный пожилой турок с чалмой вокруг головы, что указывало на его хадж, паломничество в Мекку. Все подходили и здоровались с ним. Его лицо стало приветливым, когда узнал, что мы русские. Он заговорил с нами, занинтересовался положением в Советской России, революцией. Култинарская лексика не помогла. Пришлось собственными средствами сблизить ему наше крестьянскую политику национализации земли. «Да это как в шарнате», — одобрительно отозвался мой ученический собеседник и для вящей убедительности процитировал суру из корана. Как быть? Сказать ему, что, по моему мнению, уже в ранних устных преданиях о Магомете был выхолощен социальный демократизм первоначального ислама? Я вспомнил наставление Талеирана молодому дипломату: самое главное — не пересердствовать. Я не допустил второго дипломатического промаха. Человек в чалме так и остался в неведении о последующей эволюции первоначального мусульманского учения.

Старик простился. Мы просидели в тени платана до наступления вечерней прохлады. Я собирался расплатиться. «Ничего не падо», — ответил офицант. «Как это?» — удивился я. «Эффенди заплатил за псе», — ответил кельнер. По местным обычаям это было высшее проявление внимания к гостям.

Из Самсуна на арбах, а кое-где и на собственных апостольских ногах мы 12 дней добирались до Кайсери. Гуда из военных соображений эвакуировалась часть правительства и полпредства. Из Кайсери через несколько дней мы приехали в Анкару. В обоих городах помещение советского представительства напоминало боевой штаб: лихорадочная работа сотрудников, стук пишущих машинок, телефонные звонки, отправка почты занимали время персонала. Вечером за бесконечными пилами чая обсуждали события дня и положение на фронте, военные сводки. В центре внимания на таких летучках были военные Лихтанский и Маликов. Первый — слушатель дополнительного курса Военной академии — был военным атташе. Его помощником был Маликов, слушатель второго курса. Как я завидовал его быстрому чтению турецкой скорописи...

Штаб Кемаля-папы перед битвой на реке Сакарья находился в горном ущелье, спрятанном в лесах. Туда из Анкары и направился Мирный. Он отметил позже в своих записках, что ему довелось увидеть во время этого путешествия, которое он проделал на телеге:

«Вереницы запряженных волами крестьянских повозок с боеприпасами и продовольствием шли для фронта... На поворотах анатолийских дорог я наглядно постиг на практике великую силу национально-освободительного движения».

Дорога шла вверх и привела к ущелью. Все чаще попадались заградительные посты. Красная звезда на буденовке красноармейца, который сопровождал Мирного, служил хорошим пропуском. На вопросы командиров застав он отвечал кратко: «Москва, Ленин...»

Кемаль принял посланца Советской России в штабном шатре. Было ему тогда сорок три года, за плечами остались ссылки, служба в турецкой сultской армии. Человек сложный, с противоречивыми взглядами на развитие Турции, он понимал значение для Турции дружбы с Советской Россией.

Кемаль с интересом смотрел на посланца Советской страны. Тот стоял перед ним в испрепанном полстюнико костюме, в фуражке, в стоптанных солдатских ботинках и в обмотках, спокойно и внимательно разглядывая вождя турецкой революции. После краткого молчания Кемаль пригласил гостя сесть, спросил, как здоровье Ленина. Получив ответ, спросил, как здоровье эфенди Чичерина. «Эффенди Чичерин тоже здоров», — последовал ответ. Кемаль принял письмо, написанное по-французски, быстро прочитал, изредка бросая взгляды на Мирного, как бы желая что-то спросить, говорил свободно по-французски, слегка гасируя.

Мирный тоже перешел на французский язык. Кемаль чему-то улыбнулся, скользнул взглядом по испрепанным ботинкам и обмоткам своего гостя, спросил, где тот учил французский, не в Сорбонне ли в Париже? Гость ответил, что учился в русской гимназии и в Петербургском университете.

Кемаль еще раз пристально посмотрел на гостя, сказал, что Россию надо уметь понять. Просил поблагодарить за послание. Турция никогда не забудет, что Советская Россия помогла ей в самые трудные дни ее истории...

Через несколько дней началась битва у реки Сакарья, закончившаяся разгромом интервентов и изгнанием их из страны.

В 1923 году сразу же после окончания академии, Мирного слова посыпают в Турцию — на сей раз на пост заместителя председателя репатриационной комиссии.

Три года находился Мирный в Турции — с 1923-го по 1926-й. Потом еще одиннадцать лет на дипломатическом посту в разных странах — Швеции, Норвегии, Венгрии. Он работает рядом с Александрий Михайловой Коллонатой и другими выдающимися дипломатами первых лет Советской власти.

Но те три года в Турции занимают особое место в его биографии коммуниста и борца. Еще причудливо сплелась его судьба с судьбой болгарских революционеров.

## ЭТО БЫЛО НА БОСФОРЕ

«В сентябре 1923 года — июле 1926 года С. М. Мирный оказал неоценимую помощь нашей Болгарской коммунистической партии в осуществлении связей с Коминтерном и его руководящими органами за границей, в спасении десятков болгарских коммунистов, бежавших из Болгарии от преследования властей».

«Исторический преглед», стр. 107.

**T**рудным был тот, 1923 год для Болгарии, когда Мирный прибыл в соседнюю Турцию. В июне к власти путем военного переворота пришло правительство Цанкова. В стране начался белый террор, тысячи коммунистов были брошены в тюрьмы. В сентябре 1923 года вспыхнуло геройское восстание, охватившее всю страну. Но оно было жестоко подавлено, и палаха начали устанавливать на кладбищескую тишину.

Сложным был и политический климат Турции. Президент страны по-прежнему был Кемаль Ататюрк. Он продолжал укреплять отношения с Советским Союзом, но преследовал прогрессивные силы внутри своей страны.

Репатриационная комиссия, в которой Мирный играл главную роль, помогала возвращаться на родину солдатам, оказавшимся в плену, и другим российским гражданам, попавшим на чужбину. В Турции оказалось немало таких русских, которые потеряли голову в дни революционной грозы и бежали с белой гвардией: мелкие купцы, служащие и прочий люд; многие из них теперь жестоко жалели, что оставили родину, и не знали, как вернуться обратно. Им надо было помочь: спокойно, доказательно, всевище уверенности в том, что им дадут возможность начать новую жизнь.

В репатриационную комиссию приходили и те, кто давно оставил Россию. Одними из первых там появились «некрасовцы» — раскольники. Их предков еще при Екатерине II казачий атаман Некрасов уводил целями кланами на чужбину. Так они и осели в Турции. Теперь потомки тех казаков пришли в консультацию в старых одеждах — мужчины в кафтанах, женщины в кидах и душегреках. И стояли они, молчаливые, строгие — ни дать ни взять выходцы из доссеннадцатого века. Мирный помог им уехать в Советскую Россию, где они поселились на Северном Кавказе.

Красив и своеобразен Стамбул — город трех эпох. Словно гигантская причудливая птица, раскинулся он

по обоям берегам Босфора: голова в Азии, а огромное туловище — в Европе. Ступеньками спускается город к Босфору. Сказочными видениями уходят в бездонное, вечно голубое небо шпили минаретов и купол Айя-Софии, великолепный памятник византийской эпохи, превращенный турками в мечеть.

Консульство СССР, расположение в красивом двухэтажном здании на главной улице города — Гран Пере, стало притягательным центром не только для русских, оказавшихся на чужбине, но и для болгар; там можно было укрыться от продажных чиновников вали — турецкого губернатора, готовых за лиру выдать политического эмигранта.

Советский вице-консул Семен Мирный отдает весь свой опыт интернационалиста делу спасения болгарских коммунистов.

Строки из записки Мирного:

«Установил связь с болгарским рабочим движением... устройство... надежных документов и т. п. для партизан и партизан, бежавших из Болгарии, и для партизан, направляющихся в Болгарию. За все это время не было ни одного провала, ни одного ареста болгарских товарищей».

Неправда ли, как все просто. Но за этими строками опасность на каждом шагу, железная выдержка. И острые схватки, в которых побеждала безграничная храбрость, ум, молниеносная изворотливость. И, конечно, идейная убежденность. Она движет всеми помыслами и действиями. В условиях чужой, хотя и дружественной страны он делал все, чтобы дать возможность болгарским братьям переехать в СССР или предоставить им работу в советских учреждениях в Стамбуле. Незадолго до кончины Мирный писал в «Рабоческо-политическое дело»:

«Разве можно забыть первого болгарского революционера, которого в октябре 1923 года удалось переправить в СССР. Это был Цвятко Радойнов, жизнерадостный, крепкий, настоящий болгарский революционер, каким мы представляли этот образ по романам. Он первый явился в наше представительство и заявил: «Я болгарский революционер, я бежал». Его открытое лицо было таким доверчивым, что мы ему сразу поверили. И через два дня, воспользовавшись прибытием первого советского парохода «Ильин», мы поручили его советскому диктатору Урасову-Чупину. Это тот самый диктатор, партизан, участник венгерского революционного движения, который по поручению Ленина в декабре 1918 года перевозил партийные документы болгарским революционерам.

Цвятко Радойнов — герой нашей страны и герой Болгарии. Его хорошо знали под именем Цветана Родинова, слушателя Военной академии, потом преподавателя, потом полковника в интербригадах, потом генерала, потом парашютиста в Болгарии во время войны. Когда Цвятко Радойнов умирал, его последние слова были: «Да живе Съветска Русия!» Тогда мы спасли жизнь человека, который потом покортировал своей жизнью во имя своих обеих родин — Болгарии и России».

А теперь о легендарном побеге с острова Святой Анастасии.

Если тебе, читатель, доведется побывать в братской Болгарии на Солнечном берегу, постараись попасть на остров, скалой поднявшийся в море. Это недалеко от Бургаса — полчаса на лодке, и ты окажешься на мрачном склонистом выступе. У монастыря ты увидишь мраморную доску: «29 июня 1925 года в тюрьме острова Святая Анастасия было подписано восстание и совершился побег 43-х коммунистов-борцов против фашизма, за свободу нашего народа. В их честь остров называется «Большевик».

...Шестнадцатого апреля 1925 года среди бела дня в центре Софии раздался взрыв огромной силы. Воспользовавшись этим взрывом для своих целей, фашистское правительство ввело в столице военное положение. Расстреляли, пытали, казни сотрясали страну. В те дни в Бургасскую тюрьму были брошены сорок три коммуниста. Их допрашивали, пытали. Забита была до отказа и тюрьма на острове Святая Анастасия. Против узников острова готовился судебный процесс, их надо было перевезти на материк, и полицейские власти решили «обменять» заключенных. Пятого июля сорок три коммуниста были выведены из Бургасской тюрьмы, посажены на миноносец и заперты в казематах островной тюрьмы. Заключенных «островитян» на этом же миноносеце увезли в Бургас.

Адвокат четыре дня Теодар Бакырджиев, Борис Симов, Стоян Калоянчев, Васил Новаков, Панайот Яримов, Стоян Коларов, Васил Карамихов и их товарищи томились на острове-тюрьме.

После тщательной подготовки, где каждый шаг был смертельным риском, повстанцы обезоружили и связали охрану. Один из руководителей восстания Бакырджиев, обратился к заключенным с краткой речью: «Скоре фашистские власти организуют процесс. Многим из нас грозит смерть. Поэтому руководство партийной организации подготовило бунт. Мы бежим в Турцию, а оттуда — к нашим братьям в Советскую Россию. Те из вас, кто хочет покинуть остров и найдет в себе силы вынести предстоящие испытания, может присоединиться к нам. Побег будет трудным и очень опасным».

На лодке беглецы перебрались на материк и двинулись в сторону Турции.

Побег вызвал шок в правящих кругах Софии. О нем заговорили во всем мире. Происшедшееказалось невероятным даже Василу Коларову, который уже находился в Москве. Можно было предположить, что фашистские власти убили узников и, чтобы обмануть общественное мнение, сообщили о побеге. Именно эту мысль и высказал Коларов на страницах «Правды». Но побег действительно свершился. Однако смертникам острова Святая Анастасия было еще далеко до свободы. В любую минуту они могли оказаться в руках болгарской полиции — тогда суд и казнь. Или в руках турецкой полиции — тогда либо экстрадиция — выдача болгарским властям и тоже гибель, либо турецкая тюрьма на бесконечно долгие годы.

Прежде всего надо было сориентироваться в обстановке. Турецкие газеты писали о побеге «шайки бандитов», строили дикие предположения и догадки, пугали обывателей, сообщали о маршруте беглецов, перестрелках с пограничной стражей.

Сопоставив все сообщения, находившиеся в Стамбуле 28-летний вице-консул СССР Семен Мирный сделал единственно правильный вывод: с острова Святая Анастасия бежали революционеры. Теперь их судьба, если они доберутся до Турции, зависит от него, от его смелости и находчивости. Мирный немедленно спешит с Москвой, а затем начинает действовать, не дожидаясь, пока беглецы доберутся до Стамбула. Повстречу беглецам надо послать верных людей. Но кого? Только арзей-болгар. Прикинув, где сейчас могут быть смертники, он приходит к выводу, что они в центре Анатолийской долины, где-то у перевалов. Ночью из Стамбула люди уходят на встречу беглецам. А Мирный отправляется к вали — губернатору Стамбула.

И никто не знал, как тяжко ему было в тот день. Накануне он получил из Софии через Москву письмо и фотографию Невяны Генчевой. На него смотрело измученное сурое лицо революционерки, на-

давно вырвавшейся из софийской тюрьмы. На руках у Невяны был годовалый младенец.

Мирный не встречался с Невяной с тех пор, как простила с ним апрельским вечером 1920 года на горе Витоше в Софии, и так не увидел ее до конца своих дней.

Забегая вперед, скажу, что в марте 1971 года в квартире Мирного на Каляевской улице в Москве раздались звонок. Дверь открылся Мирный. У порога, моля, как бы не решаясь войти, стоял человек средних лет. Он изучающе посмотрел на Мирного, а потом сказал:

— Вы Семен Максимович Мирный. Я узнал вас по фотографиям.

— Вы не ошиблись.

Наступила пауза, потом гость сказал:

— Я сын Невяны Генчевой, Георгий Найденов...

Главный редактор болгарской газеты «Отечествен фронт» Георгий Найденов приехал в Москву на XXIV съезд партии как специальный корреспондент своей газеты.

Он передал Мирному последний привет Невяны...

Какие козыри в руках Мирного? И какие аргументы он может пустить в ход? Только один: между СССР и Турцией отношения неплохие. Но пока неизвестно, действительно ли находятся беглецы на территории Турции. Ведь этой неизвестностью может воспользоваться вали? Ему нет нужды спешить, он скажет: когда беглецы окажутся на турецкой территории, я запрошу Анкару. А что если там появятся вновьстранные требования царской Болгарии и выдадут беглецов? Такое развитие событий надо предотвратить. Но как? Надо действовать сейчас, немедленно, не выходя из резиденции вали. И вот начинается сложный и осторожный разговор, прощущивания, намеки.

— А что если решить вопрос полюбовно? — предлагает Мирный. — В компетенции советского консульства представить политическое убежище эмигрантам. Зачем об этом вести переговоры с Анкарой, когда здесь рядом губернатор? Он может пойти на встречу просьбе советского консульства...

Губернатор — человек опытный, ему немало пришлось иметь всяких дел с иностранными дипломатами. Одних он опасается, других ненавидит, третьих почитает, к четвертым безразличен. Но свое отношение к советскому вице-консулу он сам до конца определить не может: Мирный не совсем обычный дипломат, он не застенут на все пуговицы, как другие дипломаты. И это заставляет всегда быть с ним настороже.

А вице-консул продолжает:

— Вали — мудрый и просвещенный человек; он знает, что даже султанская Турция не выдала царской России русского революционера Камо. Зачем же вали брать на себя грех и пяtno противника свободы?.. Ну, а если царская Болгария потребует экстрадиции, то губернатор выразит сожаление, что не может этого сделать, ибо уже дал советскому вице-консулу согласие представить политическое убежище этим болгарам. Да и зачем вали брать на себя заботу о большой группе смертельно усталых, голодных и оборванных людей? Эти заботы возьмет на себя советское консульство.

Вали все еще размышляет, а время летит, и с минуты на минуту беглецы появятся в Стамбуле. И тогда Мирный бросает на чашу весов еще один веский аргумент:

— Ведь мудрый вали не должен ссориться со страной, которую уважает сам Кемаль Ататюрк. А Ке-

маль Ататюрк хорошо знает советского вице-консула Кемаль и вице-консул — друзья...

В конце концов вали согласился с предложениями Мирного, выдвинув одно условие: он арестует беглецов, но сделает это не совсем обычно. Ночью они будут сидеть в тюрьме, а днем находиться в советском консульстве. И всем будет хорошо... А что касается отправки беглецов в Советскую Россию, то он будет смотреть на это сквозь пальцы.

Через горы, реки и лесные чащи беглецышли на юго-восток. И пробрались на турецкую территорию — голодные, оборванные, израненные, обросшие.

В Москве долгие годы живет Алионила Ивановна Островская, в прошлом сотрудница консульства. Участник побега из тюрьмы на острове Святая Анастасия Борис Симонов свидетельствует: «Алионила Ивановна была настойчивая русская красавица — тоненькая, как березка, с голубыми глазами и русой косой. С ее лица не склоняла улыбка. Она вся дышала теплотой и пеком с состраданием к нам... Она была инициатором кампаний по сбору средств в советской колонии для болгарских политзимигрантов, проезжавших через Стамбул».

С тех пор прошло полстолетия. Я прошу Алионилу Ивановну рассказать о тех драматических событиях.

«Никогда не забуду этих людей, — говорит она, — то мгновение, когда они пришли в здание нашего консульства. Оборванные, грязные, истощенные, с горящими глазами, они вошли в большой светлый зал, стены которого были обтянуты шелковой материей. Изумленно смотрели они по сторонам, не веря, что позади смерть, побег, невероятные лишения. Их отправили в бани, переодели, побрили, накормили... В консульстве и тургипротделе тогда работали Петр Павленко, будущий писатель, Наташа Красина, племянница Леонида Борисовича Красина, Шавердан, уполномоченный комиссии по репатриации армян, а потом председатель Совнаркома Армении, и много других интересных людей. Мы ни на минуту не отходили от наших болгарских друзей».

После первой встречи был торжественный обед и приветствия. Мирный был краток: «Товарищи, дружба между русскими и болгарами имеет старые традиции. Она будет продолжаться и вперед. Желаем всему народу испытать счастье свободы».

Теохар Бакирджиев отвечал: «Дорогой товарищ Мирный, позвольте от имени моих товарищей поблагодарить вас и всех сотрудников консульства за теплую, братскую заботу о нас. Мы счастливы, что находимся здесь, на этом маленьком кусочке священной советской земли... У болгарского народа высокий боевой дух. Рано или поздно Болгария будет социалистической!»

После ужина все сорок три беглеца, как и было договорено с губернатором, отправились в тюрьму. Там они переночевали, а утром их выпустили, и они явились в советское консульство. И слова были бесконечные рассказы о пережитом в царских тюрьмах, о будущей борьбе.

А из Одессы, дыша всеми трубами, на предельной скорости шел к турецким берегам пароход «Ильич». Августовским утром 1925 года смертники острова Святая Анастасия поднялись на палубу советского парохода, и семнадцатого августа их встречала Одесса.

Прошло еще несколько месяцев, и Москва решила направить Мирного на работу в Норвегию. Семен Мирный должен был оставить Стамбул уже в начале 1926 года. Георгий Димитров направил ему одно из других нескольких писем с просьбой оставаться хотя бы еще на несколько месяцев в Турции. Вот одно из этих писем, посланное 1 марта 1926 года:



Александра Михайловна Коллонтай и Семен Максимович Мирный. Норвегия. 1928 год.

«Дорогой товарищ Мирный, очень обеспокоила Ваша просьба об освобождении Вас из Константинополя. Это может расстроить всю нашу работу. Я уверен, что в данный момент не найдется другого товарища, который с таким умением и усердием смог бы продолжить Вашу работу. Не сможете ли Вы остаться в Константинополе еще на несколько месяцев? Подумайте об этом и, если возможно, сделайте это. Я Вас прошу настоятельно от имени Болгарской Коммунистической Партии».

С согласия Москвы просьба Георгия Димитрова была, разумеется, удовлетворена. Мирный задержался в Стамбуле еще на полгода. Он выехал в Москву в июле 1926 года, а затем был назначен первым советником советского полпредства в Норвегии.

Через сорок три года после описанных событий Семен Максимович Мирный по приглашению Народной Республики Болгарии прибыл в Софию. Председатель Президиума Народного собрания Георгий Трайков вручил ему высшую награду страны. После торжественного приема Мирный отправился по памятным местам. В Софийском университете стоял гул от молодых голосов. Хозяевами здесь были внуки тех, кто сидел в тюрьмах и казематах царского режима. Семен Максимович заглянул в аудиторию, где когда-то слушал лекции.

В зале его с обьятиями встречали друзья, их дети, внуки и правнуки. Толпа запрудила весь перрон, и наблюдавшие эту встречу тихо спрашивали: кто приехал, министр или кто повыше? Им ответили, что приехал большой и верный друг. И люди понимающе кивали головами.

Оп, конечно, поехал в Бургас, к турецкой границе, туда, где в море всплескался скользкий остров. Был тихий летний вечер. Легкие волны пели свою вечную песню. Рядом с ним стояли восемь человек. Всем из сорока трех. Остальных уже не было...

Прах Семена Максимовича Мирного покончился в колумбарии старых большевиков на Новодевичьем кладбище, многие спешат сказать о нем то, что не сказали И недосказали при его жизни. Телеграфировали в Москву те, кого он спас:

«Глубоко скорбим о смерти нашего дорогого товарища Семена Максимовича Мирного. Его интернационалистическая революционная работа всегда жила и будет жить в сердцах сорока трех коммунистов, которые бежали из тюрьмы острова Святая Анастасия в 1925 году. Поклон перед его светлой памятью».

Центральный комитет борцов против фашизма телеграфировал Советскому Комитету ветеранов войны:

«Центральный комитет и тысячи участников борьбы против фашизма в Болгарии выражают искреннее соболезнование по случаю смерти Семена Максимовича Мирного. Болгарскому народу он был известен своим отношением революционера и интернационалиста, оказывая большую помощь болгарским антифашистам и особенно болгарским политзимигрантам в 1919—1925 годах... Болгарский народ потерял большого друга. Его жизнь будет служить светлым примером для болгарских тружеников и борцов против фашизма и капитализма».

Время не глядит затмить память о коммунистеборце. Идут и идут письма в Москву на Каланчовскую улицу. Идут письма сестре Мирного Еве Максимовне. Из Софии пишет Тодор Чакров: «Я всегда буду хранить память о Семене Мирном, нашем мужественном брате». Делятся своими воспоминаниями о нем офицеры и солдаты Великой Отечественной войны, говорят о его мужестве, скромности и верности долгу. Вспоминают и те, кто долгие годы работал бок о бок с ним в Ленинской Библиотеке в Москве и лиши темперы с почтительным изумлением поняли, что именно он собрал там второй в Европе по значимости и масштабу фонд скандинавской литературы. И вот еще одно послание из многих: «С чувством большой любви и уважения я вспоминаю свои встречи с Семеном Максимовичем Мирным и высоко ценю его личный вклад в дело укрепления Советского государства и международного признания выдающейся роли Великой Октябрьской социалистической революции».

Это строки из письма Ивана Дмитревича Папанина.

Да, память людская продолжает жизнь человека!

# МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ О БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ...



Дорогие читатели!

Я постоянная ваша читательница. Многое интересует меня в вашем журнале. Но вот уже год, получив «Юность», я просмотряла ее первым делом в поисках разговора о любви. Думаю, эта тема интересует не только меня. Читая откровения девушек, молодых женщин, невольно задумалась о своей жизни. И мне захотелось рассказать о настоящей большой любви...

Меня зовут Вия, мне двадцать лет, по национальности — литовка (исходя из этого, примите извинения за возможные стилистические ошибки).

Итак, я литовка, и если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я уеду в Сибирь с человеком, которого буду знать меньше месяца, я бы расмеялась тому в лицо. Более того, год назад я собиралась замуж совсем за другого человека.

Жила я в городе Вильнюсе, училась в институте, собиралась выйти замуж. Я любила своего жениха, он казался мне очень умным, уверененным в себе, добрым. Он был старше меня на десять лет и счищался довольно известным, по крайней мере подающим большие надежды врачом-кардиологом.

Родители находили его подходящим партией для единственной и венаглядной дочери. Готовилась свадьба. Но не все бывает так, как задумано. Я заболела. Собственно говоря, оказалось, что я была больна давно, но спорт, туризм, гимнастика откладывали обострение. Однако в конце концов, сколько я ни старалась пересилить боль в суставах, пришлось обратиться к врачу. Чувствовала я себя все хуже и хуже, временами хромала, трудно было согнуть руки в локтях, быстро повернуть голову. Попросили меня в больницу. Жених мной пришел навестить меня только один раз. Как врач, он понял лучше кого бы то ни было, что болезнь моя навсегда или по крайней мере надолго, и абсолютно здоровой мне уже не быть.

Я не плакала, а голову лезла дурацкие мысли о том, что как женщина я уже не смогу никого привлечь. Для меня эти мысли были тем более тяжелыми, что с детства все восхищались моей внешностью, я сама гордилась ею и умела этим даром пользоваться. «Не родись красивой, а родись счастливой», — это я поняла уже теперь, а тогда это было настоящим потрясением.

Выпихнулась я из больницы в плюле, это самый чудный месяц на побережье Балтики, но нико как пляже, купания в то лето для меня и разговора быть не могло. Более того, пришлось взять академический отпуск в институте.

И вот однажды, обозленная на себя, а в особенности на окружающий мир, ковыляла я по улице: это был тот редкий случай, когда мама отпустила меня одну пройтись по городу. Как всегда, неожиданно с неба скапало, потом полило. Простыивать мне нельзя в ком случае, я кинулась в ближайший подъезд, споткнулась на ступеньке, могла разбиться, но тут меня подхватили.

Так я познакомилась с Юрием, моим теперешним мужем. Он сейчас, когда вспоминает наше знакомство, говорит: «Я страшно перепугалась, когда ты расплакалась». А я вправду разревелась, впервые за время болезни, разревелась от беспомощности и от боли (я хоть и не упала, но успела подвернуть ногу). Короче говоря, пришлось Юре после дождя оттранспортировать меня домой. А когда через три недели я сказала, что уезжаю с ним в Сибирь, дома была истерика. Мама моя очень перина, и многие вещи, которые для меня стали предрассудками, для нее живы и реальны. Сибирь для нее — это заснеженный край, где ходят медведи, и она никак не хотела отпускать свою единственную dochь в эти суровые места. Но я уехала. Первый раз в жизни сделала по-своему, не послушалась маму.

Я счастлива, я не боюсь это сказать. То ли от перемены климата, то ли от большой Юрина заботы состояния моего здоровья значительно улучшилось. Я не потеряла год — учусь в институте на третьем курсе. Юра, он химик по специальности, работает на большом химическом заводе. Детей мне пока не разрешают иметь, но я все равно пойду на все, лишь бы иметь ребенка, пусть не сейчас, через год, два.

Я часто задаю себе вопрос, почему Юра полюбил меня, злую, больную и не очень-то терпимую красивую? Ответ, видимо, только в большой душевной доброте моего Юри. Он много работает, устает, но всегда помогает мне по хозяйству. Впрочем, скорее я ему помогаю, ведь из меня хозяйка липовая — полы, окна мыть не могу, сумку средней тяжести от рынка не донесу. Меня это удручет — хочется заботиться о нем, создавать в квартире чистоту и уют. Юра очень сердится, если я пытаюсь делать что-нибудь, по его мнению, не соответствующее моим физическим данным, называет это «партизанскими вылазками», и это единственный пункт наших разногласий. У нас много друзей, мы часто ходим в театр, кино, я побывала в Сибири, хотя зимой мне, непривычной к морозам, пришлось туго. Но тут помогли родители мужа — сшили мне огромную лисью шапку с ушами и оленьи утины.

Скоро годовщина нашей свадьбы. Если к тому времени я окончательно помирюсь с мамой — первые шаги в этом направлении уже сделаны, — то поедем в гости в Литву. Ну вот и все.

Да, еще несколько слов о том, для чего, собственно, я написала это письмо. Я встречаю много девушек, которые боятся делать в любви решительные шаги: взвешивают, обдумывают материальное положение будущего мужа, смотрят, подходит ли у него родители. По-моему, это глупость — если любишь, можно пережить все, можно даже побороть болезни, если любимый в этом поможет.

Еще два слова. В своих письмах в журнал девушки писали о своем отношении к физической несовместимости и к измене. Я думаю, что настоящая любовь исключает физическую несовместимость, а об измене — это более сложный вопрос. Мне кажется, мой муж может изменить, только если полюбит другую, и тогда я не стану ему мешать, уйду в сторону, унося в сердце только глубокую благодарность за все, что он для меня сделал. Впрочем, если я ему нужна сейчас, далеко не здоровая, требующая много работы, то когда я совсем выздоровлю — а я обязательно выздоровлю и у нас будут дети, — то я ему тем более буду нужна, ибо его заботами я ожила, переродив в себя и в возможность любви.

До свидания.

Вия А.

г. Ангарск.



плыву по великой азатской реке на стареньком катере. Под тентом накрыт дастархан с узбекским пловом, с жареной рыбой, дынями и виноградом. Спокойная глинистая вода тихо плещется за бортом. Но изредка до слуха долетают приглушенные расстоянием залпы.

— Что это?

— Аму берега обрушивает, — отвечает Александр Александрович Корниенко, начальник огромной стронки, куда я, собственно, и стремлюсь попасть.

— А часто так?

— Всегда.

И правда, гулкие залпы, сопровождаемые всплеском, слышались на протяжении всего пути. А так река была спокойной. Спокойным и приятным было и путешествие. Волновался лишь наш капитан. Вскакивал, бежал в рулевую рубку или на корму — промерять глубину. И это понятно. Фарватер Аму столь же непостоянен, как и русло. Ее воды несут тысячи тонн ила, который ежеминутно оседает на дне и по берегам. Этот плодородный пористый грунт легко уступает потом нахмурим лопаты или удара кетменем, но столь же легко поддается лобовым ударам воды. Аму много шире Болги, и ленивое спокойствие ее призрачно. Эта река сметет любое препятствие, любой завал, либо высокочит вдруг из своего русла шарахнется в глубь пустыни, оставив без воды древнейшие оазисы, знавшие расцветы и падения многих государств Бостока.

Но скоро Аму присмиреет. К 1975 году будет закончено Тюзмуконское водохранилище. А еще через год в исполненный котлован хлынут потоки Амударьи. По запасам воды новое море в пять раз превысит все существующие на территории Узбекистана водохранилища вместе взятые и вырвет у пустыни почти миллион гектаров плодородной земли.

Рядом со мной сидели люди, которые хорошо изучали повадки своеобразной реки и проектировали для нее котлован, способный смигнуть и обуздати эту «среднеазиатскую тигрицу». Тигры, кстати сказать, лет двадцать назад еще водились в этих краях. Речные туганы — кромешное царство перепутанной земли — давали им надежный приют. Но слишком уж беспокойно, особенно в последние годы, стал человек на Аму! Катера, пароходы, лайнеры, баржи... Грохот, шум, свист. Да еще стремящиеся в небе вертолеты. И высоковольтные вышки, постав-



ленные в самых заповедных местах...

Царственный зеерь покинул амударинские туганы. Остались лишь хищные камышовые коты, да дикие кабаны, да фазаны.

Туган — это джунгли пустыни. Они тянутся на многие километры вдоль берегов Аму и Сыр, Мургаба и Таджена. Заросли голубоватого тамариска, расцветающего во весне крупными сиреневыми соцветиями, переплетены тугими листами лоха, чья соцветия издают сладчайший, слышный на сотни метров запах, скрывают стальные колочки шингиля, способного разодрать в клочки даже кирзовую сапогу. Но тот же шингиль — лучшее топливо для тандыров. Вспыхивает, как спирт, и горят долго и жарко, пропитывая хлеб неповторимым своим ароматом, диким и пряным.

Туган — это непроходимые джунгли, туган — это генистые, похожие на искусственные парки леса. Высокие тополя, плакучие ивы и лох перемежаются красными полинами солярок и полосами шумящего грохотника, в котором бродят выхвояки диких свиней и солнце не пещется громадные сомы. Зеленый сумеречный мир, где неожиданно открываются, как изумленные очи, синие озера, окруженные дрожащими под ветром се ребром эриантуса. А потом розовые желтохвостые пеликаны прилетают сюда из заморских краев, когда настает пора возвращения.

В тугах можно встретить ко сюю или подстерье редкий мир, когда болотные змеи сви利亚ются в огромные шинящие клубки. А хорезмские старики уверяют, что в зарослях все еще живут разбойники-леопарды, уносящие по ночам овец из кишлаков. Мало ли что может скрываться в тугах.

В сплошной стене лиан и колючек нет дверей. И привычных троп нет в джунглях пустыни. Лишь запутанный лабиринт зеленых труб, по которым животные идут к водопоям. И даже над аркыами не видно неба, потому что метелки эриантуса смыкаются в стрельчатую арку, как щоды готического собора. Можно часами плыть по каналу на лодке без всякой надежды ступить на берег. Берега нет. Только тростник и эриантус. И воды тоже нет и неба. Лишь теплый петляющий коридор. Где-то хлюпают большие рыбьи, кричат

Еремей  
ПАРНОВ

# ТЕКУЧИЙ МИР ГОРЯЧИХ ПЕСКОВ

Рисунки В. ИВАНОВА.



птицы, п каки-то звери ломают тростник. Все это можно лишь слышать. Увидеть ничего не удается. Разве что пятачок жирно блестящей воды среди зелени. Знаи себе проталкивай лодку шестом. Вперед и вперед... Но это, так сказать, романтическая сторона, привлекательная. Есть и другая. Еще до того, как закатится солнце и летучие мыши станут бешено чертить в вечернем воздухе стремительные фигуры, над водой повисают дымные рыжеватые облака. Они тянутся по ветру или неподвижно вдруг повисают над пальбой, чтобы через мгновение обрушиться с беспощадной, всепожирающей атакой. Это гнус, москиты и еще бог знает кто. Спасения от них нет. Безотказный рефундин не срабатывает. Крылатые кровопийцы пустыни по логоти прогощают своих сородичей с суровых сибирских рек и заполярной тундры. Нигде меня не кусали более жестоко, чем в тугах. Разве что на берегу Каспия, среди поросших осокой шувелянских песков, то есть опять же в пустыне.

Институт зоологии и паразитологии Узбекской Академии наук ведет большую исследовательскую работу по борьбе с гнусом. Пробуют травить места выплода химикалиями, подселяются в аркы живородящих тропических рыбок, но оптимистические результаты пока не видно. Малайрийного комара ликвидировали, что называется, под корень, а простого не могут. Видимо, за эту проблему следут браться с другой стороны. Надо комары уничтожать, а защищать человека. Тогда все будет в полном порядке. Ведь сам по себе комар нужен природе. Он необходимое звено великой пищевой цепи, в котором участвуют насекомые, рыбы, звери, птицы и косвенно мы, люди. Исчезновение комаров, как правило, тяжко отражается на урожае. Да и комар кусает нас не со злости, не из-за какого-то порока в воспитании. Так уж он создан, что нужна ему для размножения теплая кровь высших животных. И ничего здесь не поделаешь. Остается надеяться, что ученые найдут выход, который устроит всех.

**Н**аш пароходик пристал к деревянному пирсу, прилипшемуся к высокому обрывистому берегу со следами своих обрушений. По узенькой тропке, заросшей колючими травами, мы поднялись наверх, где за шлюзом отводного канала нас уже ожидали машины.

Отсюда на строительство водохранилища Тюн-Муон лежала прямая дорога. Раскаленный пыльный грейдер среди пустыни. Причем настоящей пустыни, в самом традиционном понимании этого слова — с песком и барханами.

Это может показаться странным, но песка в пустынях не так уж и много. Пустыни СССР раскинулись на территории примерно в три миллиона квадратных километров. Но лишь четвертая часть бескрайних этих просторов занята песками. Примерно такое же соотношение соблюдается и в других частях мира. Даже знаменитая Сахара не составляет здесь исключения.

Сахара — это прежде всего хаммады — каменистые равнины и еще серыры — равнины, покрытые щебнем и галькой. И только шестую часть великой пустыни занимают песчаные пространства — эрги. Многое меньше, чем у нас. Пески эти неподвижны, они намеренно схвачены цепкими корнями скрудвой, во выносившей пустынной растительности.

Иное дело барханы. Но и в Сахаре они очень редки. Эти материковые дюны пустыни, холмы счищущие пески, навеянные ветром и не закрепленные растительностью, не так-то просто увидеть. Одиноч-

ные барханы на плотном грунте не более чем песчаные горки полуулунного или серповидного профиля. Они не очень-то примечательны. Но там, где песок уходит вглубь, образуются сплошные барханы. Все зависит от ветра: если дуют устойчивые ветры, создаются продольные барханные гряды, барханные цепи; если в воздухе сталяются и смешиваются противоборствующие ветры, появляются барханные пирамиды самых разных очертаний, чаще всего похожие на звезды.

Но закрепленные растительностью барханы вечно движутся со скоростью от десяти сантиметров до пятисот метров в год. Медленно, но упорно ползут они по пустыне. Кочевники обычно разбивают привал у подножия барханов, потому что им издавна известно (теперь это знают и ученые), что бархан может хранить в себе пресную воду. Недаром казахи говорят: «Күмбәр-су бу» (где пески, там и вода). Подобно губке, всасывают пески животворную влагу и долго хранят ее в своих запечатанных кладовых. И вот что интересно! Вода эта почти не испаряется в сухой воздух пустыни. Ее плотно удерживают капиллярные силы песков. Зато корни растений получают ее совершенно беспрепятственно. Оттого что буйно и расцветают барханы весной. Всего пять дней бывает снег в Каракумах, и очень редко идут там дожди. Но и этой малости песчаной пустыни достаточно! Не в пример каменистым пустыням Казахстана, где осадки довольно обильны и равномерно распределены по временам года, песчаные барханы расцветают буквально в одну ночь. Это праздник жизни, буйный, благоухающий и такой короткий...

С мартающим солищем пустыня покрывается зеленою цветочными нежными чашечками всевозможных оттенков и форм. Изумрудный селин, лиловый гусиный лук, тюльпаны, мятлик и астрагал — все это тянется к жаркому небу, торопится жить, оставляя после себя семена для будущих всходов. Особеного хороша кара-плак — нежная короткая травка с могучей корневой системой, способной высосать всю воду до последней капли. Это первый весенний корм. Изголодавшиеся за зиму овцы быстро приходят в норму на кара-плаке. Это для них и первая еда, и безотказное лекарство, и лучшее питье. Отары, которые пасутся в зарослях илька по месяцам обходятся без водопоя. Необходимый запас воды чудесная травка уже пасосала в свои клетки из песка.

Но короток, эфемерен этот праздник жизни. Недаром пустынныя пастбища носят название эфемерных. Они ведь и исчезают за одну ночь. Словно никогда их и не было. Ильяк и живородящий мятлик, лиловая мальколмия и красные ремерии, золотистый лютик, вероника и астрагал — эфемеры, поденки. Все, что пощадят животные, будет уничтожено вскоре беспощадным солнцем. Барханы выгорят, и лишь темный налет останется на песках, да и его сдует первый же ветер. Так исчезают весенние пастбища. Тенистые золотичные ферулы, песчаные акации, черные и белые саксаулы тоже примут участие в языческом пире весны. Но после короткого цветения притянутся, засохнут, как веяники. И все же от них хоть стволы да колючие ветки останутся. От цветов же — ничего. Только невидимые семена — залог того, что вновь повторится неистовство пиршества природы, что и на другой год обагрится пустыня чистой кровью маков, золотом и порфиром тюльпанов.

А, такое увидишь лишь в «постоянной» пустыне, песчаной, иначе что еще в желтой — лесовой. Суровые черные камни не знают и кратковременного взрыва жизни.

В Средней Азии пески называют «кум». Отсюда Каракум и Кызылкум, черные и красные пески. Кум — это «эр» Сахары, текучий, переменчивый мир, подвластный ветру и случаю. Непривычному глазу он может показаться безжизненным, но это не так. Жизнь в пустыне не кончается с наступлением жаркого лета. Змеи, ящерицы, черепахи, лягушки, шакалы, зайцы никогда не покидают родных краев. Пустыня не вымрет. Она лишь притворяется безжизненной, потому что все живое в ней пережидает дневную жару.

Делали такой опыт: ящерицу привязывали на открытом солнце и следили, сколько она выдержит. Ящерица погибла уже через несколько минут. Змея продержалась не дольше, а черепаха — что-то около часа. Вот что значит жар пустыни, ее раскаленный песок. Человек на открытом солнце тоже долго не проживет, от силы часов десять—двенадцать. Ему тоже надобно затаиться, пережидать жестокую синесту.

Любопытно ведут себя животные в жару! Змеистра в тени держится и старается не покидать облюбованный ею сухой куст, а если и окажется вдруг на песке, то норовит поменьше его касаться. Удавчик же вообще под песком ползает, неистовствует, оставляя подземный причудливый след. И ящерицы без нужды на поверхность не вылезают, а черепахи, так те вообще зарываются вглубь и впадают в спячку до осени. Зато какое шествие устраивают они по пробуждению! Бывает, что многие тысячи этих живых танкеток совершают перегораживают движение на дорогах! И водители могучих самосвалов ждут, пока пройдут черепахи. Им столько надо успеть сделать за свою короткую весну! Растения пустыни зеленеют дважды в году: весной и осенью. Животные сопоставляют свою жизненный цикл с этими важнейшими датами песчаного календаря. Некоторые из них, подобно черепахам, едят лишь в эти короткие дни изобилия и прохлады. Зато уж наедаются как следует. Пустынные травы намного питательнее клевера, люцерны и прочих даров щедрой нашей умеренной полосы. Кроме того, они, постоянно сменяя друг друга, никогда не оставляют животным совершенно без корма. Чтильбиду да пандуса в пустыне съедобного в любое время года. Даже зимой, когда наши леса, поля и горы покрываются снегом и пропадает всякая зелень. Поэтому и пришли люди в пустыню еще в незапамятные времена. Став пастухом, древний человек, видимо, отчаялся найти зимние пастбища для своих табуев и отар. Он, наверное, перепробовал все, пока не набрел наконец на скромные травы пустыни, которые на весь год обеспечили животных подножным кормом. Особенно богаты такими травами Кызылкумы. Недаром только узбекские караулеводы держат там свыше шести миллионов овец.

**М**ы переделываем пустыни, мы хотим, чтобы они еще лучше служили нашему хозяйству. Но мы не собираемся их уничтожить, смести, как горорится, с лица земли. Мы бы не стали так делать, даже если бы это оказалось в наших силах. Потому что пустыня нужна человеку, нужна земле. Для регулирования испарений необходимы каменистые россыпи, а участки ветронутой, первозданной пустыни — неземлеменные пастбища. Пустыня следует очень бережно охранять, поддерживать ее особый «пустынный суверенитет». Все хорошо на своем месте. Недаром туркмены выпальвают с такыров любую тряту, потому что такыр отлично собирает

воду. И если какое-то количество такыров все же распахивают и пускают под земледелие, то тем ценнее становится оставающиеся. Дороги травы в песках, но вода всегда дороже. Пусть же останется гольм водосборник такыр.

Песчаная пустыня, которая даже самой дает корм скоту и толпами человеку, не всегда милостива. Пустыне ужасны лишенные растительности пески, когда задувает ветер. Мы с детства знаем о страшном самуме, о неистовом, все иссушающем хамисе или о коварном афганце, который обрушивается на хлопковые плантации тысячи тонн песка. В Термезе я обратил внимание на то, что окна окраинных домов матовые. Первой мыслью было, что это из-за солнца: все же рассеянный свет тиранит не так жестоко, как расплавленное олово беззаблудного неба. Но знакомый пограничник очень быстро мне все разъяснил.

— Это работа афганца, — сказал он, постучав ногтем по шершавому стеклу. — Песчанок что твой наждак.

Песчаный ураган подобен затмению солнца и землетрясению. Он сбивает с ног, душит, слепит, высасывает влагу из каждой поры. Нельзя вдохнуть, горло опалено, уши забиты и резь, страшная резь в глазах.

Плохо приходится человеку, если застанет его в пустыне песчаная буря. Благо еще животные задолго чувствуют ее приближение. Тревожное их поведение как бы предупреждает людей о близкой опасности. Жители пустыни хорошо знают приметы афганца. Они вовремя могут поэтому укрыться в юртах, домах, заглатать отару в очарии. Иное дело кочевники двадцатого века: геологи, шоферы, строители. Кроме основной профессии, им нужно еще крепко усвоить законы пустыни, изучить ее тайный, но очень красноречивый язык.

Бывалый человек не пропадет в пустыне. Он всегда сумеет найти воду и пропитание, отыскать по звездам дорогу домой. Но непростое это дело стать здесь бывшим человеком. Для этого мало одного знания. Нужно еще и любить пустыню. Очень любить. И верить, что сердце ее все же стучит под песками.

**В** Кызылкумам недалеко от Бухары я встретил давнишнего своего приятеля Колю Роцина. Он москвич, геолог-нефтяник, кандидат наук. Насколько я был в курсе его дел, он последние не сколько лет работал по теме, весьма далекой от Средней Азии. Да и диссертацию свою сделал на тюменском регионе.

— Как ты здесь очутился? — спросил я, когда мы учинались в полутемной палатке нехитрое чаепитие.

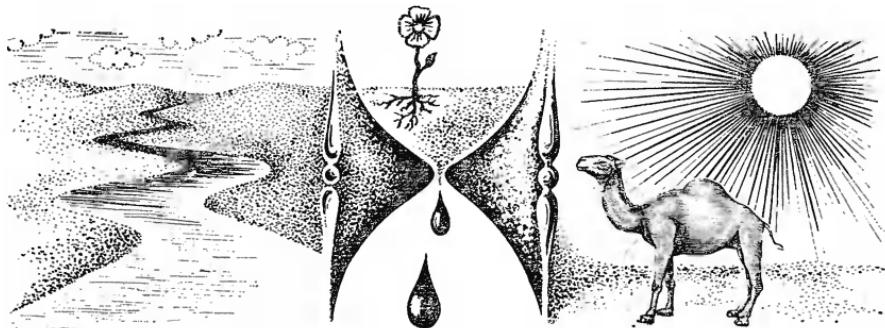
— И сам не знаю, — пожал плечами Коля. — На старое потянуло.

— Ни с того ни с сего?

— Психи.. Был, понимаешь, прошлой осенью в Новосибирском Академгородке. У них там богатый Рерих в картинной галерее. Всчи-то все известные! Он развел руками. — Знаю я их. А тут вдруг словно в первый раз увидел. И так захотелось в пустыню, что сердце защемило. Вспомнилось вдруг, как она цветет, как пахнет ветер пыльны. И дали вечеряющие, грустные, синие.. Я тут после института работал. Три года. Да и студенческие практики тоже. Одним словом, такая меня тоска обуяла, что я словом не сказать!

— Ты же водород уже докторскую начал?

— А ну ее! Жизнь-то проходит! Пройдет еще десять — пятнадцать лет, и я уже не вырвусь в пусты-



ню. То да се, ругтина всякая... И силы будут уже не те. Кроме того, работу-то и здесь сделать можно. И какую!

— Думаете, найдете нефть?

— Не совсем. Она тут.— Он постучал старым кедом по брезентовому полу.— Или там,— кивнул головой в сторону откинутого полога.

— Переход прошел безболезненно?

— Не совсем.

— Что так?

— Потерял рубль сорок. Нынешняя моя фирма оказалась ниже категории... А так все о'кей.

— Значит, все хорошо и ты доволен?

— Доволен? Не то слово, старик. Я живу! Хочешь съездить за грибами?

— А есть?

— Уйма! Хоть косой коси. Грибы и тюльпаны...

И еще была у меня одна любопытная встреча. На Узбое, в каменистом русле, откуда ушла вода. Я познакомился там с Рустамом Касимовским — змеевом. Он только что спустился с гор, где, как мне говорили, есть удивительно синие озера с чистой, но мертвый водой. Ложе такого предельно засоленного озера — это сплошная друза, скросток кристаллов гипса. Причем отдельные кристаллы вырастают величиной с ладонь. И все это сверкает, искрится, переливается в преломленных сквозь воду лучах солнца. Зрелище, как уверяли восторженные очевидцы, совершенно фантастическое, завораживающее. Я спросил Рустама об этих озерах.

— Знаю. Сыыхал,— кивнул он.— Но не видел. Некогда было. Преследовал змею. Два дня. Ни минуты роздыху.

— Гюрз?

— Кобра.

— Два дня преследовать кобру! Как же вы не потеряли ее? Вы что, совсем не спали? И вообще нечую... Она же могла уйти.

— Никуда она не денется. Я же знаю все ее повадки. Это бесхитростная змея, благородная.

— Простите, но мне это не очень понятно. Мало ли щелей и пор... И вообще скамы, пустыни. Или, быть может, вы не теряли змею из виду?

— О, если бы! Тогда бы мне не понадобилось двух дней. Хватило бы десяти минут. Нет, я сторожил ее. Сторожил и преследовал.

— А как остальной улов?— Я покосился на брезентовый мешок, небрежно брошенный в угол.

— Ничего... Есть, — однословно ответил Рустам.— Вы не подбросите меня до ближайшей столовой? Ужасно стосковался по простой человеческой еде.

— А что вы берете с собой на охоту?

— Кусок лепешки и флягу с холодным кок-чаем.

— И это все?

— Все. Когда ты преследуешь змею, ты должен быть быстрым и подвижным, как она. Поэтому я стараюсь не брать с собой много груза. Хватит мешка с палки с крючком.

— На одном хлебе далеко не уедешь.

— Почему? Хороший хлеб — это все, что мне надо. И чай. Когда есть хлеб и чай, я доволен. Больше того и не надо.

— Когда есть? Значит, есть не всегда?

— Если далеко зайдешь. Для три случалось обходиться без хлеба.

— А вода?

— Я знаю места своей охоты. Все колодцы и родники.

— И таскыры?

— Да. Но туда я иду только после дождя.

— Нелегкая же у вас работенка! По три дня ничего не есть...

— Нет. Я ем. Голодный человек здесь быстро тяряет силы.

— Но вы же сами сказали, что хлеб бывает у вас не всегда.

— Хлеб — да. Но есть грибы — я сушу их на солнце, жую побеги репея, собираю янтарный сахар.

— Янтарный сахар?

— Некоторые виды верблюжьей колючки выделяют сахаристые соки, которые застывают на ветвях в виде белых крупинок. Это исконное у нас лакомство. Его и на базарах продают. Я еще в детстве ходил в пустыню за сахаром... С деревянным тазом.

— Но ведь все это весной, осенью, когда пустыняоживается...

— Верно. Именно тогда я и ухожу на охоту.

— Ну, а в скалах как же?

— Еда везде есть. На крайний случай можно есть гермитов.

— Я слышал об этом.

— Я пробовал. Можно. Давленных с солью. Человек может есть все, что едят звери. Хотя бы тех же яицерц.

— А змей?

— Змей — нет. Они слишком дороги. Каждый грамм сухого яда — это сто шестьдесят рублей. Арагоценные лекарства. Балюта.

— Правда, что термиты погибают под открытым солнцем всего за несколько секунд?

— Правда.

— И ведь живут в пустыне! Приспособились.

— Это их дом. И они знают его.

Встреча с Рустамом много значила для меня. Она помогла мне на конкретном примере четко осознать место человека в пустыне и роль пустыни в жизни людей. Привела как бы в систему все то, что я увидел, услышал, почерпнул из книг. И еще одно... Этот необыкновенный человек обстрелял мой интерес к змеям. Я был много наслышан о них, но ни разу не повстречал в пустыне ни кобру, ни гюрзу, ни эфи, ни щитомордника. Ящериц видел массу, даже «крокодила пустыни» — варана зем-зем, а вот змей — нет. Только их следы на песке. Мало змей осталось в пустыне, выбили их, перелопатили. Недаром Рустаму пришлось двое суток гоняться за коброй.

**В**полне понятно поэтому, что, приехав в Ташкент, я поспешил посетить знаменитый змеитомник Академии наук Узбекистана. Туда не очень охотно пускают гостей, особенно с фотоаппаратами. Директор вполне резонно возражал, что, во-первых, должен ознакомить меня с инструкцией, которую мне следует знать назубок (последнее выясняется лишь на экзамене), а во-вторых, змеи склонны к неожиданной атаке именно в тот момент, когда их пытаются поймать в видоискатель. Здесь последовал обстоятельный рассказ о несчастном фотокорреспонденте, которого укусил кобра.

Но как бы там ни было, вольеры я все же попал. Меня сопровождал Василий Петрович Карпенко, опытнейший герпетолог, кандидат биологических наук.

— Человека в пустыне не нужно охранять от змей, — сказал он после того, как я рассказал ему, о чем и как собираюсь писать. — Нужно охранять змей от людского невежества. Это древнейшие жители земли, и они не должны исчезнуть. Змей, когда кусает? Когда ей некуда деться. Она уйдет с вашего пути или предупредит о своем присутствии шипением.

— Эфа вроде шипит после того, как укусит.

— Верно. Но эфи — она свиается, как двойной крендель, и передвигается боком, бросками — легко

заметить и распознать. Для змей укус — это трагедия. Она бережет яд для охоты. Гюрза ужалит только тогда, когда на нее наступили или схватили рукой. Щитомордник — маленякая наша гремучка — долго шипит в бьет по земле роговым хвостом.

— Одни змееволюг говорят мне, что особым благодатствием отличаются кобры...

— Правильное говорят. Кобра никогда не бросится сразу. Она сначала встанет в угрожающую позу, зашипит, раскроет капюшон... Вот смотрите. — Он ловко подцепил стальной крючком молодую сильную кобру и бросил ее на пол. — Прежде всего она пытается скрыться.

Испуганная змея с тихим шелестом метнулась вдоль стены, ища хоть какое-нибудь укрытие, но крючок ласково и непавязчиво завернул ее. Она заструрилась по полу, как маслянистый ручеек, но и здесь ее ждала стальная преграда. Тогда кобра зашипела и, грохоча чешуйками, приподняла голову, чуть-чуть обозначив знаменитый свой капюшон. Дальше в своих угрозах она не пошла. Зато сделала несколько ложных выпадов и, не раскрывая пасти, атаковала палку.

— Это она играет, — сказал Карпенко. — Даже опу, которая могла растоптать ее, кобра не укусит. Она ударит ее головой — вот так, чтобы отогнать. Сколько раз меня бодали кобры!

— И ни одного укуса?

— Нет, однажды было. В вольере. Не очень ловко схватил, да и отвлекся на разговор. А тут нужно внимание, сосредоточенность.

Он дал кобре обвиться вокруг палки, легким фехтовальным движением прижал ее головку к полу и молниеносно понимал за шею. Змея конвульсивно дернулась, но герпетолог, бросив палку, второй рукой ухватился за хвост.

— Это самый ответственный миг, — он перевел дыхание. — Иначе она сломает себе позвоночник... Ну что ты, что ты, не бойся, бедная, сейчас я тебя отпущу.

Кобра с хлопаньем изрыгнула из анального отверстия ярко-желтую жидкость.

— Последняя попытка освободиться. Думает, что я от неожиданности разожму пальцы. Нет, не выйдет! Человек поумнее твоих естественных врагов, змеючка.

— Герпетолог, — уточнил я. — Кто-то другой может и отпустить от неожиданности.

— В этот момент она его и ужалит.

Кобра в его руках была неподвижна. Я осторожно погладил светлый ее живот, окаймленный зелеными, сиреневыми, коричневыми чешуйками.



— Для них каждый отлов — это такое переживание! Такое переживание! Я уж не говорю про взятие яда. Настоящее мучение для змей, когда ей разожмешь пасть — вот так — и упрешь ее зубы в блюзку.

Лаборант взял стекляшку и сунул ее под загнутые острые-острые и полуупрозрачные иглы. Словно капельки глицерина брызнули в стекло.

— Так их и доят? — спросил я.

— Нет, мы еще раздражаем виски электродами. Для более полной ядоотдачи. Жалко их, ох, как жалко! А что делать?

— Наверное, они скоро умирают?

— Нет. Мы добились, что змей живут у нас до шести лет. Это меньше, чем на воле, но все же ничего. Они заслужили хорошее обращение. Сколько людям спас жизнь змениный яд! Вернул здоровье.

— Скоро его научатся синтезировать.

— Не очень-то скоро. Формула яда не постоянна. Мы разделяем яд с помощью элекстрофореза в агар-агаре на несколько фракций. И представьте себе, что даже у змей одного вида состав фракций различен. Это четко видно на хроматограммах. Две гюзры одного пола и возраста, но пойманные в разных местах, дают разный яд.

— Специфика пищи, воды?..

— Видимо. Мы улавливаем разницу даже у змей, которые были пойманы в местах, разделенных расстоянием в пятнадцать километров... Ну, хватит тебе мучиться, хватит, спасибо, моя хорошая! Он быстро швырнул кобру в террarium, где под горящей лампой слабо подгревал лапкой умирающий цыпленок, и захлопнул сетчатую дверцу. — Надо руки помыть. Ядом кануло.

Лаборант бережно надел крышку, восковым карандашом проставил на стекле номер и убрал бокс в холдингник.

— Ну что, пойдем теперь к гюзрам? — спросил Карпенко, тщательно памыливая руки. — Они у нас в открытых вольерах живут, почти что на свободе... Да, жаль змей. Змей — это скорпион! Вот вы говорите о комплексном освоении пустыни... А о змеях разве подумать не надо? Если хотите знать мое мнение, то я вам скажу вот что: нужно в полной непрекословности сохранить их местообитание. Самые змениные уголки трогать нельзя. Пусть будут там заповедники, нетронутые участки пустыни. Это, если угодно, выгодно даже с точки зрения голового чистоты. Змей дороже карауля, дороже лошадей, нефти и даже золота. И золота в земле еще много, а змей... — Он махнул рукой. — Каждый дурак воровит убить змей! Будто худшего врага! На что же это похоже? Законы приняты специальные об их охране, в газетах об этом пишем, по радио... Учитите, это ваша обязанность, птицующих-то людей, довести до сознания каждого: береги змею!

Я пообещал ему сделать все, что в моих силах. Было немного стыдно и не очень удобно, что ради любопытства незваного в общем-то гостя кобра подверглась вионочредной мучительной процедуре. У нее и без того несладкая жизнь.

**H**о дело не только в змеях. Прежде всего я думал о людях, о Рустаме, Карпенко, об этом молодом лаборанте, имени которого не рассыпалась. Василий Петрович относился к своим пленницам с какой-то суровой нежностью. Я не нахожу иных слов, несмотря на всю их сентиментальность. Он действительно пожал любил змей... Потом, когда мы уже сдружились, он рассказал, что однажды

чуть не умер от укуса щитомордника. Долго болел, исходя почечной кровью. Знание, а тем более понимание даются дорогой ценой. За все нужно платить. И по самому большому счету. Я рад, что видел, как ловят змей и берут их в руки, как прикзывают к их коленеизданным головам электроды, как змей кашляют ядом в пароксизме мучительных судорог. Мне было жаль их, и я понимал, что люди, которые ради меня делают сейчас пусты архипризычную работу свою, все же рискуют. Иного веда достаточно, чтобы крохотная капелька брызнула на незаметную царепину... И тем не менее мне нужно было все это видеть собственными глазами. Иначе я бы многое не понял и не сумел бы потом рассказать другим.

— А какая вам, собственно, разница, где вы увидите змею — здесь или в вольере? — спросил вдруг Карпенко. — В соседней комнате у нас полно горя.

— Мне хочется видеть, как их ловят на воле. Среди камней. В зарослях полыни и чертополоха. Если только можно, конечно.

— Можно. Хотя в вольере не совсем так, как на природе, но очень похоже. Неспециалисту разницы не уловить. Если хотите сами залезть к змеям, то паденьте сапоги. Без сапог нельзя.

С тех пор я больше нигде не видел змей. Разве что в зоопарке. Впрочем, одну мне все же пришлось встретить и в естественной обстановке. Однако в естественной ли? Это была горя, убитая или оглушенная взрывом — точно не знаю, — на Тюя-Мюоне. На дне будущего пресноводного моря, которое позволит удвоить площади орошения в Ташаузской области Туркменистана и Кара-Калпакской АССР.

Человек осваивает пустыню... Подвижные пески закреплены растительностью и битумом; своеправные реки до последней капли отдают свои воды плям и садам; насосы качают нефть; по стальным трубам идет газ; асфальтированные дороги прорезали занесенные песками караванные тропы. Настало время подумать и о том, как сохранить неповторимый животный мир раскаленных песков, как заставить служить людям весь комплекс пустынного ландшафта. Собственно, это и является комплексным освоением пустыни. Индустриальное победное развитие неотделимо от строгого учета тонких экологических связей. Тогда природа будет неизменно щадить и к нам и к внукам наших внуков.

•



В. СНЕГИРЕВ

В канун новой серии матчей между сборной СССР и канадскими профессионалами журналист Владимир Снегирев попросил Владислава Третьяка прокомментировать некоторые высказывания канадских специалистов о предыдущей серии матчей между нашими хоккеистами и канадскими «звездами»... Автор цитирует книги: журналистов Жака Террокса «Борьба за венок» и Жака Людвига «Хоккейные вечера в Москве», а также тренера Гарри Синдена «Хоккейное откровение».



## ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК ПРОТИВ КАНАДСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

**—** **В**от здесь про тебя, Владислав. Журналист Жак Людвиг пишет: «Все подчеркивают уравновешенность и уверенность Третьяка. Я наблюдал за тем, как он ссыпал вел, когда шайба металась всем в четырех футах от ворот... Третяк стоял в классической позе и не реагировал ни на какие уловки, а когда шайба со свистом полетела в угол его ворот, он был начеку и отразил ее. Уравновешенность и уверенность Третьяка — это одно из важнейших качеств, которое есть у всех русских игроков. Все они получили блестящее хоккейное воспитание».

### ТРЕТЬЯК.

— Приятно слышать такое, однако перед матчами, когда мы еще только приехали в Канаду, меня в газетах называли не иначе, как «мальчишкой», которого в два счета растерзает Эспозито». Примерно то же самое говорили и о других наших хоккеистах.

— У Людвига есть и об этом: «2 сентября 1972 года величайшая хоккейная команда Канады была готова к матчам. Все считали, что она произведет такой ослепительный блеск, какого еще не видел никто. Мы приготовились зажечь свечи по русским игрокам». А вот что пишет Жак Террокс: «Когда Третяк пропустил первую шайбу на 30-й секунде, все стали кричать: «Мы съедим их сырьми. Какого черта они здесь делают...»

### ТРЕТЬЯК.

— Да, бедлам был чудовищный. Мне показалось, что на трибунах началось какое-то всеобщее безумие. Рев, сист, треск. Были сирены, вспыхивали мигалки, электроорган играл похоронную музыку. До сих пор удивляюсь, как нас все это не сбило с толку. Еще более яростное ликование захлестнуло трибуны, когда Хендерсон забил мне вторую шайбу...

— Закапчивая рассказ об этом матче, в котором мы победили со счетом 7:3, тот же Террокс отметит: «Великолепно сыграл Третяк. Он несколько раз спасал ворота от верных голов Ф. Маховицом. Он сказал мне: «Каждый раз, когда я пытаюсь атаковать его ворота, мне кажется, что Третяк наперед знает любое движение, которое я хочу предпринять. Словно мы с мадденчества играем друг против друга».

### ТРЕТЬЯК.

— Маховиц? Тот самый Френк Маховиц, который в Банкувере сел на меня верхом? Помнишь: они пропрыгивали нам три гола и стали нервничать. В мою сторону скользила шайба, за ней мчался Маховиц, во я успел раньше. Тогда Маховиц сбил меня с ног и уснул сверху. А свистка нет, игра продолжается. Ну, думаю, забьют нам сейчас. Изо всех сил хочу встать, но он здоровый парень. Решил: поднимусь п

отделаю канадца. Но тут публика начала свистеть, и Маховалик освободил меня.

А интересно, знает ли Маховалик о том, кто был моим гостем за час до первого матча с канадцами — в Монреале? К нам в раздевалку тогда пришел Жак Плант. Знаменитый «укротитель шайбы», лучший канадский вратарь всех времен. Плант пришел вместе с переводчиком, и, думаяшь, что он мне сказал? Он стал подробнейшим образом объяснять, как мне, вратарю, играть против Маховалика. Эспозито, Корнуайе, Хендersonа... «Будь внимателен», — сказал Плант, — когда на льду Маховалик. Он бросает по воротам беспрерывно, с любых дистанций, из любых положений. Подальше выкатывайся ему навстречу. Учи, Корнуайе — самый быстрый нападающий в НХЛ, а Денис Халл может забить шайбу с красной линии. И помни: самый спасенный игрок в нашей команде — Фил Эспозито. Этот парень послал шайбу без подготовки даже в малюсенькие щели ворот. Не спускай с него глаз, когда он на «пятаках»: здесь защитники сядут с ним не могут».

Чтобы было нагляднее, Плант показал мне все это на макете, попрощался и ушел, оставил нас в сильном недоумении: зачем ему понадобилось «играть» против своих? Может быть, им руководила жажда ко мне, мальчишке, которого собирался растерзать Эспозито. Не знаю... Только спасибо Планту, его советы мне очень помогли.

Хорошо, пойдем дальше. Вот одно любопытное замечание относительно стиля игры сборной СССР, сделанное Жаком Людвигом: «Нет ничего нового в этом мире. Оглянитесь назад и вспомните стиль нью-йоркских «рейнджеров» — не его ли так эффективно применяют теперь советские игроки? Точные передачи и остроумная комбинационная игра всей команды — вот слагаемые этого стиля».

### ТРЕТЬЯК.

— Я не видел «рейнджеров» и поэтому не могу судить о том, насколько их манера напоминает нашу. Но абсолютно согласен с тем, что комбинационная игра — это действительно «конек» советских хоккеистов. И пришли мы к этому, напомню, своим собственным путем, не копируя никого.

Людвиг пишет далее: «Русская школа своим поведением во многом обязана тренеру Тарасову. Вот несколько любопытных положений, составляющих его кредо: хороший пас — это тот, который идет от сердца; только игроки, не являющиеся эгоистами, могут составить первоклассную команду; единственно допустимым манием за грязную игру является победа над хоккеистами, нарушившими правила. 8 сентября на 2-й минуте 4-го матча русские блестяще проиллюстрировали этот последний тезис. Билл Голсурси, чем-то напоминающий забияку Кашмена, грубо сыграл в углу площадки и был наказан 2-минутным штрафом. После вбросывания шайбы овальный Петров, потом он передал ее Лутченко, тот — Михайлову, который послал шайбу мимо растянувшегося на льду Драйдена в правый угол ворот. На 6-й минуте Голсурси снова кого-то неправильно атаковал, и все повторилось: опять Петров передал Лутченко, а Михайлов снова обманул Драйдена».

### ТРЕТЬЯК.

— Профессионалов сильно удивляло, что наши ребята, как правило, не уступают им даже в силовой борьбе. Пора рассказать, наконец, что мы у себя в ЦСКА тем летом специально готовились к жесткому хоккею. Мы придумали множество разных упражнений для отработки словесных единоборств. Чтобы не бояться столкновений, мы устраивали «петушиные бои» и даже тренировались в боксе.

— Когда канадцы приехали в Москву, они держались уверенно и каждый раз с неизменным опти-

мизмом выходили на лед. Но, оказывается, как я узнал из книги Гарри Синделена, не все благополучно было в те дни на борту канадского корабля: «До сих пор в нашем ковчеге была команда из 50 человек, которая старательно гребла к берегу. Сегодня мы потеряли трех из них. Они выплынули за борт, словно крысы, которые не хотят потонуть вместе с кораблем. Вот как это случилось. Когда игроки сегодня утром закончили тренировку, я позвал их, чтобы назвать состав на вечерний матч. По рассеянности я не ввел Хэдфида ни в одну линию. Тогда ко мне подбежал Фертиссон и спросил, с кем я хочу поставить Хэдфида. «Пусть он пока присоединится к тем, кто не включен в постоянный состав», — сказал я. Фертиссон и Хэдфилд долго беседовали между собой. Тотчас тренер вернулся и сообщил: «Он не хочет принимать этой податки». Хэдфилд покинул площадку, уселился на скамью и стал демонстративно читать газету. Я подошел к нему: «Ты должен тренироваться». «Не собираюсь», — ответил Хэдфилд. «Тогда ты должен снять форму. Нет никакого толку от того, что ты сидишь здесь и выставляешь всех нас дураками».

Как оказалось, это был наш последний разговор. После этого Хэдфилд собрался домой. Я хотел поговорить с ним, но потом послал все к черту. А после тренировки ко мне подошел Мартин и сказал, что он тоже хочет вернуться и что ничего плохого он против меня не держит. Слух о том, что двое уезжают, уже распространился. Это было как заразное заболевание, которое могло охватить всех... На пути в отель Фертиссон сообщил, что Гирвемон тоже хочет вернуться домой.

Эти парни пожелали уйти прежде, чем закатится звезда канадского хоккея. Я бы очень хотел, чтобы они возвращались в Канаду пешком.

...Сегодня появился еще один, кто предал нас. Это Перро... Он считает, будто я много держу его на скамейке. Остальные игроки вволю посмеялись над Перро. Ведь все деньги, которые мы получим за матчи, пойдут в общий котел и затем будут разделены между хоккеистами. «Может быть, кто-то еще хочет вернуться домой? — смеялся, спрашивали парни. — Валзите. Зато котел станет еще полнее для оставшихся».

### ТРЕТЬЯК.

— Это очень показательно для атмосферы профессионального спорта. Канадцы — великолепные мастера хоккея, индивидуальное мастерство их звезд на грани совершенства. Это так. И в этом смысле мы можем у них многому поучиться. Но остальное... Однажды я спросил Бобби Орра, как он, лучший сегодня хоккеист Канады, относится к своим тренировкам. «Когда как», — ответил Орр. — Могу без видимой причины пропустить тренировку и даже две. Могу вообще не выходить на лед. Но если в следующем матче я сыграю плохо, мне мало заплатят. Если я и потом сыграю плохо, мне могут вообще не платить».

А вспомни самый первый матч, когда канадцы ушли с площадки без принятых у нас рукопожатий. Мы сначала обиделись. Но потом узнали, что профессионалы после финального свистка никогда не приветствуют друг друга. «Если я выиграл, то, значит, лишил соперника его долларов — зачем же он станет пожимать мне руку», — так объяснил нам Эспозито.

— Послушай, что Жиль Террокс советует учить своим хоккеистам на будущее: «Русские были готовы к этим играм гораздо лучше, чем канадцы, которым потребовалось три недели, чтобы прийти к хорошей форме. Советские хоккеисты тренируются круглый год. Они даже все свое свободное время

тратят на то, чтобы играть в футбол, баскетбол, бегать кроссы. У нас же профессионалы одновременно являются бизнесменами — им некогда тренироваться столько, сколько это делают русские.

Теперь мы знаем, что и другие страны — такие, как СССР, Швеция, Чехословакия, — имеют игроков, которые могут соперничать с кем угодно. Так что в будущем давайте не будем недооценивать своих противников. Нам надо учиться на ошибках. Идеальной командой будет та, которая сумеет сочетать комбинационный стиль советских хоккеистов с яркой индивидуальной игрой канадских «звезд».

#### ТРЕТЬЯК.

— Что ж, с последним утверждением вполне можно согласиться. Я уверен, что два минувших года канадцы не сидели сложа руки. Сейчас нас ждет очень сильный соперник. Нам придется теперь гораздо труднее, чем в тот раз. Ведь канадцы готовились к новой серии совсем иначе, без тех шапкозакидательских настроений, которые были у них в 1972 году.

Это будет хоккей самого высшего класса. Каждому из нас предстоит проявить все свое мастерство, хладнокровие, мужество.

Станислав ТОКАРЕВ

## Без Наташи, но с Людой и Олей

Субъективные заметки

Четыре года назад, в октябре 1970 года, в «Юности» была опубликована моя статья «Гимнастика без Наташи?». Помню, один ее абзац вызвал недовольство тренеров сборной. Я писал о том, что всему «поколению Кучинской» уготован короткий спортивный век: «Наташа просто первая из уходящих». Лариса Латынина участвовала в трех олимпиадах. Я не уверен, что Лариса Петрик и Ольга Карасева, которым сегодня 21 год, Зинаида Воронина, которой еще не исполнилось 23, выступят в 1972 году в Мюнхене, и уверен, что в 1976 году в Монреале все они не выступят». Очень жаль, но я оказался прав — Петрик покинула помост в 1971-м, Воронина и Карасева — в 1972-м, не попав в олимпийскую сборную.

Сейчас из основного состава сборной 1970 года осталась одна Людмила Турищева, ей 22, в год Монреяла будет 24, и, я думаю, в Монреале она выступит. Даже, думаю, победит. Но о ней разговор особых.

Смотрю на любительский снимок, сделанный на пляже Леселидзе тогда, в семидесятом, во время подготовки к первенству мира. Шутовая акробатическая пирамида, которую венчает Оля Корбут, стоящая на плечах Латыниной. Здесь и те, кого уже нет на помосте, и те, кто сейчас «доживает» на нем последние месяцы. Думаю, скоро уйдет Люба Бурда, тогдашний лидер. Спокойная стала Люба — теперь она Андрианова, спокойная до равнодушия к быым своим спортивным страсти...

И Тамара Лазакович, тогдашняя «забойщица» — шестой номер. Ушла от травм, от операций...

А вот эти трое претендовали тогда на единственное место запасной: Татьяна Щеголькова, Эльвира Саади и Рустудан Сихарулидзе. Их микротурнир, призом которого было это седьмое место в сборной, оказался тогда невероятно острым и ярким зрелищем. Победила Сихарулидзе. И с ней, с самой красивой из гимнасток мира, мы, наверное, скоро прощаемся...

И Эльвира Саади, наверное, выступает последней

год — самая артистичная: руки у нее выразительны, как у Тамары Ханум...

А Татьяна Щеголькова давно поняла, что наверх ей уже не пробиться.

Но разве они виноваты, что у нас великое множество гимнасток, и каждый год возникают новые имена?

Разве они виноваты, что им уже за двадцать?

Может, за четыре года я не стал умнее, но рациональные — наверняка. Я больше не воюю с ветряной мельницей омоложения. И не только потому, что это бесполезно. Я понял, что сегодняшняя гимнастика с ее режимом и нагрузками требует человека всего целиком — чтобы свет кином сошелся на двери тренировочного зала и чтобы был при этом отчаянный, беззаветный энтузиазм. Но когда ты взрослеешь, твой мир расширяется, происходит некоторая переоценка ценностей, тебе жаль и не хочется отдавать всю аушу гимнастике, ты пребуешь делами себя между нею и чем-то другим, а она, гимнастика, деляшки не прощает.

Только и всего.

Меня спрашивают: «Может ли Корбут выиграть, наконец, у Турищевой?» «Нет, — отвечаю, — не может».

На одном спариде — пожалуйста. На двух. На трех. Но не в большом многоборье, где спаридов фактически двенадцать (три раза по четыре), где разыгрывается главный титул — абсолютной чемпионки.

Латынина однажды четко сформулировала: «Корбут удвинт, а Турищева победит».

Надо быть Турищевой — стальной в работе, защищенной от житейских соблазнов, беспрекословно покорной собственной и тренерской воле. Она стайер, Турищева, у нее идеально терпеливый и упорный характер многоборца.

А Оля Корбут — человек-взрыв, человек-настроение. Представьте себе спринтера, бегущего десять тысяч метров, — такова ее ситуация в многоборье.

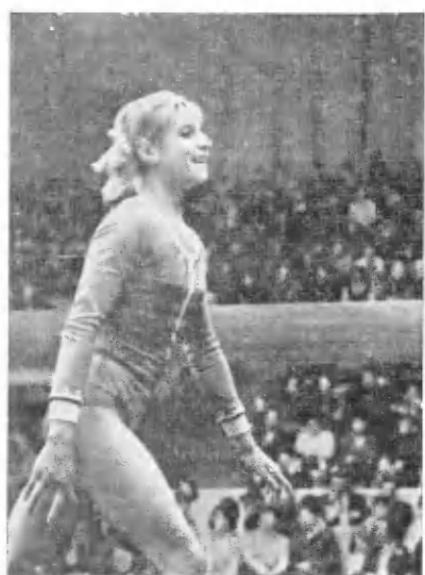
Корбут, как Кучинская, однажды проспилась запамятой. И пошла растя ее слава — английские и американские «клубы Корбут», прически «а-ля Корбут» (с бантиками в косицах), рубашки с портретами Корбут на груди, плакаты с лицом Корбут, которыми оклеены целые города и страны, ревущие и беспузыющие толпы заокеанских поклонниц и поклонников...

Ее тренер Ренальд Кныш мне говорил: «Я смотрел, и мне это странно было, даже смешно: их полиция отгоняет, а они рвутся, им лишь бы пальцем к ней прикоснуться — к такой девчонке.. Но тут вот в чем дело: Америка, понимаете? Все искусственное. Ресницы, щипа — все. А она естественна — в поведении, в эмоциях... Ничего почти не зачленено... И соревнования — это тоже веде все естественное...»

Естественность поведения, естественность эмоций... Это мы разглядели не с трибуны, не дальним планом. Крупным. Слава Корбут, как слава Кучинской — дитя телевидения.

В 1966 году во время трансляции из Дортмунда, с чемпионата мира, экран показал нам растерянность, ликование Наташи, когда она во время круга почета по залу забылась и одна вприпрыжку умчалась вперед, потом смущалась до слез... Умный юноша Воропин сказал тогда: «Большая она актриса...»

В 1972 году во время трансляции из Мюнхена, с Олимпиады, экран показал нам горе Ольи Корбут, отчаянные ее рыдания, когда за ее невероятные трюки на брусьях судьи дали невысокую оценку... И



Вот они: Людмила Турищева (вверху) и Ольга Корбут.

Фото Жанны МОРЕНО.

миллионы телезрителей тотчас влюбились в Олю и вознегодовали на судей...

Л помните, как Саша Зайцев, впервые выступавший в паре с Родиной на первенстве Европы, увидел сплошные шестерки на табло, и брови его полезли вверх, рот разъехался, и за голову он сквачился...

Теперь, стоит в какой-нибудь статье, в очерке или интервью справедливо подчеркнуть ведущую роль Родиной в этом дуэте, как сплюются горы писем: «А Зайцев? Разве Зайцев хуже? Не обижайте Сашу Зайцева!»

Людмила Пахомова после катания (особенно за рубежом) обычно смотрит прямо в камеру и несколько раз, одними губами, произносит слово «мама». И она нам от этого ближе и дороже — блестящая, гордая и честно говоря, далековата от нас Людмила Пахомова, прима-балерина мирового спорта.

В этом году, когда транслировался из Ростова-на-Дону чемпионат страны по гимнастике, телережиссер оказал Оле Корбут дурную услугу. Он поставил на экран изображение с той камеры, которая взяла Олю на брови крупно и в три четверти. Она исполняла новый элемент — стойку с крутым прогибом, испо же совсем из циркового репертуара («женщина-змея», что ли). И мы увидели страшное напряжение, муку-мученическую на детском лице Корбут...

А может, нет? Может, правильно поступил режиссер?

Сотни девчонок спрашивают: «Как стать такой, как Корбут?»

Ответ прост, рецент не прост. И не для всех замачив.

А в славе Корбут есть нечто фантастическое. Чего то из сказки о Золушке, которая стала принцессой по мановению волшебной палочки. Золушка, конечно, была девочкой прелестной, но, кроме всего прочего, имела фею в качестве тети, так что ей не мокко и повезло. Со стороны кажется, что Корбут тоже повезло. Девочка девочкой, такая же, как все. Тем и манят — обыкновенной внешностью и необыкновенностью судьбы.

Нет же в ней суровой и воззвищенной отрешенности Турицкой.

Так себе, воробышок.

«Стиль «воробей», — называет это Кныш.

Но все-таки, что надо, чтобы стать такой, как Корбут?

Для начала надо ею родиться. Надо, чтобы в 18—19 лет вы имели полтора метра роста и 38 килограммов веса — ни грамма больше, ни жиринки, сплошной мускул, спиреальный режим.

Надо, чтобы в этом хрохотном теле было отважное сердце, чтобы был азарт, любовь к приключениям: трикол для нее — приключение...

Нужна злость. Нужна беспощадность.

Нужно веселье. Ненависть к скуче, к однотонности (это, как вы понимаете, уже недостаток) — Корбут плохо выносит кропотливый тренировочный труд, этим она тоже уступает Турицкой, но мы ведь говорим о том, как быть такой, как Корбут).

Нужна любовь к сцене, нужно постоянное желание привлечь публику.

Здесь Корбут сильнее Кучинской — слава оказалась непосильной для Наташи, для ее первов, слава Наташу сожгла, а Корбут она только греет...

И нужен еще Ренальд Кныш.

Разговор был не очень понятным и внятным. Как сам Кныш, Ренальд Иванович присел на траву, сорвал и закусил травинку и, вода вдоль горизонта своим самоуглубленным взглядом, сказал:

— Что это вы такое про меня пишете, будто я подвижник, фанатик... Чокнутый какой-то... А вдруг я вообще и не люблю гимнастику? Может, я совсем другим живу, а гимнастика для меня — так... Свобода и материальное благополучие... Такого вы про меня не думали? Я вообще, может, когда-нибудь уйду из гимнастики. Если получится, что я задумал...

Я слышал краем уха, что он изобретает нечто невероятное — из области техники...

— И еще я ленивый, — говорил Кныш. — Мне скучно каждый день делать одно и то же. Вот когда остается до соревнований совсем немного, я ложусь в постель и думаю... Я люблю думать в постели... Я думаю: «Чем бы удивить? Это должно сложно, трудноемко... И это не пойдет... И это... Вот это пойдет».

— Я вас поймал на слове, вы и есть «чокнутый»: надо же иметь по-особому устроенные мозги, чтобы придумать то, что никто другой не может.

— Придумать и дурак способен. Придумать легко. Трудно найти зерно. Главное в элементе. Основу, чтобы знать, как его выполнить... Я всю жизнь был уверен: за что ни возьмусь, стану лучшим. Я хотел вырастить чемпионку страны. Вырастил — Волчеку. Ну и что? Чемпионка страны? Чепуха! Я решил создать «сверхзвезды»... Корбут? Нет, она не «сверхзвезда»... Слава, слава... Думаете, так: едет Кныш по Гродно на машине, и все ГАИ под козырек берут? Наоборот: «Ага, вон Кныш едет, сейчас мы его прихватим, пусть не думает, что он какой-то такой особенный — Кныш...» Так оно и в жизни.

Абсолютная нормальность Людмилы Турецкой, спаянная с абсолютной бормальностью, с темпераментной убежденностью, с фанатизмом и откровенной гордостью этим фанатизмом, — словом, со всем, что свойственно ее тренеру Владиславу Растроцкому, дали нам в итоге надежный сверхверткий сплав.

Звенищая первенца Корбут и приспособленный к ней сильный и странный, ни на кого не похожий талант Ренальда Кныша, его идеи, о которых не скажешь, что они «недостаточно сумасшедшие», и еще их общая исканственность повседневной рутине — все это дало сплав, ослепительный и хрупкий.

Выступление Корбут — это каждый раз из всех сил. На пределе сил. Там более что каждый раз она жаждет выиграть у Турицкой. Она скажет себя на костре чистолюбия. Зад ахает от ее триков. А побеждает все-таки Туриццева.

Та давняя статья в «Юности» кончалась разговором о 12-летней Нине Дроновой: «Без доли преувеличения я должен сказать, что девочка эта — уникальное явление в мировой гимнастике. Моцарт гимнастики, если хотите... Как уберечь ее от телесных и душевных травм, дать ее таланту окрепнуть вовремя, расцвести в пору цветения — не отвестви до поры?»

Не получилось. Нина выступает, и неплохо, и даже блещет порой во второстепенных международных турнирах, вроде весеннего лондонского, где вдруг вспомнили о ней, что она Моцарт... Но мы знаем: цветок, которого ждали, так и не расцвел. Может, еще не все потеряно, но годы идут.

Причины... Есть объективные — травмы, причем такая, после которой боль, что ни делай, остается, и надо ее пересиливать, надо терпеть, чего Нина не умеет. Азиат все, а борются с ним, держать себя «в струне» Нина не умеет тоже. Наконец, просто лень — грациозная, наблюдавшая лень: «Я такая, что мое с собой подсказать?»

Обралась я на девочку, а кто виноват, кто избаловал-то ее? Мы же сами преждевременными второгодами.

С одной стороны — что особенного? Я же сказала — у нас великое множество гимнасток мал-мала менинги, и каждый год возникают новые имена.

Но Моцарта среди них нет.

Или есть?.. Я уж теперь боюсь загадывать, чтобы не слазить, не опередить событий.

Мы в женской гимнастике невероятно богаты дарованиями. Наше богатство кажется неисчерпаемым. Но позволяли ли быть трансформации?

Что я имею в виду? Да то, что и очаровываемся мы порою рано и разочаровываемся тоже иногда рановато. Неисчерпаемый резерв отчасти опасен, поскольку силен соблазн сиюминутной замены.

Туриццева не сразу стала Турицкой. Легко припомнить, сколько раз она падала за шаг до победы, сколько срывала элементов, прежде чем ее программа обрела нынешнюю стопроцентную надежность.

И вот сегодняшнее беззобачное благополучие танит все-таки в себе какую-то неосознанную тревогу. Вдруг в радостном молчании имен и лиц мы упали, проглядели еще одну Корбут, еще одну Туриццеву... А то и Кучинскую...

Ведь Наташа действительно неповторима.



Марк РОЗОВСКИЙ

# НА РЫНКЕ

Рисунок И. БРОННИКОВА.

**3**натый алкоголик района Володька Бубнов, частично беззубый человек 48 лет, с лицом шершавым и углистым, как асфальт, и тонкой, морщинистой шеей, похожей на грязное, перекрученное полотенце, сидел на рынке в ряду «Овощи-фрукты» и продавал щенка неизвестной породы.

Была глухая осень. Дождь накривал слегка, но тяжелыми редкими каплями. Они ударили по непокрытой лысине Володьки и отскакивали в его несвежей голове мрежким колокольным звоном.

«Сейчас выпить боя! — сподобилось Володьке, но сухин сын щенок не продавался уже четвертый час, отчего голубая мечта оставалась того же цвета. Денег на выпивку у Володьки не было ни шиша. От пустого ожидания Володька ерзал, сидя на каком-то драном рыночном ящике, и мотал глазами в разные стороны в надежде усмотреть возможного случайного покупателя.

— Ты чё нервичаешь? — спросила Володьку бабка с мужским именем Парфен, продававшая рядом огурцы, семечки, репу и газеты за февраль 1949 года — на завертку. — Не нервичай! Продавай сурбезно.

— Не покупают! — пожаловалась Володька бабке. — Не идет товар.

— Куплют, — уверенно сказала бабка Парфен. — Жди!

И действительно, не успел Володька еще раз оглянуться, как около него остановилась женщина-покупательница.

— Почем будет собака? — строго спросила она Володьку.

Но Володька, который сразу почувствовал, что ему везет, решил не сразу обзвывать цену.

— Поптора месяца, — сказал он. — Чудо, а не кобелек.

— Значит, еще пысается! — Женщина дружелюбно потрогала щенка за ушами.

— Трешник, — торопливо объяснил Володька, обидевшись за щенка, — а с утра за пятерку отдавал!

— Почему же сбавил? — с прежней строгостью спросила женщина.

— Щенок — старше, цена — дешевле! — объяснил Володька, но женщина не улыбнулась, на купила щенка, отошла.

Примерно через полтора часа, когда Володька совсем пророг и грелся своим ледяным, тоскливым до пойла животом о горячее тепло щенка, подошел следующий покупатель — мужчина вредного интеллигентного вида.

— Сколько? — спросил он.

— Рупь, — быстро ответствовал Володька. — С утра трешник прописал.

— Хорошо, — сказал интеллигент и полез в карман за бумажником. — Это какая порода?

— Доберман-сеттер, — не моргнув, ляпнул Володька и тут же понал, что продешвия. За такую породу можно было бы взять и поборожек!

— Что-то я не слышал такой породы. Родословная у него есть?

— Чего? — не понял Володька.

— Ну, родители кто?.. Папа с мамой?

— Я его родитель, — сказал Володька пристодушно. — Я ему и папа и мама!

— Понятно, — сказал интеллигент, оставляя рубль в бумажнике. — Ну, а бабушка с дедушкой тогда у него кто?

— Бабушка у него из Австралии, а дедушка проживает в Балашихе, с Курского вокзала. Междуд про-чим, медалисты. Оба-два!

— Непонятно, — сказал интеллигент. — Почему же они на таком расстоянии друг от друга живут? Почему в такой разлуке?

— Жизнь раскидала! — беспеч-но ответил Володька.

— Нет, пожалуй, я не возьму... Передумал... Мне нужен породи-стый пес.

— Ах, ты... — Володька хотел бы-ло выругаться но не сумел: щенок вдруг заскутил и посмотрел на него грустными своими пугови-чными глазами.

Мужчина ушел, унося с собой через ворота рынка в бесконеч-ность желанного рубль.

Бабка Парфен убрала с прилавка свою репу с семечками и огурцами, причесалась, на вырученные от продажи газет деньги вы-пила газировку из автомата и по-ходкой царицы ушла с рынка. Дождь перестал накральвать, по-нимал, видно, что рабочий день рынка кончается. Володька сидел понуро, без всяких надежд.

Вдруг на уже почти пустом рынке стремительно появилась юная влюбленная парочка. Переня шел браво, в распахнутом настежь пальто, под которым сверкал до-рогой, сшитый по моде костюм-тройка и галстук-кинска, шел мол-одцевато, нагло, словно хозяин всей этой рыночной кутерьмы, а девчонка, крошка-канашка, еле по-спевала за ним...

— Мужик, продаешь бобика? — спросил парень, показывая Володьке стальные зубы.

— А ты не видишь? — огрызнулся Володька.

— Марина, хочешь бобика?..

Давай купим, а?.. В квартиру на-шу новую?

— Зачем?

— Для мебели.

— Не сходи с ума, Гена. Мы же за грушами пришли! — Марина по-тнула своего Гена за руки.

— Груша нет. Есть бобик. Он к нашим обоям по цвету подходит. И забава тебе будет не хуже телевизора

— Не хочу я бобика. Я грушу хочу.

— Груша я тебе еще сто кило куплю. Я тебя грушами закидаю. А вот этого бобика...

— Сначала купи груш, а насчет бобика поговорим в следующий раз! — твердо сказала Марина.

— Марина! Ты моя жена второй месяца, а уже командуешь?

— Гена! Ты второй месяц как мой муж, я все это время прошу тебя как человека: купи мне груши, купи мне груши, а ты мне сушь какого-то бобика.

— Мужик-мужик! — сказал Гена с горячью. — Объелся груш!

— В том-то и дело, что не объелся! — поправила Марина не без ехидства.

— Мужик! — снова обратился парень к Володьке. — Так мы у тебя этого бобика купим.

— Покупай скорей, — мирно по-просил Володька. — Мне еще до семи надо успеть.

— Успеешь. Сначала цену назови.

— Десять рублей, — ляпнул Володька, но что-то изнутри ему подсказывало: какую бы цену он сейчас ни назвал, дело будет сделано.

Марина ахнула, Гена на нее цыкнулся.

— А это мальчик или девоч-ка? — поинтересовался Гена.

— А вам кого больше хочет-ся? — спросил игриво Володька, желая в общем-то потрафить покупателям и не охидяя во-все, к чему приведет эта его шутка.

— Ему вообще детей не хо-чется, — вмешалась Марина. — Он в этом не понимает ничего.

— Ты много в детях понимаешь! — крикнул Гена довольно громко, так, что воробы слетели с прилавка. — Когда я до свадьбы до нашей просил тебя не делать ЭТОГО, а ты сделала, — ответь, ну, ответь сейчас, зачем ты ЭТО сдела-ла!

— Нашел, урод, где отношения выяснить — на базаре, при мужике постороннем и при каком-то бо-бике!

— Кто урод? Я урод? — Гена рассвирепел окончательно. — Да ты на себя посмотря!.. У меня та-ких баб, как ты, месяц назад бы-

ло навалом! Вагон и маленькая тележка!

— Вот и отправляйся к своим бабам! А я тебя больше знать не желаю и видеть не хочу! — Марина зарыдала руку.

— Чего же ты хочешь? — крик-нул Гена. — Дура!

— Я груш хочу! — Марина по-вернулась. — Дурак! — и убежала с рынка.

Володька и Гена ошалело смотрели ей вслед.

— Так... Ну, мужик, сколько же стоит твой бобик, говоришь? — Гена сейчас шумно дышал через нос и криво улыбался Володьке. Вид у него был теперь совсем не бра-вый, побитый у него был какой-то вид.

— С утра... пятнадцать про-сил!.. — неуверенно обявила цену Володька. Он был сейчас почему-то сильно испуган. Ему казалось сейчас, что вот-вот появится на рынке милиционер и заберет их всех вместе с бобиком и Генкой.

— Возьми четвертной. Сдача не надо! — хмуро, сквозь зубы сказал Гена и расплакался. — Мне этот... эта...

— Кобель, — подсказал Володь-ка, еще не веря в то, что прои-шшло.

— ...дороже жизни! — догово-рил парень и, прихватив щенка к груди, медленно и неуверенно по-шел прочь.

## МИНИ-ЮМ

Сложившимся человечком у нас нередко называют че-ловека, сложившего кры-лья.

У него был единственный недостаток — отсутствие всяких достоинств.

В. ЗАВАДСКИЙ

Первые слова вундеркин-да: «Я еще не сказал сво-его последнего слова!»

Поскучивши на цветы, подарили любими бесс зем-ной шар.

Порой время превращает дурака в опытного дурака.

Успех подражателя — его уже стали называть эпиг-оном.

Ц. МЕЛАМЕД

# В НОМЕРЕ

## ПРОЗА

Марина КОСТЕНЕЦКАЯ. Завтра на рассвете	
Рассказ	2
Софья ШАПОШНИКОВА. Ремонт. Рассказ	10
Фазиль ИСКАНДЕР. Ремзик. Повесть	21
Анатолий ГОЛУБЕВ. Чужой патрон. Приключенческая повесть	42

## ПОЭЗИЯ

Кайсын КУЛНЕВ. «Я себя почтюю счастливым...». «Снег за окнами кружит...». «Позты восхитили словесами...». Женщины, которые любили меня...». Я уподобил тебя луне...». «Юноши, не бойтесь трудных книг...». «Камень здесь над всем и всеми...». Перевел с балкарского Н. Гребенев	
Валентин УСТИНОВ. Путтина	

Оитем ЭМИНОВ. «Пусть изготавтут дутары для доброй игры». «На дорогу искаин нас вывели наши отцы...». «Как сближаемся мы?». Перевел с туркменского Ю. Гордиенко	
--	--

Инара РОЯ. Янтарь. Свет. Путешествие на велосипеде. Перевела с латышского С. Соложенкина	
--	--

Александр ЮДАХИН. «Товарищ мой старший...». «Все проходит, любил — не любил...». «Что Соломоново колыцо?...». Осень	
---	--

Виктор НИКОЛЕНКО. «Май на половине...». «Хорошо над Угрой — высоко и спокойно...». Соль	
---	--

Юрий МИХАИЛИК. «И небо, и море ночное...». «Итак, создается тройная уха...». «Летом сорок седьмого года...»	
---	--

Григорий КОРИН. «Синевы не омрачю...». «Это явь или сон мой краткий...»	
---	--

Глеб ГОРБОВСКИЙ. «Все некогда осмыслитъ баг времен...». Перед полетом. «Меня ворона вдохновляет!...». «Они гнезд с любосью гиля...»	
---	--

Владимир СОКОЛОВ. «Мой учитель был берегом, улицы, домом...». «Боже, как это было давно...». «Да! Сухой я живу, словно порох...». И: поэмы «Дублер», «Я болен. Я в белой рубахе...»	
---	--

Наталья КОНЧАЛОВСКАЯ. Слово о Коненкове (К нашей вкладке)	
---	--

Степан ЩИПАЧЕВ. Незабываемый август	
-------------------------------------	--

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. Не прогоняй птицу! (Литература в школе)	
--	--

Н. БЕККЕРМАН. Волшебство реальности. (Поговорим о прочитанном)	
--	--

Наталья ЛАГИНА. «Чтобы другие чувствовали...». (Окно в мир прекрасного)	
---	--

И. ПЕТЕРЗЕЛ. Каким я его помню. (Жизнь — песни)	
---	--

Заур-Бек АБОЕВ. Первая выставка. (На стенах «Юности»)	
---	--

З. ШЕИНСИС. Студент Софийского университета (Документальная повесть)	
--	--

В ГОСТИХ У «ЮНОСТИ»: «ТЮМЕНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»	
---	--

Владимир САЛМИН. Встретимся на Самотлоре. Александр ШВЕРИКАС. След в след	
---	--

Плотность идей	
----------------	--

Вия А. Маленькая повесть о большой любви.	
---	--

Еремей ПАРНОВ. Текучий мир горячих песков...	
--	--

В. СНЕГИРЕВ. Владислав Третьяк против нацистских профессионалов	
---	--

Станислав ТОЧАРЕВ. Без Наташи, но с Людой и Олей. Субъективные заметки	
--	--

Марк РОЗОВСКИЙ. На рынке	
--------------------------	--

Мини-юм	
---------	--

## КРИТИКА

## ИЗ ПРОШЛОГО

## ПИСЬМО СЕНТЯБРЯ НАУКА И ТЕХНИКА СПОРТ

## ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Главный редактор  
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

7	
8	Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ
9	(зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, 19 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ (зам. главного редактора),
20	Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ,
20	Г. А. МЕДЫНСКИЙ, В. Ф. ОГНЕВ,
40	С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА
41	

66	Художественный редактор Ю. А. Цищевский.
----	---

64	Технический редактор Л. К. Злойкина.
----	---

67	На 1—4 стр. обложки 70 рисунок Е. Соколовой и А. МАКСИМОВА
71	Адрес редакции: 73 101524, ГСП, Москва, К-6. Улица Гоголя, № 32/1. Телефон редакции: 251-32-83. 83 Рукописи не возвращаются.

84	Сдано в набор 1/VII—1974 г. Подп. к печ. 12/VIII—1974 г. А 09280. 79 Формат 84×108/16. 80 Усл. печ. л. 12,19. 82 17,62 усл. печ. л. 98 Тираж 2 600 000 экз. 99 Изд. № 1973. Заказ № 2430.
----	--

105	Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
107	типоррафия газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 110 125065, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.



Весна в горах.

**На стенах  
«Юности»**

**БАТРАЗ  
ДЗИОВ**

(г. Орджоникидзе)



Мечтатель.